

АРТЁМ МАНЕВИЧ

ОГОНЬ
ДЛЯ
ВСЕХ



АРТЕМ МАНЕВИЧ

ОГОНЬ ДЛЯ ВСЕХ

ПОВЕСТИ



МОСКОВСКИЙ
РАБОЧИЙ
1973



ОГОНЬ ДЛЯ ВСЕХ

1

С веселой злостью толкает Наташа руками дерево, и снег взлетает, звездно вихрится на ветру, медленно падает. Оголенные черные ветви пружинисто подрагивают.

Наташа поворачивается ко мне спиной:

— Отряхни.

Усердно сметаю перчаткой обсыпавший ее снег, весь, до последней снежинки.

И снова Наташа бежит по садовой дорожке, подскакивает на бегу, дергает прогнувшиеся под тяжестью снега ветки и смеется. И я бегу за ней, и мне тоже весело: и от этого бега, и от снежной метели, и от того, что мы вдвоем в саду.

Она неожиданно останавливается у старой липы, прислоняется спиной к стволу.

— Теперь-то уж ты от меня никуда не убежишь!.. — говорю я.

Наташа снова в снегу, словно я вовсе и не отряхивал ее минуту назад. Она удивленно пожимает заснеженными плечами:

— А я и не собираюсь.

И при свете нескольких миллионов звезд я вижу, как на ее ресницах тают снежинки.

Беру Наташину руку. Рука холодная, шершавая, немного мокрая.

Мне хорошо идти рядом с Наташей и держать ее руку.

Хрустит под ногами снег, по-прежнему колко светят февральские звезды, ветер изредка швыряет в нас белую пыль.

Выходим из сада. И сразу звездный блеск пропа-

дает в фонарном свете. На желтой голове фонаря широкополая шляпа, похожая на мушкетерскую, только без перьев.

Окна мастерских нашего училища прерывисто отражают свет. И красные стены льдисто отсвечивают.

Заглядываем в окна, почти упираясь носами в обледенелое стекло. Сквозь морозную наледь видны золотистые тени на токарном, фрезерном, сверлильном станках, на стеклянных стенах конторки Григория Архиповича.

Вдруг всё — и станки и тиски — закачалось, сдвинулось с мест, и желтая рябь от качнувшегося на ветру фонаря пробежала по стенам и полу.

— Смотри, смотри, — шепчет Наташа, — в мастерской богатырь... Это он двигает станки. И тиски бросает, словно баскетбольные мячи...

Дышу на морозное стекло, тру его ладонью, но нет, никакого богатыря не вижу. Я говорю:

— Это от ветра, от фонаря... Тени

Наташа все еще смотрит в окно:

— И никакие не тени... Неужто ты не видел богатыря в золотом шлеме, чешуйчатой звонкой кольчуге, стальных рукавицах?..

Виновато качаю головой.

Ветер норовит попасть снежной пылью в глаза.

В общежитии сейчас тепло и светло. Максим Грибанов, или, как чаще называют его ребята, Макс, и Сима Ложечкин по прозвищу Зяблик, наверное, готовят к вечеру самодеятельности акробатический номер. В красном уголке, как обычно, играют в шахматы и рассказывают разные истории. Возможно, уже пришел Андрей Пронин. Андрей живет в городе, но иногда заходит к нам в общежитие.

— Тебе не холодно? — спрашивает Наташа. — А то побежим?

— Мне совсем не холодно.

Я готов идти рядом с Наташей сквозь мороз и вьюгу хоть тысячи верст, до солнечных стран, где свободно разгуливают павлины и прыгают мешковатые кенгуру. Там я сброшу теплую куртку с цигейковым воротником, новую ушанку и буду ходить по зеленой земле в легком белом костюме.

И Наташа шла бы рядом в ситцевом сарафане.

Не иначе как ветер догадался, о чем я мечтаю, — сердито взметнул, закрутил колючий снег.

В феврале так часто бывает: налетит вьюга, поднимет поземку, исколет всех, кто ей попадется, и улетит туда, где дрейфуют круглый год полярные станции... А может быть, и еще куда-нибудь подальше.

Наташа говорит:

— Сегодня Андрей обещал читать стихи. Послушаем?

Ее лицо покраснелось от морозного ветра, иней искрится на волосах, выбившихся из-под шапочки, и брови заиндевели. Наташа ждет, что я скажу. А я не желаю сейчас говорить об Андрее Пронине, о его стихах. Мне только хочется слышать Наташин голос, смотреть на нее.

Прозвище Андрея — Красавчик. Правда, его называют еще и поэтом, «наш поэт», особенно девочки. А вот Макс Грибанов, который завидует Андрею, никогда его по имени не зовет, только — Красавчик. Максов дружок Сима Ложечкин, когда Андрей читает стихи, старается всех рассмешить. Однажды Катя Чинкова чуть не выпарапала Зяблику его синие ангельские глаза, чтобы не мешал слушать. Не подоспей Макс, ходить бы Серафиму кривым.

Тихий город смотрит подмерзшими мутноватыми окнами. Лишь немногие свободно пропускают ясный электрический свет. Говорят, есть такая жидкость — смажешь стекло, и к нему никакой мороз не пристанет.

Проковылял заведующий продовольственным магазином Вячеслав Осипович Болбат. Сегодня Вячеславу Осиповичу крепко досталось: магазин торговал воблой, и весь день стояла очередь. Я попытался без очереди купить полкило, но — куда там! — меня вышибли как пробку, с треском.

На пожарной каланче пробило девять. В клубе фабрики окончился сеанс. Люди, переговариваясь, закуривая, выходят на улицу, за ними волнисто клубится оранжевый пар.

Наше общежитие за клубом. Из обращенных на юг окон видна река. Правда, сейчас вместо реки лед и два ряда заснеженных ветел. Зато из других окон хорошо видны все корпуса спичечной фабрики.

— Вот и пришли,— говорю я Наташе.

— Все-таки мы славно погуляли. Никого не было, тихо... Как в сказке, да?

— Верно,— отвечаю я радостно.— Даже луны не видно...

— Даже луны,— говорит Наташа.— Одни мы, и сто миллионов звезд и планет. И маленький принц летал с планеты на планету... Правда!

Не успеваю засмеяться. Наташа поворачивается ко мне:

— Ты разве не читал книжку о маленьком принце? Ее написал французский летчик Антуан Сент-Экзюпери.

— Это сказка?

— И да и нет...

Наташа бежит по звонкой лестнице, перескакивая через ступеньки. На площадке останавливается, кричит вниз:

— Сережа! Приходи в комнату отдыха... Послушаем стихи.

— Ладно,— глухо отвечаю я.

2

Макс Грибанов в трусах, в белых боксерских ботинках стоит около своей койки.

— Але-оп! — кричит Макс хрипловатым голосом.

И Сима Ложечкин подскакивает, пружинисто ударяет ногой в сплетенные Максовы ладони, кувыркается в воздухе и легко встает Максу на руки, затем, снова крутанувшись, делает стойку на Максовой стриженной голове.

— Здорово! Молодец Макс!

Никто из ребят не кричит: «Молодец Сима!» Все убеждены — все дело в Максе, в его необыкновенной силе.

И сам Макс так считает. Расставив полусогнутые в локтях руки, поигрывая мускулами, он делает не-

сколько медленных кругов, чтобы мы могли еще раз полюбоваться его мускулатурой.

— Хоп! — как цирковой борец, вскрикивает Макс, ловит полотенце, брошенное Зябликом, и медленно вытирает лицо, руки, спину.

Мечта Макса Грибанова и Симы Ложечкина — поступить в цирк. Стоит на городских заборах и афишных тумбах появиться объявлениям: «Проездом... Только два дня... Заслуженный артист республики Иван Терехин», — Макс и Сима исчезают из училища.

«Всё. Больше не увидим Макса и Симу, уедут они со знаменитым силачом Иваном Терехиным», — решаем мы.

Проходит несколько дней, наши акробаты снова появляются в общежитии и на вопрос: «Ну как?» — сердито отмалчиваются.

Любопытные умолкают: никому неохота вызывать недовольство Максима Грибанова и Серафима Ложечкина — они как были, так и остаются в училище самыми сильными.

Макса и Симу Ложечкина по прозвищу Зяблик приглашают выступать на городские вечера самодеятельности, в воинскую часть, к пионерам, раз пять они ездили в колхозы, и всюду Макс и Сима вызывают бурный восторг и гром аплодисментов.

Достаю из чемодана черный свитер. Ни у кого нет такого свитера. Его связала мне мама. Свитер я надеваю в особо торжественных случаях или когда очень холодно.

— Куда это ты? — спрашивает Костя Шишкин.

— Никуда, просто так решил надеть. Вещи любят, чтобы их носили. Если долго не надевать, вещи портятся.

— А свитер тебе идет.

Я и сам знаю, что свитер мне идет, однако слова Шишкина мне приятны.

Смотрюсь в круглое зеркальце. Мое лицо над черным воротом словно побелело, а глаза, наоборот, потемнели, хотя они вовсе не темные, а зеленоватые, как у кошки. Волосы выются, правда не кольцами, но все же выются. И нос выглядит не таким уж курносым.

Переодеваются у своих коек Макс и Сима.

Вот и они готовы.

— Але-оп! — лихо вскрикивает Макс и делает стойку на стуле.

— Оп! — эхом отзывается Сима и выжимает стойку на спинке кровати.

Им ничего не стоит делать стойки на чем угодно: на стуле, на полу, на подоконнике, на столе...

В черном свитере я иду вместе со всеми в красный уголок, или, как Наташа называет, комнату отдыха.

Пронин стоит в дальнем углу, у стола, за которым обычно помещается президиум наших комсомольских собраний, торжественных вечеров.

Увидев нас, Андрей Пронин опирается кончиками пальцев о край стола и ждет, пока мы усядемся. Макс и Сима Ложечкин, скрестив на груди руки, стоят у стены. Все пять лампочек, вся тысяча свечей отражаются в больших черных глазах Андрея.

— Начни все сначала, Красавчик, — просит Макс. — Мы опоздали не по своей вине, готовились к вечеру самодеятельности... Але-оп!

И Зяблик вторит:

— Але-оп!

Девчонки — их большинство в красном уголке — сердито молчат. Я ловлю взгляд Наташи. Мне нравится, что она смотрит на меня, на мой черный свитер. Злость в Наташиных глазах превращается в насмешку.

— Причина вполне уважительная, — отвечает Макс и Симе Андрей. — Итак, для тех, кто опоздал по уважительной причине: Ярослав Смеляков, «Маяковский».

Андрей тряхнул головой, провел пятерней по черным волосам.

Из поэтовой мастерской,
Не теряясь в толпе московской,
Шел по улице по Тверской
С толстой палкою Маяковский.

Пронин не подвывал, как некоторые чтецы-декламаторы, не делал особых ударений, когда словно набивают тугие обручи на новую бочку, нет, Анд-

рей стихи рассказывал... Я словно вижу: Маяковский, могучий, широкоплечий, с папирсой в углу рта, размашисто шагает по шумной Москве.

Вместе с Ярославом Смеляковым, вместе с Андреем Прониным весь наш красный уголок как бы обращался к Маяковскому:

Как ты нужен стране сейчас,
Клубу, площади и газетам,
Революции трубный глас,
Голос истинного поэта!

Андрей прислушался к минутной тишине, которая воцарилась в комнате.

Потом все захлопали. Особенно старались девочки.

- Прочти «Во весь голос»!
- «Про это»!
- Есенина!
- «Василия Теркина»!
- Свои стихи!

Но, как девочки ни просили, Андрей больше читать не стал. Другим, тихим голосом он доверительно сказал:

— Мне, знаете, пора... Еще не все уроки сделал. Вы-то дома.

Сима Ложечкин хихикнул:

— Мамочка будет беспокоиться! Она не выдержит долгой разлуки с любимым сыном.

— Замолчи, Зяблик, или выцарапаю твои васильки! — крикнула Катя Чинкова и вскочила с места. Ее удержала за руку Наташа.

Андрей даже не повернул головы в сторону Симы.

Макс хотел было что-то сказать Кате, раздумал, схватил стул за ножку с самого низу и медленно, вытянув руку, поднял. Ребята уже не раз видели этот силовой номер и каждый раз восхищались, а сейчас все равнодушно прошли мимо.

Морозная ночь.

Из высокой фабричной трубы поднимается к звездам прямой и белый дым. Наташа идет под руку

с Катей Чинковой. Андрей Пронин рядом с ними. Невольно жду: сейчас он начнет декламировать стихи о зимней ночи, красоте снежинок, инее, что прерывисто посверкивает на телефонных проводах, на воротниках, шапках и усах прохожих. Такие стихи есть, не может не быть таких стихов.

Вместо стихов Андрей Пронин говорит:

— Вы гуляйте, ребята, а я побегу... Мне еще далеко, а время позднее. Сегодня отец на дежурстве, и мама одна, будет беспокоиться.

Прижав локти к бокам, как на гаревой дорожке, он побежал и вскоре скрылся за углом.

3

Я люблю наши мастерские. Они просторные, как настоящий цех. В них есть токарные, сверлильные станки и один фрезерный. И тиски. Тисков много. Они привинчены к массивным верстакам и готовы зажать любую деталь, да так, что никакая сила не вышибет.

Сейчас мои тиски держат гаечный раздвижной ключ. Рядом со мной работают Макс Грибанов и Симма Ложечкин; напротив, за сеткой, Костя Шишкин и Гедаля Сакер, курчавый, как черный барашек. Гедаля ровесник мне, Косте и Максу и, может быть, на полгода, да нет, пожалуй, месяца на три, старше Симы Ложечкина, но уже бреется, и его щеки синие от частого бритья. Не брейся Гедаля неделю — и у него отрастет борода.

Я спросил как-то:

— Почему у тебя так быстро растет борода, Гедаля?

Он с грустью ответил:

— Не знаю.

И никто этого не знает.

У самого окна — Катя Чинкова. Две желтые косички торчат из-под ее косынки, ресницы опущены, а на щеке темная полоса — наверное, задела рукавом.

Да... По всему видать, мне понадобится бархатный напильник. Без бархатного сейчас не обойтись. Лич-

ным уже делать нечего, а полировать рано. Бархатный будет в самый раз. Ключ, правда, блестит, однако еще не так, как мне хочется. Он должен сиять, словно зеркало или пруд в безветренный полдень июня.

Поднимаю ключ, повертываю, придирчиво оглядываю со всех сторон, проверяю работу винта. Электрические зайчики бегут от стальной поверхности в разные стороны.

На меня уставились Сима и Макс.

Осторожно опускаю светящийся ключ на верстак.

— Ты куда? — спрашивает Сима.

— В инструментальную, за бархатным напильником.

— Чтобы твой ключ еще ослепительней блестел, да? — спрашивает Зяблик.

— Как новый, только с завода? — спрашивает Макс.

— Да, — серьезно отвечаю я.

— А новые заводские ключи вовсе не блестят, — ехидно смеется Зяблик.

Мне неохота сейчас обижаться.

Достаю бирки из своего ящика, высоко подбрасываю их, как монеты, и ловлю:

— Але-оп!

Дорога в инструменталку мимо токарных станков. На одном из них работает Андрей Пронин.

Кивком головы здороваюсь с Андреем. У меня мало времени, чтобы говорить: «Здравствуй, Андрей!» — или: «Привет, Пронин!» — а тем более останавливаться у его станка, перекидываться парой-другой слов о погоде, о хоккейном матче с Канадой. Я спешу в инструменталку за бархатным напильником, без которого мне никак не обойтись. И хотя я быстро прохожу мимо, не могу не заметить хорошо отутюженную темно-синюю спецовку Андрея, закатанные выше локтей рукава и татуировку на правой руке: склонившаяся береза.

Андрей приветливо машет рукой:

— Салют, Орлов!

Коленчатый вал кажется бесконечным. Он вращается между светом и тенью, и резец приникает к валу острым клювом, словно пробуя сталь на зуб... Да ведь это уже не Андреев станок... Наташа склонилась над коленчатым валом. Не решаюсь с ней познакомиться. А вдруг именно в эту секунду резец снимает последние ниточки стали, после чего можно будет высвободить из патрона вал и позвать: «Григорий Архипович, взгляните, пожалуйста...»

Погасло электричество, и в мастерских остался естественный свет февральского утра. Солнце старается показать, насколько оно ярче любой электрической лампочки, его лучи проникают во все уголки, мчатся вслед бегущему коленчатому валу. Солнечные блики ложатся на лицо Наташи, прыгают по ее голым до локтей рукам, по краешку белого воротничка — он как бы невзначай выглядывает из-под рабочей куртки.

Стою будто привинченный к полу у Наташиного станка, в то время как мой гаечный ключ неприкаянно лежит на верстаке и ждет меня.

И все равно я неподвижно стою рядом с токарным станком.

Ловлю себя на том, что улыбаюсь. Наверное, виноваты щекотные солнечные зайчики.

«Здравствуй, Наташа!» — мысленно кричу я. И, но это уже совсем негромко: «Сегодня настоящее февральское утро. Ты только взгляни: мастерские похожи на утренний лес, наш елинский лес... Видишь, просеки между верстаками? Не отвечай, я знаю — тебе некогда».

И вдруг слышу:

— И чего ты прирос к одному месту, как телеграфный столб?

Я и впрямь столбенею от неожиданности и торопливо, сам не знаю зачем, говорю:

— Иду в инструменталку... Это коленчатый вал?

Понимаю, до чего неуместны, просто глупы мои слова.

Теперь не только солнечные зайчики — взрывы смеха обрушиваются на меня.

— Ха-ха! Это земная ось, о которую трутся спинами белые медведи... Ха-ха-ха! — Наташин смех

внезапно переходит в шепот: — Григорий Архипович идет.

Намереваюсь двинуться в сторону инструментальной кладовой. Поздно.

— Ты почему не на своем рабочем месте?.. Орлов?.. — Григорий Архипович делает вопросительные паузы и после «месте» и после «Орлов». — По-моему, ты заканчиваешь раздвижной ключ?.. Раздвижной гаечный ключ? — повторяет мастер. — Или Кречетова позвала тебя на помощь?.. У тебя что-нибудь не ладится, Кречетова? Что здесь Орлов торчит?

— Разве? — удивляется Наташа. — Здравствуй, Орлов.

Вот это да!

Григорий Архипович опускает руку на мое плечо:

— Иди, иди, Орлов, время не ждет. — В голосе мастера нетерпение.

Я знаю, что время никогда никого не ждет, но отойти от веселого коленчатого вала никак не могу.

И вдруг я увидел Наташины глаза: в них насмешка и ничего больше.

Голубые просеки и столбы февральского света потускнели, съежились, пропали: я иду по замасленному, в стружке и железных опилках половицам к инструментальной кладовой, получаю бархатный напильник с новой ручкой и, стараясь не оглядываться, возвращаюсь на свое рабочее место.

— Але-оп! — вскрикивает Сима Ложечкин, когда я с ним поравнялся.

Я ничего не ответил.

Макс сдирает драчевой пилой черно-рыжий налет с поковки. Он отстал от меня. Сделает тисочки и лишь после этого приступит к гаечному ключу.

Никто не поверит, что Макса, как это ни странно, подводит его собственная сила. Он то и дело спиливает больше, чем надо. А однажды так увлекся, что сломал напильник.

Другое дело Сима Ложечкин. Он ловчее своего друга и умеет сосредоточиться. Сима уже шлифует тисочки и временами с удовольствием глядится в их

поверхность. Сима работает рядом со мной, и мне ничего не стоит увидеть, как он любит свое произведение. И хотя тисочки давно готовы, Зяблик не торопится сдавать их мастеру, находит все новые и новые недоделки.

— Никак не доведу по пятерки... А меньше пятерки Серафим Ложечкин не желает получать,— говорит Зяблик.

И все он врет... Правда в том, что Сима ждет, когда закончит тисочки Макс. Ждать придется долго. Макс еще на старте: снимает драчевой пилой черноту и ржавчину с поковки.

Мне достался отменный напильник с мельчайшей насечкой. Напильник добросовестно сглаживает шероховатости на ключе. После закалки их осталось немало... Вот и еще одна риска сползла с металла, словно волосок, сдуваемый ветром.

Склонился над тисками Гедаля Сакер. Он чересчур осторожен. Таким Гедаля стал недавно. Раньше он торопился, хотел обогнать всех, в том числе и Костю Шишкина. Гедаля бесстрашно рубил железо, и хотя молоток нередко срывался и ударял по руке, кровь и боль не останавливали рвения Гедаля. Он обладал храбростью, упорством, тщеславием... Единственное, чего ему не доставало,— это умения.

— Спешить будешь потом,— советовал не раз Григорий Архипович, и не только Гедале.— Спешить будешь, когда твои руки усвоят наизусть свое дело. Ведь ты не задумываешься, когда пишешь букву «А», просто пишешь ее — и все тут. Рука сама понимает, как писать любую букву... А сколько ты учишься этому?

— А Костя Шишкин? — спрашивал Гедаля.— Он моложе меня на месяц и пять дней.

Если Кости не было поблизости, Григорий Архипович отвечал:

— Костя Шишкин — талант, Ойстрах слесарного дела... Понял? Один человек играет на скрипке — можно слушать, а другой играет — нельзя не слушать... Хотя оба играют по одинаковым нотам.

— А вы говорите...

— Я и говорю: хорошо слесарить может на-

учиться каждый. Ну ладно, старайся, Сакер... Тем более что у тебя начинается получаться.

Мы все доброжелательно наблюдали, давали советы, часто противоречивые, но всегда от всего сердца. Гедаля охотно и доверчиво следовал любому совету: а вдруг какой-нибудь окажется полезным.

Однажды Костя Шишкин молча взял у Сакера молоток, ухватил за конец ручки и со всего маху, несколькими точными ударами по зубилу разрубил железо — гладко, без заусениц.

И Гедаля понял. Восторженными глазами поблагодарил он Костю Шишкина. А тот, как будто ему ничего не стоило обучить правильной рубке железа хоть тысячу таких парней, как Гедаля Сакер, спокойно удалился.

Впрочем, Григорий Архипович не раз и не два, а, пожалуй, сто раз, если не больше, показывал Гедале, как надо держать молоток, зубило, а вот сейчас Гедаля понял. И ничего в этом нет удивительного: все приходит в свой срок.

Звонок.

Сдаю инструмент, прибираю на верстаке.

Шум голосов то усиливается, то слабеет.

Впереди Максима Грибанова побежал Серафим Ложечкин, косолапо переваливаясь, прошагал к выходу Гедаля Сакер, мелькнули желтые косички Кати Чинковой.

— Серега! — зовет Костя Шишкин. — Займи мне место, я мигом.

— Будет сделано!

Я не очень спешу в столовую, то и дело оглядываюсь.

Из мастерских выбегают Наташа и Андрей Пронин. Мороз сразу же подкрашивает Наташины щеки. Мне плевать на то, что делает мороз с Андреем, а вот порозовевшие щеки Наташи мне нравятся.

Слышу:

— Ты принес Блока?

Андрей отвечает стихами:

Женщина, безумная гордячка!

Мне понятен каждый ваш намек...

Он извлекает из кармана томик в темно-синем с серебром переплете. Наташа тут же раскрывает книгу.

— Спасибо.

И хотя Наташа почти шепотом говорит Андрею: «Спасибо», — я отчетливо слышу: февральский воздух звонок и прозрачен, за тысячу верст в такой день услышишь все что угодно.

Наташа бежит, размахивая томиком, а за ней, прижав локти к бокам, словно на гаревой дорожке, мчится Андрей Пронин. Все равно ему не догнать Наташу: она замечательная бегунья. Еще во втором классе елинской школы Наташа Кречетова всегда побеждала в соревнованиях.

Солище заглядывает в щели забора, дышит на обледенелые шляпки гвоздей.

Снег трещит под ногами, будто спелый арбуз.

Вначале появляется Костина тень, а вслед за ней и сам Костя Шишкин. Широкими шагами нагоняет он меня. Ни о чем не спрашивает, а ведь ему, пожалуй, следовало бы спросить, почему я плетусь, словно у меня впереди целая неделя выходных дней.

Нет, Костя молча пристраивается справа, и мы идем в столовую, размахивая руками, как солдаты.

Михаил Яковлевич Горленко, по своему обыкновению, почти вбегает в класс. Учитель худ, сутуловат, остронос. Пиджак свободно висит на нем. Михаил Яковлевич тонкими длинными пальцами достает из пиджачного кармана школьную тетрадку и быстро шагает между нашими столами.

Когда Михаил Яковлевич глядит на тебя, забываешь об его удивительной худобе. Глубоко запавшие карие глаза учителя полны внимания и любви. Именно любви. Вероятно, поэтому многие считают его красивым. Впрочем, что такое красота? Костя Шишкин уверен: самая красивая девушка — Катя Чинкова, а по мне — Катя не такая уж красивая, другое дело — Наташа...

Михаил Яковлевич поглаживает свои коротко остриженные волосы, резко останавливается. Инте-

ресно, о чем он сейчас заговорит? Не было случая, чтобы он сразу начал урок.

— Вы когда-нибудь думали о совести? — спрашивает учитель. — Что такое совесть?

Вот это да! По совести говоря, я никогда и не думал, что это такое. А вот и подумал: «По совести говоря». Значит, совесть — это как правда, честь, справедливость... Честное слово, Михаил Яковлевич уставился прямо на меня своими карими глазами, ждет моего ответа. А я вообще не люблю отвечать первым... Другое дело, если вызовут по теме, заданной на прошлом уроке: «А расскажи-ка нам, Орлов, что тебе известно об электрификации Сибири?» Пожалуйста... А тут вдруг — совесть.

Проверяю на свет, заправлена ли моя авторучка, хотя хорошо знаю, что она полна чернил. Слышу легкое постукивание: Михаил Яковлевич ударяет костяшками согнутых пальцев по столешнице:

— Можно отвечать с места.

Первым поднимается Андрей Пронин.

— По-моему, совесть — это ни в чем не лгать ни другим, ни самому себе... самому себе... Совесть — высшая правда, — говорит Андрей.

Я незаметно прячу заправленную утром авторучку в карман.

— А если попал в плен, ты и врагу должен говорить все как есть? — с места спрашивает Андрея Сима Ложечкин. — Ты и врагу выболтаешь всю военную тайну, Красавчик?

— Ложечкин! — строго говорит Михаил Яковлевич.

— Извиняюсь... товарищ Пронин. — Сима насмешливо смотрит на Андрея.

— Врагу — дело другое. Врагу вообще ничего не надо говорить.

— А если врага необходимо обмануть? — не унимается Сима. — Обмануть словами, а не молчанием?

— Я говорю о высшей правде, — отвечает Андрей.

Гедаля Сакер ждет с поднятой рукой, пока окончится спор между Андреем Прониным и Серафимом Ложечкиным.

— Пожалуйста, Сакер, — говорит учитель.

— Совесть — это честность, ответственность пе-

ред Родиной, перед товарищами.— Помедлив, Сакер добавляет: — И перед самим собой, без двуличия... Чтобы каждый поступок был красивым.

— Верность слову, долгу, сердцу,— говорит Наташа.— Как Зоя Космодемьянская.

— Говорить то, что думаешь, и на собрании и дома... Никогда не лгать! — выкрикивает Катя Чинкова.— Андрей Пронин правильно сказал.

Учитель поднимает руку. Класс затихает.

Михаил Яковлевич задумчиво потирает указательным пальцем переносицу.

— Каждый ваш ответ, думаю, сам по себе верен, но... О солнце можно сказать: лучистое, теплое, ласковое, дающее жизнь. Однако солнце и палящее, оно обжигает, убивает своим огнем всяческую дрянь, сразу... Я думаю, совесть во многом похожа на солнце, должна быть, как солнце.

Учитель шагал между столами, на ходу говорил:

— Правильно кто-то из вас сказал: совесть — это ответственность каждого человека перед всем народом, перед Родиной и самим собой. Для совести нет мелочей... Одернуть распоясавшегося хулигана, остановить, рискуя жизнью, поезд перед лопнувшим рельсом, помочь слепому перейти улицу, спасти тонущего ребенка, не пользоваться чужой подсказкой... Все это дело совести. Вы делаете сейчас гаечные ключи... Вот вы, например, Грибанов, задумывались ли о том, для какой надобности, для кого вы делаете гаечный ключ?

Макс тяжело поднимается, молчит, краснеет.

Катя Чинкова, стараясь не рассмеяться, говорит:

— Грибанов не успел пока подумать о своем гаечном ключе, он и тисочков еще не сдал.

Катины желтые косички вздрагивают от сдерживаемого смеха.

Предчувствуя готовый взорваться веселый шум, Михаил Яковлевич снова поднимает руку:

— Я хотел напомнить и Грибанову и всем вам о трактористах, шоферах, машинистах башенных кранов, слесарях-наладчиках... Они без гаечных ключей как без рук... А стало быть?.. Ключи надо делать на совесть. Ясно?

— А тисочки? — спрашивает Сима Ложечкин.

— И тисочки, и коленчатые валы, и все, что мы делаем... И не только в мастерских.

— Уроки, например,— говорит Андрей Пронин.

— Силовые номера,— басит Макс.

Михаил Яковлевич беззвучно смеется. Никто не умеет так беззвучно и в то же время заразительно смеяться.

— Все правильно...— Теперь учитель серьезен.— И вместе с тем понятие совесть значительно шире, необыкновенно объемно.

Я согласно киваю, а кто-то говорит: «Да»...

— Ну вот, советую подумать о нашем сегодняшнем разговоре... А теперь приступим к уроку... Расскажите-ка нам, Орлов, об электрификации Сибири.

Из окна коридора хорошо видна улица. По тротуару мелкими шагами идет старушка в самодельной шали из серой ворсистой шерсти, с хозяйственной сумкой в правой руке. Два молодых парня в очень коротких, каштанового цвета пальто шагают навстречу старушке, разговаривают и увлеченно размахивают руками, то и дело останавливаясь друг против друга. Старушка с хозяйственной сумкой осторожно обходит парней.

По заснеженной мостовой промчался голубой автобус. Мальчишка в ушанке, надетой задом наперед, ловко швырнул в автобусное колесо снежком.

— Сергей! Да очнись, Орлов! Ты спишь или мечтаешь?

— Я не сплю.

— Знаешь, что я хотела тебе сказать, Орлов?

— Пока не знаю.

Наташа молчит... Старушка в серой шали успела зайти в магазин к Вячеславу Осиповичу Болбату, а парни завернули за угол.

— Ты обиделся на меня?

— О чем ты?

— За утренние слова в мастерских, ну, помнишь... Я и сама не пойму, как это вышло.

— Наверное, ты была очень занята, Наташа.

— Может быть... И все равно получилось нехорошо. Прости.

Она уходит.

— Наташа,— зову я. Она повернулась ко мне.— Я и не обиделся вовсе.

— Ладно, Сережа, не будем об этом.

Наташа убегает по длинному коридору. Я рад, что она так быстро бежит.

4

После уроков Андрей Пронин, Наташа Кречетова, Гедаля Сакер и я сидим в классной комнате вокруг развернутого на столе большого листа ватманской бумаги.

Мы — редколлегия стенной газеты «Вперед».

Ответственный редактор Андрей Пронин встает, откашливается:

— Заметок на сей раз много, предстоит отобрать самые интересные, придумать темы для карикатур.

— А передовая есть? — спрашиваю я.

— Передовой нет, — отвечает Андрей.

— Как же без передовой? — удивляюсь я.— Ведь ты ответственный редактор и должен был сам написать передовую.

— Этот номер выпустим без передовой, — спокойно говорит Андрей.— Вместо передовой дадим стихи. Если, конечно, они вам понравятся.

— Здорово! — радуется Гедаля Сакер.— Стихи вместо передовой. Как в «Комсомолке» бывает.

Он берет из рук Андрея тетрадный лист, встает и глуховатым голосом, подчеркивая взмахом руки рифмы, читает:

Мы — комсомольцы — такой народ,
За борт вышвырнем лень
и брак.

Наш девиз —
всегда вперед!
И не отступим
ни на шаг!

Стихи как стихи, думал я, слушая Гедалю. В них даже рифма есть. И по-моему, неплохая рифма. Не совсем, к сожалению, ясно, за какой борт мы должны вышвырнуть лень и брак. А если нет борта? А если комсомольцы находятся в данный момент не

в открытом море или на реке, находятся на суше, тогда как? Но с другой стороны, это стихи, а в стихах все может быть.

Вместе с тем я представил себе матросов: в сильную бурю они со всего размаху бросают в кипящее море лень и брак. Не знаю почему, вспомнилась песня про Стеньку Разина, как он одной рукой кидает за борт в набежавшую волну прекрасную персидскую княжну. Когда я все это представил, стихи мне по-настоящему понравились и захотелось слушать дальше. Но, пока я все представлял и вспоминал, Гедаля кончил читать, взмахнул заключительно рукой и сказал:

— Чьи это стихи? Надо подписать.

— Передовые всегда без подписи,— объясняет Андрей.

— Это-то я знаю... Без подписи для всех читателей, а мы обязаны знать, мы — редколлегия.

— Ну мои,— признался Андрей.

— Нарисую к стихам парня, идущего вперед. Красивого, смелого парня, похожего на Костю Шишкина. У Кости никогда не бывает брака.

— А девушку нарисуешь для следующего номера, так, что ли? — спрашивает Наташа.

— Хорошо,— сразу же соглашается Гедаля,— и девушку. Красивую... Под статью парню.

Он берет тонко очиненный карандаш и приступает к делу, поминутно взглядывая в сторону Наташи Кречетовой.

Гедаля любит слово «красиво». Парня, который ему нравится, он называет красивым, девушку — красивой, интересную книгу, смелый поступок — красивыми. Гедаля говорит: красивый станок, красивые тиски, красивый удар молота. И закат солнца, луну, хрустящий зеленоватый вечерний снег он тоже называет красивыми. И ничего удивительного: Гедаля — художник.

Переписываю заметку Кати Чинковой: «Нам нужны не только стихи и акробатические номера, но и скетчи и танцы. Уже пришло время подумать о постановке пьесы. Сил у нас достаточно...»

Стараюсь поразборчивее выводить каждую букву. Передо мной Катя Чинкова: она сидит за столом

в красном уголке и пишет по просьбе Наташи заметку, то и дело подергивая левой рукой то одну, то другую косичку, а красивый, смелый парень, никогда не делающий брака, Костя Шишкин терпеливо ждет Катю, чтобы пойти вместе на лыжах.

Наташа переписывает фельетон. Иногда посмеивается, забыв о том, что она не одна, и облизывает быстрым кончиком языка губы. Строчки у нее получаются ровные, как по линейке. Я не умею писать, как Наташа, чтобы каждая буква сама просилась в глаза. Конечно, если постараться, то и мои буквы ползут в глаза, но стараться надо изо всех сил, а на это уйдет уйма времени.

Из училища выходим, когда солнце уже опустилось на самые крыши домов.

— Хорошо-то как! — говорит Наташа. — Погуляем, мальчики?

— Красиво, — соглашается Гедаля. — Увы, не могу, занят по уши.

Да, Гедале не до прогулок. Ему предстоит нарисовать все заголовки, вдохнуть жизнь в парня, похожего на Костю Шишкина, и в девушку, шагающих вперед и только вперед.

— Действуй, Сакер! Теперь все зависит от твоей кисти и карандаша, — напутствую его.

Гедаля пожимает руку Андрею, потом Наташе и мне. И слепому видно: Гедале охота погулять вместе с нами по февральским, позолоченным солнцем улицам, среди розовых деревьев, скачущих воробьев, тишины, но белая ватманская труба, которую Гедаля несет под мышкой, зовет его к делу.

— Давайте играть, — предлагает Наташа. — Я закрываю глаза, и вы ведете меня далеко-далеко, за тридевять земель. А когда придем в неизвестную страну, скажете: «Открой глаза». Интересно, узнаю я, где мы?

— Умней ничего не могла придумать? — говорю я. — Это же старая детская игра.

Наташа, прищурившись, посмеивается:

— Ну и что? Впрочем, если ты такой взрослый, такой серьезный, можешь отправляться восвояси. Верно, Андрей?

Пронин не отвечает, берет под руку Наташу. И я беру ее под руку.

Идем переулками и закоулками, сквозь проходные дворы.

— Не вздумай подглядывать,— предупреждает Андрей.

— Ты что? — шепотом возмущается Наташа. — С какой стати? Тогда не будет «вдруг».

Не сговариваясь, ведем Наташу на площадь. В давние годы ее звали Соборной, ныне площадь — Городская.

В ясные вечера закатный свет заполняет стеклянную пожарную будку на колокольне бывшего собора, и будка походит на фонарь, горящий над городом.

Спешим привести Наташу на площадь поскорее, пока не спряталось солнце.

Сворачиваем в Цветной переулок. Дома в переулке с небольшими окнами, приземистые, будто присели на корточки. Резные наличники напоминают кружева и выкрашены в разные цвета. Не зря переулок — Цветной.

Чернохвостая лохматая собака хрипло лает и всю мочь бежит за нами. К ней присоединились два дворовых пса. У границы Цветного переулка и Садовой улицы псы затормозили и смолкли.

И уже не верилось, что секунду назад сердито лаяли дворняги.

Проскочили сквозной двор.

Площадь.

Отпускаем Наташу. Она кружится с закрытыми глазами на одном месте, шарит пальцами в воздухе, ищет нас.

— Открывай! — нетерпеливо разрешает Андрей.

Темная тень закрыла Наташино лицо.

— Хороша девочка! Девчонка моей мечты... Кис-с-са... А ну-ка брысь! Зачем хулиганите? Кис-с-са, заметь, я спасаю тебя, рискуя жизнью.

В нос пахнуло водочным перегаром и луком. Два чугунных локтя отодвигают нас. Высоченный парень в бобриковой тужурке с меховым воротником, в мерлушковой кубанке, сдвинутой на затылок, хватает Наташу за плечи.

— Брысь, котята!

Так он называет нас.

Андрей отбивает кулаком чугунную руку в перчатке, прыгает на парня, тянет за меховой воротник.

Теперь и я кидаюсь на парня. Отброшенный в сторону, Андрей сбивает меня с ног, и я навзничь падаю в сухой снег.

Две черные галки низко летят над белой площадью.

Наташа молча, стиснув губы, вырывается из чугунных лап, а парень упрямо цепляется за нее, повторяет:

— Девочка моей мечты... Мечты, мечты...

Андрей проворно вскакивает и, как молотком по зубилу, со всего размаха бьет хулигана кулаком в лицо. Тот вскрикивает тонко и резко, словно лопнуло чересчур натянутое полотно ножовки.

Сжимаю кулаки...

Парень, покачиваясь, уходит к соборной ограде, оставляя за собой мелкие темные пятна: видать, Андрей угодил ему кулаком в нос.

Наташа еще успела бы увидеть в стекле пожарной будки красный холодный луч. Последний луч. Но ее глаза опущены, почти закрыты, словно она продолжает играть в старую детскую игру неожиданных открытий.

А мы с Андреем старательно сбиваем с Наташи синие снежинки, и я чувствую, как ее пальто чуть вздрагивает под моей рукой.

— Все-таки, Наташа, жаль, что ты не увидела настоящей красоты, — говорит Андрей.

И только сейчас я заметил: у Андрея под глазом синяк, а воротник пальто почти оторван.

— Пойдем к нам, я пришью воротник, а то неудобно перед родителями, — предлагает Наташа.

— А в общежитии удобно? Сказала тоже. — Андрей осторожно ощупывает пальцами синяк, прижимает подбородком оторванный воротник.

Все потускнело — и вечер, и наше настроение. Сухой снег шуршит. Каждый из нас думает о своем. В потемневшем небе одиноко торчит пожарная будка.

На углу Андрей прощается с нами.

Наши тени от фонарей то растягиваются во всю улицу, то сворачиваются у наших ног. Дети бегают по мостовой и тротуару, прячутся за деревья, швыряют снежки и звонко смеются.

Если бы не драка с хулиганом, и мы с Наташей бросали бы снежки, прятались за деревья и хохотали громче детворы.

— Тебе нравится Андрей Пронин? — спрашивает Наташа.

Вспоминаю, как Андрей первым метнулся на высоченного парня и, отброшенный, проворно вскочил и двинул кулаком хулигана в лицо, как при этом зло и упрямо щурились его глаза.

Не успеваю ответить, потому что Наташа сама говорит:

— Он храбрый, он очень храбрый! И стихи читает замечательно. И хорошо пишет. Что?

Молчу. По-моему, Наташа сказала далеко не все.

— И товарищ он верный, не то что другие.

Ноет плечо.

Меня разбирает злость. Сам не знаю почему, меня разбирает злость.

— Он скромный. Это важно — быть скромным. Я убеждена, что Андрей и звука не проронит о сегодняшнем, хотя другой на его месте расписал бы свой поступок всеми цветами радуги.

Слова, которые закипали во мне, теперь выскакивают, словно кипяток из-под крышки чайника:

— Андрей Пронин отлично работает на токарном станке!.. Его коленчатый вал обязательно возьмут на выставку выдающихся коленчатых валов двадцатого века!.. Андрей — незаменимый редактор стенгазеты «Вперед»!.. Андрей лучше всех знает литературу, физику, технологию металла... Андрей — красавчик и маменькин сынок...

— Ты болен, Орлов? У тебя жар?

Размахиваю руками. Ушанка сползла на затылок и в любую минуту может свалиться. Мне наплевать на ушанку. Слова, поток слов, которые я так долго с трудом сдерживал, я не могу остановить.

— У меня жар, три тысячи градусов по Фаренгейту!.. Выше нуля! Сейчас весь снег в радиусе двух километров растает... Да, вот ведь мог забыть: Анд-

рей Пронин самый знаменитый спортсмен в училище. И совсем немного, ну самую малость, уступает Макс Грибанову и Зяблику в партерной акробатике. Ничего, он поднажмет и оставит их позади! Можешь не сомневаться!

Наташа ни единым словом не остановила меня.

Я замолчал. Она подождала, не скажу ли я еще чего-нибудь. Спросила:

— Всё?

Я кивнул.

— Ну и дурак! — спокойно сказала она и убежала.

Пробую засмеяться, смеха не получается.

«Дурак», — повторяю я и вздрагиваю от справедливости этого слова. Конечно, дурак... Мне стыдно. Поправляю шапку, глубже запихиваю руки в карманы пальто и, наклонив голову, вхожу в наш подъезд.

5

— Куда путь держишь, Орлов?

Снег густо липнет к ресницам, и легко ошибиться. А вдруг это не Андрей? Протираю запорошенные глаза: Андрей.

— В библиотеку, — говорю я и поворачиваюсь спиной к ветру.

Снежный ветер не дает говорить, и мы, наклонив головы, шагаем молча. Встречные люди походят на снежных баб, вышедших на прогулку.

Андрей останавливается, отряхивается. Из белого облака, словно из дальней дали, доносится:

— Пришли, Орлов.

Будто я сам не вижу.

Поднимаемся в сени. Здесь все покрашено в желтый, теплый цвет. Скользим на заледенелых подошвах по гладкому полу к обитой дерматином двери. Над дверной ручкой припилена бумажка, на ней написано красным карандашом: «Сегодня библиотека не работает по случаю райконференции библиотечников». А поверх объявления стеклянный трафарет: «Библиотека открыта ежедневно, кроме понедельника, с 12 до 20.00».

— Да-а-а-а...— безо всякого удовольствия тяну я.— Прогулялись.

— Может, у меня найдется нужная тебе книга?..— спрашивает Андрей.

— Вряд ли.

— Посмотрим, попытка не пытка.

— Ладно, пошли.

Дом Андрея в глубине соседнего с библиотекой двора. Белый шар подкатился к моим ногам, залаял.

— Не бойся. Наш Дружок умеет только лаять.

Дружок норовит лизнуть Андрея в нос. Андрей хлопает перчаткой по белому шару: вырисовывается черная морда, круглые коричневые глаза. Пес остается на дворе, а мы ныряем в сени.

— Здравствуйте,— говорю я.

— Это мой товарищ, мама... Из училища.

— Здравствуй, здравствуй, товарищ... А звать-то тебя как?

— Сергей... Орлов.

— Вот и славно, Сергей Орлов, и обед кстати поспел.

— До чего ж обед догадливый,— потирает ладони Андрей.

Говорю «спасибо» матери Пронина. Ее серые глаза грустно улыбаются.

В небольшой комнате, куда мы вошли, одна стена вся в полках с книгами. В простенке между окнами портрет Андрея в металлической рамке.

— Старший брат, Алексей. Убит в июле сорок четвертого на фронте.

— А я думал, это ты.

— Когда Алексей погиб, меня и на свете не было.

— Очень ты на него похож, не отличишь.

— Книги Алексей начал собирать. И полки смастерил.

— Мне нужны стихи,— говорю я,— самые лучшие стихи.

Сейчас Андрей засмеется, скажет: «Чьи стихи? Хороших стихов много».

Он молча подходит к полкам.

За окном метет. Смотрю на портрет Андреева брата и начинаю понимать, почему у его матери грустные глаза.

На столе шесть или семь разноцветных томиков, похожих на книжку Блока, которую Андрей в то февральское утро принес Наташе.

— Для начала, пожалуй, хватит. — Он кладет рядом с отобранными еще одну книжку.

Пушкин... Лермонтов... Маяковский... Есенин... Твардовский...

— На твоём месте, Сергей, я взял бы все эти стихи. Люблю в одно время читать разных поэтов.

Андрей раскрывает томик Тютчева:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

— Ладно, Пронин... Это мы еще в школе учили наизусть. Прочитай что-нибудь свое.

Сейчас он начнет отнекиваться, скромничать, стесняться, ждать, чтобы я его упрасивал, и тогда я поблагодарю, возьму книги и отправлюсь домой. Но Андрей полез в стол, вынул оттуда тетрадь, обычную общую тетрадь в черном клеенчатом переплете.

— Так и быть, слушай... «Предчувствие творчества».

Металл в рыжей шершавой окалине,
Даже солнце отворачивается от него...
А я творю из металла вещи
С блеском живой реки.
Солнце охотно повторит в них себя.
Человек возьмет молоток, микроскоп, компас,
Скажет:
— Спасибо творцу!

Сам не пойму, почему мне понравилось «Предчувствие творчества». Хочу придраться, поругать... А за что? Стихи и обо мне, и о Косте Шишкине, обо всех нас.

Подумав, говорю:

— А где рифма?

Андрей снимает руку с тетради в черном переплете, краснеет, совсем немного краснеет, и спрашивает:

— Разве все дело в рифме?

— А я думал: без рифмы не бывает стихов.

У Пушкина, например, и у других поэтов.— Тянусь к стопке книг.

— Не стоит,— говорит Андрей.— Я тебя понимаю. Можно писать стихи и без рифмы, белые. И у Пушкина есть белые стихи.

— Без рифмы легче, да?

Он смеется.

— Прочитай еще что-нибудь.

Андрей заталкивает тетрадь в стол:

— Пойдем-ка лучше обедать.

Вдруг я вспомнил... А ведь мог и забыть. Ничего не стоило забыть.

— Нет ли у тебя случайно «Маленького принца»? Это вроде сказки французского писателя и летчика Сем... Сент...

— Антуан де Сент-Экзюпери,— говорит Андрей и снимает с полки книжонку библиотечки «Огонек».

6

Весь солнечный и электрический свет, все фейерверки слетелись на зимнее, похрустывающее поле. Отполирована, как наезженные рельсы, лыжня.

Андрей в зеленом лохматом свитере, Катя Чинкова с золотыми косичками из-под белой пуховой шапочки, Костя Шишкин, Макс Грибанов и Сима Ложечкин в одинаковых васильковых спортивных костюмах скользят по лыжне.

Отталкиваюсь палками... Почти горизонтально струится в воздухе красный шарф. Пятьсот, а может быть, больше лыжных шагов до него.

Пахнет хвоей. Позванивают сосновые иглы. От моих лыж отскакивают капли солнца.

Шарф уплывает мимо черных бугристых берез, по голубым теням, по заячьим хитрым следам...

Лыжня взбегают на холм. Столетние ели глубже нахлобучивают тяжелые капюшоны на свои малахитовые уши. Лишь солнце и небо немного выше меня.

Зигзагами летят огни по лыжне. Странно, почему не вспыхивает снежный холм?

Теперь Наташин шарф зовет вниз. Праздничней поют белые трубы.

У подножия холма Наташа останавливается, и я чуть не налетаю на нее со всего разбега.

— Ах, это ты, Сережа? — как ни в чем не бывало спрашивает она, хотя с того февральского вечера мы еще не разговаривали.

Зачем-то сбиваю перчаткой снег с правого ботинка.

Васильковый Зяблик проносится мимо и скрывается за сосной. С горы бегут Андрей, Макс, Катя Чинкова, Костя Шишкин.

Наташи снова не видно.

Небо хмурится. Ветер поддывает, как голодный пес. Откуда взялись эти низкие тучи? Ползут и ползут, заслоня солнце, сосны и тяжелые мраморные березы.

— До-го-няй!.. — слышится мне. — До-го...

7

Март...

Месяц теплеющего света, звонких резных льдинок возле старых, потрескавшихся заборов, скрип-лых утренних морозов.

Костя снял ушанку. Его волосы как начищенная медь, брови угольно-черные, глаза зеленей, чем обычно. Вот что делает с человеком мартовское солнце. Чего там солнце... Косте любая погода к лицу. И все с удовольствием смотрят на него. Особенно девушки.

Сейчас, например, на Костю заглядываются работницы швейной фабрики. У них закончилась смена.

— Сегодня случайно задел твою тумбочку, а из нее как посыплются книги, и все стихи, — говорит Костя. — Ты увлекся стихами? И что ты нашел в стихах хорошего?

— Хорошего? Да если хочешь знать, я жалею, что поздно начал искать. Они... они... — Все же я не могу объяснить, почему стихи меня волнуют. — Они удивляют, — выпаливаю я.

В глазах у Кости усмешка.

— Не все, а многие... Есенин, к примеру... Или Тютчев... А Лермонтов?

— Знаю:

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя...

— Это Пушкин.

— Ну Пушкин,— соглашается Костя.— Какая разница? И что здесь особенного?

Неохота с ним спорить. Да и о чем спорить, если он не читал стихов? Пусть сначала прочтет. Или лучше я сам прочту Косте. Он поймет. И я уверен, ему захочется увидеть то, мимо чего он проходит как слепой: восьмигранную снежинку, луч солнца, блик луны, ночные окна, улыбку...

— А я знаю, почему ты в последнее время увлекся стихами.

Что он еще скажет, что он еще такого придумал своей сияющей, как медный таз, головой?

— Ты хочешь, как Андрей Пронин, сочинять стихи. Тебе позарез необходимо понравиться одной девчонке... Скажешь, нет?

— Кажется, ты спешишь в райком, Костя, по срочному делу? Секретарь не любит, когда опаздывают. Он с тебя снимет стружку за опоздание. А мне как раз в другую сторону. В противоположную... Привет, Шишкин!

И ухожу, размахивая руками.

Оказывается, Костю не так-то легко остановить.

— Где ты взял столько книжек? — кричит он мне вслед.— На них нет библиотечного штампа. Ты что, купил их, Серега?

Сейчас он от удивления закачается.

— У Андрея Пронина взял, Костя!

Трогаю рукой шершавый, теплый забор.

Дымится оттаявшая земля. Густые капли сползают с расцвеченных сосулек.

Снимаю шапку, расстегиваю тяжелую ватную куртку. Хочу быть поближе к солнцу, к марту.

Флейты, скрипки поют:

Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят,
Бегут и будят...

Что это посвистывает мелко и часто, щелкает, звенит... Грохот, обвал — и снова белая тишина, и снова миллионы звонов.

Да ведь это же март!

Ударяю ногой по льдистому кружеву. Кружево с блеском рассыпается, открывает черную мокрую землю.

Город обрывается у поля. За полем темнеет лес. Совсем забыл: сегодня Восьмое марта.

В клубе будет вечер самодеятельности: выступают Андрей, Макс, Сима Ложечкин и, наверное, наши девочки.

Хорошо бы найти подснежник... Отдам подснежник Кате Чинковой. Она вплетет цветок в свою рыжую косичку, и все будут удивляться: откуда у Кати подснежник? Ни у кого нет, а у Кати Чинковой в косе настоящий подснежник.

И Наташа спросит:

«Откуда у тебя подснежник, Катя?»

«Откуда? Сергей Орлов подарил по случаю Восьмого марта. Хороший он все-таки, Сережа Орлов».

«А я думала, Костя Шишкин подарил...»

«Нет, Сережа Орлов».

Наташа сторонится меня. Она все время с Андреем Прониным: на переменах, на занятиях, на собраниях. Всюду она старается быть с Андреем.

Не нахожу подснежника. Он вылезет гораздо позже: через час, или завтра, или спустя неделю.

До свидания, мартовское поле в лиловых и черных пятнах, мартовское поле в льдистых кружевах.

Солнце щекочет мои волосы.

8

Под каждой застрехой свисают, словно оплывшие свечи, тяжеленные сосулищи. Они обрушиваются и грохочут, будто майский салют.

В магазине у Вячеслава Осиповича Болбата покупаю леденцы в синей коробке с розовой девочкой на крышке. Вокруг девочки мелкими золотыми буквами написано: «Фабрика имени Восьмого марта».

Автобус, важно покачиваясь, повез на станцию пассажиров. Вдогонку торопится, поматывая хво-

стом, серая в яблоках лошадь. Саням нелегко под-
скакивать на голых булыжниках мостовой.

Из-за поворота показались девчата. Заняли весь тротуар и часть мостовой. Хорошо, что автобус и серая лошадь успели проехать. Сегодня Восьмое марта, и девчонки могут делать все, что хотят: прыгать, петь, читать стихи, танцевать, идти, как сейчас, взявшись за руки, через весь город. Кроме улыбок март подарил девчатам веснушки.

Сворачиваю на мостовую, уступаю тротуар. Девочки окружают меня.

— Где же твои цветы? — Валя Ключкова щурит глаза: она близорукая, а очки носить стесняется. Она щурит глаза: а вдруг у меня в руках букет роз или анютиных глазок?

— Виноват... — С сожалением опускаю голову. — Прошу прощения. Обследовал все поля вокруг города... Увы, не нашел подснежника. Ни одного. Черные проталины и старые заячьи следы в поле. А в лесу сосны. Хотел принести вам сосну... В последнюю минуту пожалел старое дерево.

Девчатам не смешно.

— Жаль, что не принес нам сосну, — с сожалением говорит Оля Расторгуева.

Наташа ни о чем не спрашивает, ей все равно: принес я сосну или нет, она колукает носком башмака серый мартовский снег.

Девчата берутся за руки, они готовы уйти.

— Не подумайте, что я забыл о вашем празднике, помню о нем с утра. Спросите Костю Шишкина.

Отдаю им синюю коробку с розовой девочкой на лакированной крышке.

— До вечера, Сергей! До встречи в клубе!

И коробка в машущей руке Кати Чинковой похожа на первомайский детский флажок.

Гедаля Сакер несет на плече, как ручной пулемет, большую белую трубу. Гедалина правая щека рядом с ватманской трубой выглядит особенно черной.

— Придешь в клуб? — спрашивает меня Гедаля.

— Непременно.

— Номер получился красивым,— говорит он.— Честно скажу: всю ночь не спал.

— И стихи есть?

— А как же! Андрей постарался... Впрочем,— Гедаля подозрительно улыбается,— ты же сам все знаешь, только рисунков не видел.

— Покажи.

Гедаля снимает с плеча стенгазету, собирается развернуть, но в это время прохожий задевает Гедаля локоть.

— Ладно, потом увидишь, на улице неудобно... Люди.

В длинной, почти до колен, куртке, чуть сутулясь, Гедаля уходит, и белая труба на его плече напоминает теперь аккуратно свернутое весеннее облако.

Гедаля Сакер нарисовал девушку с такими глазами, что можно час на нее смотреть, не отрываясь... Это Наташа... Не иначе — и Сакеру нравится Наташа Кречетова. А почему бы и нет? Что он, слепой, что ли, наш художник?

Неожиданно прозвенел звонок, в клубном фойе убавили свет.

Еще не успели все зрители сесть на свои места, раздвинулся темно-красный бархатный занавес с вышитыми на нем колосьями, шестеренками, молотками и высокий усатый конферансье привычным голосом объявил:

— Итак, начинаем программу большого концерта, посвященного Международному женскому дню Восьмое марта!

И хотя конферансье говорил серьезно, все засмеялись. Он был сам по себе смешон: длиннорукий, курносый, с обвислыми усами, томным взглядом больших глаз. Мы его не раз встречали: Иван Шурыгин, печатник фабричной типографии.

Конферансье удивился смеху в зале. И то, что он искренне удивился, и то, как он изобразил свое удивление, было также очень смешно.

— Сейчас Вероника Павлова из автоматного цеха прочитает отрывок из повести Максима Горького «Мать».

И я, и Андрей, и Костя Шишкин, и Гедаля Сакер ждем выступлений наших ребят.

В зале снова засмеялись, когда из-за кулис унылым шагом вышел конферансье и, шевельнув усами, объявил:

— Наташа Кречетова, отличница профтехучилища, прочитает стихи.

Иван Шурыгин выдвинул свои длинные руки и громко захлопал.

Появилась Наташа.

В платье вишневого цвета с белым воротничком, в черных туфельках на высоких каблуках, Наташа остановилась у края сцены, где было много света от нижних и верхних фонарей.

Конферансье хотел еще что-то сказать, вздохнул и медленно скрылся за кулисы.

— «Красота», — объявила Наташа, — стихотворение Дмитрия Кедрина.

Эти гордые лбы винчианских мадонн
Я встречал не однажды у русских крестьянок,
У рязанских молодок, согбенных трудом,
На току молотящих снопы спозаранок...

Никогда я не видел Наташу такой красивой, гордой и какой-то особенной. Да, особенной, не похожей на обычную Кречетову Наташу, известную мне с первого класса елинской школы. Я не понимал, в чем эта особенность... В ней были и девичий задор, и величаявая гордость женщины, о которой написал незнакомый мне поэт Дмитрий Кедрин. Каждое слово стихотворения оживало в голосе Наташи и волновало. И вдруг я почувствовал — есть что-то общее в том, как читают стихи Наташа и Андрей Пронин.

В чем это общее, я не знал, но оно было, и это тревожило и раздражало меня.

Я теперь понимаю, что вся красота —
Только луч того солнца, чье имя Россия.

Аплодисменты гремели до тех пор, пока Наташа не подняла руку.

Наступила тишина, и Наташа сказала:

— Прочту вам стихотворение «Подруги». Автор — Андрей Пронин из нашего училища.

Андрей, он сидел со мной рядом, даже вздрогнул. А Наташа сделала по яркому свету рампы еще один шаг к зрителям и, чуть откинув голову с тяжелой русой косой, повторила:

— «Подруги». Стихотворение Андрея Пронина. Можно было, конечно, и не повторять, все и так с первого раза хорошо слышали и название стихотворения, и фамилию автора. А Наташа зачем-то повторила...

Мы стоим у выхода из клуба: Андрей, Костя Шишкин, Макс Грибанов, Сима, Катя Чинкова, Наташа.

Застегивая на ходу пальто, к нам подходит Михаил Яковлевич Горленко.

— Отличный вечер! — говорит учитель. И непонятно: то ли его слова относятся к мартовскому морозному вечеру, такому лунному, что видна улица, мерцающая оконными стеклами, каланча с черными вокруг нее деревьями, высвеченный оплывший каток на далеком пруду, или к только что закончившемуся самодеятельному концерту.

— Я не очень-то разбираюсь во всем этом, а думается — у вас талант, — говорит учитель Макс и Симе. — Молодцы, право, молодцы! Напишу о вас в Москву, друзьям. А того лучше — съезжу, поговорю. Я, конечно, не обещаю. Посмотрим... А пока вам важно, я бы сказал, необходимо хорошо учиться. И в школе циркового искусства преподают русский язык и литературу.

Максим и Зяблик вытянулись перед Михаилом Яковлевичем, как настоящие солдаты, готовые немедленно выполнить любой приказ.

Учитель застегнул последнюю пуговицу пальто и зашагал в центре нашей шеренги.

В Москве мы не раз бывали и на экскурсиях, и просто в выходные дни. В ясную погоду ребятам с острым зрением хорошо видны высотные здания, Косте Шишкину например. И Андрей Пронин видел Москву из стеклянной будки на бывшем соборе, где дежурит Андреев отец. И все равно каждая поездка в Москву удивляет и радует, как праздник. Что уж

говорить о возможности жить и учиться в Москве.

Мы смотрим на Макса и Зяблика, которых Михаил Яковлевич назвал талантливыми акробатами, и уже мысленно видим их в Московском цирке, на арене, освещенной миллионами огней, перед восхищенными взорами тысяч зрителей. Але-оп!

Под ногами хрустит, точно крахмал, голубоватый снег. Звезды топорщат короткие лучи в проталинах между белыми волокнистыми облаками.

Не знаю почему, мне вспомнился Сент-Экзюпери и его маленький принц, летающий с планеты на планету в поисках любви и счастья.

9

С тех пор как Михаил Яковлевич Горленко обещал написать, а может быть, уже и написал или съездил по известному поводу в Москву, прошло немало времени — Ложечкин успел закончить и сдать Григорию Архиповичу тисочки. Мастер похвалил Симу. Не то чтобы Григорий Архипович произнес при этом речь, в которой имели бы место слова «отлично», «молодец» или им подобные, нет, Григорий Архипович только внимательней, чем обычно, взглянул на Симу Ложечкина и, не сделав ни одного замечания, положил тисочки на полку, в ряд с другими, в том числе с произведением Кости Шишкина, после чего опять же молча, однако с видимым удовольствием вручил Симе поковку гаечного ключа.

Так что каждому ясно: дела Симы Ложечкина обстоят неплохо.

О Максиме Грибанове этого не скажешь.

Опустив голову Макс слушает Григория Архиповича, краснеет, глядя на свои запоротые тисочки в руках мастера, а на кончике Максова носа вздрагивает капля пота, готовая в любую минуту сорваться. Удивительное дело, Макс никогда не потеет, исполняя акробатические и силовые номера. Хоть сто раз подряд может он поднять на вытянутых руках Зяблика, выжать двухпудовую гирю и при этом даже не порозовеет, а стоит учителю или мастеру сделать Максиму замечание, он немедленно краснеет и на кон-

чике его носа начинает испуганно вздрагивать капля пота.

Придя наконец в себя, Макс просит мастера:

— Вы только Михаилу Яковлевичу не говорите. Я постараюсь... Ночью буду работать.

Я представил: Макс в ночной мастерской среди прыгающих желтых теней с драчевым напильником в руках усердно склонился к тискам. Неожиданно тиски с зажатой в них поковкой срываются с верстака, летят через металлические сетки, а за ними Макс с криком: «Але-оп!»

— Ночью? — с некоторым испугом говорит Григорий Архипович. — Нет уж, уволь... Да ты за одну ночь все верстаки на сторону свернешь. Днем старайся.

И Макс старается. Сдувает каплю пота с кончика носа и начинает изо всех сил опиливать металл.

Мягко, почти нежно вожу шлифовальной бумагой по стали, вытираю чистой белой тряпкой поверхность ключа, еще и еще раз проверяю ход винта.

Трубы и барабаны, играйте торжественные победные марши! Маршалы, командуйте своим армиям: «Смирно!» Пусть колонны солдат замрут в парадном восторге: я несу свой готовый раздвижной ключ мастеру.

Макс шепчется с Зябликом, Гедаля Сакер потирает скрипящую бритую щеку, две золотые косички вспыхивают справа от меня. Катя Чинкова с подчеркнутым безразличием перекидывается словами с Костей Шишкиным.

Вот и Андрей наклонился над токарным станком, освобождает из патрона деталь.

В ключе, словно в зеркале, вижу мастерские, окна с перистыми облаками и квадратами чистого неба... Наташу...

Странно, почему Наташа Кречетова Восьмого марта на вечере в фабричном клубе не прочитала «Предчувствие творчества»?

Или Наташа не знает эти стихи? В конце концов, не обязана Кречетова знать наизусть все произведения поэта Андрея Пронина.

Ни единого шага не делает навстречу мне Григорий Архипович. Не спеша вынимает из нагрудного

кармана штангенциркуль и на глазах у всей мастерской проверяет: все ли я сделал, как надо. А я стою рядом с мастером, спиной к стеклянной стене конторки, и почему-то все замечаю: две темные глубокие риски на старом штангеле мастера; слегка обтрепанный правый рукав спецовки в масляных пятнах; большие руки, повертывающие во все стороны мой ключ.

Потом Григорий Архипович поднимает ключ чуть повыше плеча, держит так не больше мгновенья и мягко кладет на полку, где уже лежит добрый десяток раздвижных ключей.

И все равно я узнаю свой ключ. Я узнал бы его и среди тысяч других.

10

— Сергей,— зовет Пронин,— хочешь увидеть наш город сверху? Сразу весь город?

— Хочу,— говорю я. А вдруг Андрей поведет меня на аэродром, где его приятель работает летчиком на вертолете?

— Тогда пошли.

Андрей ведет меня к темным высоким липам. Среди них до самого неба поднялась пожарная ка-ланча. На снегу под толстыми липами лежат, как лиловые половики, неподвижные тени. И в мае под этими старыми липами случается снег.

Видать, Андрей не раз взбирался по железным ступеням винтовой лестницы. И мне ничего не стоит прыгать через ступеньку хоть до самого солнца.

Со всех сторон свет.

Так пронзительно светло, что, кроме света, я ничего не вижу.

— Здравствуй, папа!

Постепенно все проявляется, как на фотобумаге: черные, с прыгающими смешинками глаза Андрея, рядом с ним человек в нагольном овчинном тулупе оглаживает, словно успокаивает, указательным пальцем смоляные седеющие усы.

Так вот какой отец Андрея Пронина! Как-то Андрей говорил, что его отец служит в городской пожар-

ной охране. Я представлял его в медной каске, в негнущемся брезентовом костюме, с топором на боку, а он, оказывается, в овчинном тулупе, в стеклянной будке, под самым небом.

Отец Андрея протягивает мне руку:

— Будем знакомы, меня Виктором Ивановичем звать.— Рука у Виктора Ивановича теплая, жесткая.

И я говорю:

— Сергей Орлов.

— Вот и добро, познакомились,— говорит старший Пронин.

...Внизу с крыш сбрасывают слежавшийся снег... Крыши, освобожденные от снега, дымятся. Вздрагивают в солнечной прозрачности стекла средней школы. На вывеске швейной фабрики отливают начищенной медью узорные буквы. Башенные краны, похожие на одноногих журавлей, вытянув шеи, несут в клювах поддоны с кирпичом. А вот и наше училище. К нему прилепился черно-белым сорочьим хвостом сад. Чуть подальше, левей — общежитие спичечной фабрики.

— Как? — спрашивает Андрей.

— Да... — отвечаю я и сам не пойму, почему вспоминаю февральский вечер, Наташу с закрытыми глазами и напряженным от любопытства ртом, черных галок над белой площадью.

Виктор Иванович меряет шагами стеклянную будку, сторожко высматривает, не пробился ли где рыжеватый подозрительный дымок. Обычных много: голубые, в снежных прожилках дымы от сухих березовых дров; черные и плотные — от сырых еловых, осиновых поленьев; с желтизной — торфяные. Это домашние дымы. Над кирпичной трубой подняла кучерявый белесый дым наша фабрика.

За городом поле в коричневых, похожих на свежие пятна йода, проталинах, дорога с пульсирующим сквозным паром над ней, крошечные издали домишки деревни.

А еще дальше скорее угадывается, нежели видится, громада, страна зданий... В чистое небо воткнуты сказочные вершины дворцов, древние кресты кремлевских соборов. Словно из неохватных взором снежных пространств, из этих березовых и сосновых

лесов, из просквоженных светом корпусов нашей фабрики возникла на востоке страна зданий.

— Москва,— говорит Андрей.

И я рад, что увидел из стеклянной, поднятой над нашим городом будки Москву, что и у меня такое же острое зрение, как у Андрея Пронина, у Кости Шишкина.

Пожарный колокол размеренно отбивает время. Круглые звоны гулко катятся во все стороны:

Бам... бам... бам...

Грачи с криком шарахнулись с лип: они вчера вернулись из дальних стран и еще не успели привыкнуть к звону колокола.

Ба-а-ам... Ба-а-ам...

11

Раз в неделю мы работаем в кузнице.

Окна кузницы выходят в сад. Там крутит метель: и небо и земля мечут снег, ветер с разгона кидается на деревья, голые ветки недовольно машут.

Металл багровеет в горне. Прибавляю углям ветерка. Поковка желтеет, словно полуденное июньское солнце.

Поднимаю щипцами солнце. Фейерверки летучих искр гаснут, попав невзначай в бочку с водой.

Макс — молотобоец, я — кузнец.

Легко касаюсь ручником солнца, добытого мною щипцами из горна: цель сюда, Максим!

Мягкий металл лучится, покорно меняет форму. Сигналю ручником: не так сильно, парень, а то загонишь к центру земли наковальню вместе со старой кузницей.

Откровенно радуясь своей силе, Макс неохотно сбавляет тяжесть ударов.

Мне по душе эта музыка — колокольчатый звон ручника и догоняющий его гром кувалды.

Вспоминается Тютчев:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Гремят раскаты молодые...

В оконном стекле повторяются грозовые цвета, жаркое дыхание горна, искры окалины, летящие с поковки.

— Еще разок, Макс!

Пунктирно звенит ручник, молодыми раскатами грома отвечает ему кувалда.

Полны света небольшие глаза Макса. Он улыбается — так улыбается Макс на сцене, когда весь зал ему аплодирует.

Или это всего-навсего отражение в его глазах пылающего горна?

Мы куем молоток. Отковать его следует строго по чертежу. Чем точнее откуешь, тем меньше слесарной работы.

Макс-молотобоец оперся на ручку кувалды, отсветы горнового огня окрашивают его лицо, чуть наклонившееся могучее тело.

Григорий Архипович остановился в дверях — любуется Максом, лучшим молотобойцем училища.

— Перерыв, — объявляет мастер.

Костя Шишкин, Гедаля Сакер закуривают. Макс курил до недавних пор. Он бросил, когда доктор сказал ему: курение вредит силе. Едва начатую пачку «Беломора» Макс отдал Косте и с той минуты ни разу не взял в рот папиросу. Не то что другие: долго собираются они, и вот, наконец, наступает назначенный день. «Сегодня, — говорит такой решительный парень, — я начинаю бросать, выкурю не пятнадцать, как обычно, а всего четырнадцать папирос, а завтра — тринадцать... И так, совершенно незаметно для своего организма, я через две недели дойду до одной, а затем и до нуля». Проходит две недели. И что же? Парень дымит, как дымил, на полную мощность, он даже переключился на сигареты: в них больше табака. Макс Грибанов бросил курить сразу, как отрезал.

В кузнице чувствуем себя как-то проще, чем в мастерских. Сам не знаю, почему так. Или сказывается отсутствие девчат?

Григорий Архипович садится на массивную дубовую табуретку, а мы все — на скамью. Садимся, отдыхаем, ждем. Не было случая, чтобы в кузнице во время перерыва мастер не рассказал какую-нибудь историю из своей жизни.

В войну Григорий Архипович командовал саперным взводом. Теперь мы знаем, как минировать поля против танков и против пехоты, как обнаружить шупом самую скрытую мину, сделать безопасный проход в минном поле... Многие мы узнали от нашего мастера о последней мировой войне.

Табачный дым кругами тянется к потолку, льнет к завьюженным окнам.

— Мне и десяти лет не было, когда июньским погожим утром отец повез меня в городок к кузнецу Морозову Александру Трофимовичу.

О чем это Григорий Архипович? Неужто все его рассказы о войне кончились? Ну что ж, даже интересней: узнать о детстве мастера, который словно всегда был таким плечистым, высоким, с тяжелым взглядом серых глаз.

— Морозов считался в городе первым кузнецом. Никто лучше и быстрее его не мог подковать лошадей. Да и другим мастерством славился кузнец. Охотничьи ружья, пистолеты чинил. И в часах разбирался. О плугах и боронах, о жатках и говорить не приходится. Одна беда — пил Александр Трофимович.

К нему-то и привез меня отец на выучку.

А почему, спросите, меня, десятилетнего мальчика, отец не в школу, а кузнецу отдал в ученье?.. Было нас в семье восемь детей, и я не самый младший; понятное дело, отцу, единственному работнику, невмочь было прокормить такую ораву и вполсыта.

Ну вот...

Полдня Александр Трофимович работал как следует быть, а к обеду поближе подзывал меня:

«Единым духом, Гришуха, в монопольку!.. Одна нога здесь, другая там!» — И сует мне деньги.

Пока я бегаю в монопольку — так назывались в ту пору винные лавки, — кузнец самую срочную работу заканчивал.

Пил Александр Трофимович не спеша, почти не закусывал. Выпьет, достанет железную гребенку и неторопливо расчесывает побурелую от огня и копоты бороду.

«Богатею я, Гришуха!»

«Как так, дядя Александр?»

«Глянь-ко, серебра сколько!» — И показывает мне гребенку, полную седых волос.

Случалось, запоет:

У меня, эх, молодца,
Во кудрях серебро...
Серебро во кудрях,
Не добро серебро...

А то скажет:

«Мы с твоим батькой, Гришуха, в солдатах служили, слышал?»

«Слышал, дядя Александр, мне тятя сказывал...»

«А мне твой тятя сказывал: учиться желает Гришуха».

«Чистая правда, дяденька Александр, — отвечаю я. — Тятя говорил: тебя Александр Трофимович своему ремеслу обучит».

«Вот оно, чего ты, Гришуха, желаешь — чтобы дяденька Александра тебя к своему кузнечному ремеслу на подкованной тройке, на дутых шинах рысью прикатил. Разжевал всю науку и в рот положил: глотай, Гришуха, все разжевано, не подавишься... Нет, брат Григорий, ты саморучно учись, хитростью своего ума до корней докопайся. Тебя от науки в дверь гонят, а ты в окно стучись, окно захлопнут перед самым твоим носом, а ты в щель лезь. Бьют тебя — улыбайся: «Чего изволите?» Вроде бы не по твоей спине, а по наковальне ручником походный марш вызывают. Так и учись. Так, брат Григорий, и я науку постигал. А теперь пляши».

«Я, дяденька Александр, не обучен плясать».

«Гляди-кось! — удивлялся Морозов. — Тебе батя чего наказывал?»

«Во всем слушайся Александра Трофимовича, все его приказания бегом исполняй, — вот что тятя велел».

«А ты?.. Пляши, сукин кот, коли кузнец Морозов велит».

Ну я плясал... А он бородой трясет: мол, плохо пляшу. Встанет, выпрямится, головой тряхнет и давай вокруг наковальни топать, да так, что вся кузница аж ходуном ходит. Ежели кто в этот час с заказом являлся, Александр Трофимович выпроваживал:

«Господин Морозов сурьезно заняты, заказов не принимают... Придите завтра».

Которые кузнеца знали, старались с утра приходить.

Когда отец мой наведывался, рассказывал я ему, как Александр Трофимович меня кузнечному делу обучает. Отец сердился:

«Учение, известное дело, не мед. Ты терпи. Зато мастеровым станешь, кузнецом!»

И я терпел.

В дни особенно срочных заказов Морозов не пил. В такие дни он забывал о водке. Александр Трофимович весь подбирался, молодец будто. Молот в его руках как живой пел. Горн, словно сам по себе, загорался жарким огнем. Не успеешь сунуть железо в угли — готово!

Много я мастеров повидал, а такого искусного, как Морозов, пожалуй, не встречал.

...Григорий Архипович задумался, глядя на при молкший горн, на угли, подернутые белым налетом, словно глаз бельмом. Лишь редкие угольки в горне упрямо помигивали.

Снег царапал оконные стекла, и они подрагивали. Гадаля чиркнул было спичкой, хотел прикурить, раздумал, шумно подул на огонек и сунул почернелую спичку обратно в коробок.

И мы снова слышали:

— Как-то в обеденный час подкатил к нашей кузнице важный чин в погонах. Кучер, не сходя с облучка, крикнул в открытую дверь:

«Эй, кто тут кузнец? Да поживей!»

Александр Трофимович — он уже успел выпить свои полбутылки — собрался было по-всегдашнему ответить: «Кузнец Морозов заняты, приходите завтра, да пораньше», — но, видать, золотые погоны с бахромой удивили старого солдата, он взял инструмент и пошел к лошадям.

Нагнулся Александр Трофимович к лошадиной ноге, да споткнулся — водка свое дело сделала, — конь испугался и кованым копытом ударил кузнеца...

Вот так...

В вагоне кроме меня еще два пассажира, они забрались на верхние полки, стараются уснуть.

Поезд тронулся медленно, словно оцупью. Круглая кирпичная водокачка с широкогорлым рукавом на цепи, казалось, осторожно попятилась к стене вокзала. Девушка в синей с тремя белыми поперечными полосками шерстяной шапочке легко вскочила на подножку вагона.

Я задремал.

...Открыл глаза и увидел Наташу. Вспомнил: Катя Чинкова вчера говорила, что Наташа собирается в Елино. Впрочем, я и сам знал, что Наташа собирается в Елино.

— Ты так сладко клевал носом... Наверное, сон интересный видел? Цветной, широкоформатный, да?

— Нет... А ты давно здесь?

— Вскочила на ходу.

— Это ты прыгнула на подножку? Я не узнал тебя.

— Я в новой шапочке. Первый раз сегодня надела... Или ты попросту спал?

Пропускаю мимо ушей последние слова, говорю:

— Шапочка идет тебе.

— Правда?.. Ты надолго в Елино, Сережа?

— Суббота и воскресенье.

— И я.

Наташа поправила на голове шапочку. Я всегда удивляюсь, как почти незаметно и ловко умеют это делать девочки и вообще женщины, например моя мама. И Наташа неуловимо быстро поправила шапочку, не то чуть приподняла слева, не то еле-еле опустила справа, и шапочка стала еще лучше, и на лице у Наташи появилось новое и очень милое выражение.

Наташа смотрит в окно. И я смотрю в окно. Утренний свет окрасил ее лицо. Шапочка сейчас сиреневая, а подсвеченные волосы — розовые. Сегодня будет хороший день.

Поезд стучит, как телеграфный аппарат: ку-да, ку-да, ку-да. Телеграфные столбы, связанные прово-

дами, указывают поезду дорогу. Вдруг мне показалось: столбы сбросили с себя провода вместе с изоляторами и, подпрыгивая, разбежались по снежной равнине в погоне за грачами.

Хорошо бы до Елина было не восемнадцать, а тысяча, две тысячи километров, и чтобы наш поселок не торчал среди снежного поля, а удобно устроился на берегу, скажем, Черного моря. Мы ехали бы с Наташей, и незаметно за окном теплело б и теплело, таял снег, южное солнце подняло зеленые всходы, осветило открытую воду рек; за нами остались бы угольные терриконы, разноцветные шумные города, и вот оно наконец — море! Море я видел пока лишь в кино, на репродукциях картин Айвазовского, на цветных фото. И все же я люблю море. Иногда оно снится мне. И не было случая, чтобы я не увидел во сне белый, как гушиное перо, парус на ярко-синей воде. Парус туго надут ветром и летит над водой, как на обложке книги Валентина Катаева.

Да, хорошо проехать поездом тысячу или больше километров!

Наташа говорит:

— Ты увлекся стихами, Сергей? Раньше ты не любил стихи, смеялся над теми, кто их читает. — Наташа водит пальцем по оконному стеклу, по чистому, прозрачному оконному стеклу. Зачем она это делает?

— Кто тебе сказал, что я читаю стихи? Андрей Пронин тебе сказал?

— Нет, не Андрей Пронин.

— Кто же?

— Не будь чересчур любопытен, Сережа... Катя Чинкова, а ей — Костя Шишкин. Ведь Костя твой первый друг. Да?

— Костя — мой друг.

— Бывало, ты все мне рассказывал раньше, чем другим. Помнишь, еще в школе?.. Конечно, это было давно. — Наташа повернулась к окну. Синяя с белыми полосками шапочка ритмично покачивается передо мной.

— Я и теперь говорю тебе первой, только ты ничего не слышишь...

— Это из-за колес, колеса слишком громко стучат, — отвечает Наташа.

Вот ведь не думал, что вагонные колеса могут так заглушать слова.

— Я читал Блока, Лермонтова, Маяковского, Есенина, Светлова, Тютчева...— Мне нравится называть поэтов.— Если хочешь знать, все стихи я брал у Андрея Пронина. У него осталась от брата целая библиотека. Его брат погиб на фронте...

Произношу все эти слова в окно. Оно прозрачно, как воздух, и ничего в нем, кроме марта и бегущего неба, не видно.

Все ли я сказал? А вдруг Наташа снова обидится, что я не все ей говорю.

Однотонно стучат колеса.

Наташа не рассказывает, была ли она у Андрея Пронина дома, видела ли книги, оставленные братом, и те, которые приобрел Андрей, поднималась ли в стеклянную будку к Виктору Ивановичу. Или Наташа не слышит моих слов, ни единого слова, очень уж громко и назойливо стучат колеса.

Поезд вздрогнул и остановился.

Елино...

Наташа перескакивает через рельсы, избегает на макушку взгорка. Макушка потемнела. Солянце сгоняет лучами остатки снега.

Наташин голос:

— Сер-гей! Се-ре-жа!.. Погуляем по... Ели-ну!.. Если хо-о-очешь!

В рупор, составленный из ладоней, кричу:

— По-о-о-гу-уляем!

Ушел поезд. Тишина подступила со всех сторон. Слышно, как срываются с застрех сосульки.

13

Я не писал домой, что приеду. И вообще давно не писал маме. Мне стыдно. Правда, теперь поздно переживать.

Наш дом... Он еще больше скособочился. Одно из окон почти сплошь завалено снегом.

Десять или двенадцать лет назад наш дом виделся мне огромным и окна очень высокими. С каждым годом дом уменьшался и теперь стал таким, ка-

кой есть: маленьким, подслеповато выглядывающим прищуренными окнами из сугробов.

И все равно мне нравится наш дом.

Бегу. Сени. Дверь, обитая войлоком. Кухня. Белый выскобленный пол.

Со старым скрипом распахнулась дверь.

Мама...

Мама обнимает меня, целует и, чуть отстранив голову, говорит:

— Ты совсем взрослый, Сергей. У тебя уже усы!

— Разве это усы! — смеюсь я, ощупывая кончиками пальцев верхнюю губу. — Вот у Гедали Сакера действительно усы и борода! Он давно бреется. — Спыхватываюсь: — Да ведь ты не знаешь Гедалю, парень из нашего училища, художник.

Потом мама спрашивает:

— Ты был очень занят все это время?

— Как всегда, мама.

— Чего же ты не писал мне, как всегда? Ты забыл, что у тебя есть мать?

Опускаю голову. На чисто выскобленном полу желтоватые ветвистые линии, напоминающие риски на стали.

И сам не пойму, как получилось, что за целый месяц я не написал маме.

Мама треплет мои волосы. То ли это ласка, то ли таска, но мне приятно чувствовать, как мамина рука ворошит, слегка потягивает мои волосы. Мама делает так, и когда я провинюсь, и когда бываю очень послушным. На всякий случай наклоняю голову, тычусь губами и носом в мамину щеку.

Мама хлопчет на кухне, собирает на стол.

Я бегу с ведрами к колодцу. Воздух тонко прострочен капельным звоном. Колодец словно слит из оплывших ледяных бревен. Качаю рычагом глубинную ясную воду, и она со свистом льется в ведро.

Предо мной тарелка, полная поджаристых, лоснящихся маслом картофельных дроблен. Они всегда вкусны, но с пылу-жару, шипящие, вкуснее в тысячу раз. Дроблены — это праздник моего детства.

— Что нового в больнице? — спрашиваю я.

Мама — старшая сестра в хирургическом отделении. Она работает там с тех пор, когда в больнице размещался госпиталь. Сохранилась фотография мамы в солдатской шинели, в пилотке набекрень. Ей было тогда двадцать лет, а может быть, только девятнадцать.

На другой фотографии мама рядом с лейтенантом. У лейтенанта рука на перевязи. Это мой отец Владимир Евгеньевич Орлов. Больше года лечился он в госпитале. Ему сделали пять или шесть операций. Бывали дни, когда мама не отходила от его кровати.

Сейчас она, наверное, не вспоминает об этом, сидит за столом напротив меня, ест и подкладывает мне дробы... Солнце отсвечивает от зеркала на мамино лицо. Иногда я ловлю ее внимательный взгляд. Она думает, что я занят только своими любимыми дробями, и поэтому так на меня смотрит.

Нехорошо, что я не писал ей целый месяц. Она-то мне писала. А я читал стихи и лазал с Андреем на пожарную каланчу.

Мамин взгляд сталкивается с моим, она улыбается. И я улыбаюсь. Мы вдвоем, как были всегда до моего поступления в училище. Мы еще не успели отвыкнуть друг от друга.

А может быть, мама вспоминает моего отца, сравнивает меня с ним?

...Лейтенант выписался из госпиталя уже после войны и женился на маме. После свадьбы прошло три или четыре месяца, у лейтенанта открылась старая рана, и он умер.

Друзья из его эскадрильи прилетали на похороны в наш поселок.

— Всё, как обычно: к нам привозят больных, мы их лечим, а потом они сами уходят домой.

Это мама отвечает на мой вопрос: «Что нового в больнице?»

— Все сами уходят?

— Не всегда,— говорит мама.

Вдруг я спрашиваю:

— Ты читала «Маленького принца»? Эту книжку написал Антуан де Сент-Экзюпери.— Очень четко выговариваю имя и фамилию: «Антуан де Сент-Эк-

зюпери». — И еще добавлю: — Он был летчиком.

Мама вздрагивает. Она все еще любит моего отца.

— Спрошу в библиотеке. В понедельник. Сейчас я запишу...

Подхожу к письменному столу, за которым делал школьные уроки, и крупно пишу на листке из тетради. На таких листках мама пишет мне письма. Очень крупно и ясно пишу название и фамилию автора.

Мама разливает чай.

Из окна видна вся улица до самого поля, и даже лес немного виден из нашего окна.

По улице идет Наташа, останавливается, оглядывается, словно она здесь впервые. Впереди Наташи, солидно помахивая крыльями, прыгает грач, похожий на экскурсовода. Грач обстоятельно показывает любопытной девушке достопримечательности грачинной страны. Он при галстукке, его клюв начищен до блеска.

Вовсю светит солнце.

Мне необходимо немедленно выйти из дому, самому посмотреть, какие перемены совершились в Елине за последние месяцы, послушать, о чем рассказывает Наташе грач.

Мама с ухватом в руках стоит у пылающей печи. Мамины щеки покраснелись. Оранжевые отсветы потрескивающего огня прыгают по стене.

— Пойду немного погуляю, мама. Ладно?

— Иди, иди... Не опоздай к обеду. Будут блинчики с мясом и украинский борщ. — Мама треплет теплой рукой мои волосы.

Перепрыгиваю мартовские лужицы, хотя ничего не стоит перешагнуть их. Мне охота скакать через солнечные костры, крылато носиться над поселком, швырять тяжелые свистящие снежки, со звоном разбивать ноздреватые хрупкие сосульки.

Наташа машет синей с белыми полосками варежкой. А я и не заметил, что у нее варежки под цвет шапки и шарфа такой же. Раньше у нее был красный шарф.

Навстречу нам идет Прокофий Тимофеевич, часовой мастер. У него седые клочковатые брови. Прокофий Тимофеевич резко ударяет шишкастой палкой по тротуару, высекая мокрые искры из луж и снега. На наше приветствие он отвечает кивком головы, внимательным прищуром глаз.

Так Прокофий Тимофеевич здоровался и три и пять лет назад — сколько я его помню.

А вот Галина Арсентьевна Любавкина-Бобровская, фармацевт елинской аптеки. Из-под ее короткого пальто, небрежно накинутого на плечи, стерильно белеет халат. Любавкина-Бобровская возвращается после обеда к своим лекарствам. Говорят, что в ранней молодости она была актрисой.

Здороваемся с Галиной Арсентьевной.

Ничего не изменилось в Елине: те же люди, те же дома, тот же воздух. Хотя нет, выросли башенные краны: один, два, три... К стрелам тянутся стены новых домов. Блестят свежие оконные стекла в брызгах известки.

— Строится наше Елино,— говорю я Наташе.— От больших городов не отстает. Скоро в Елине вырастет новая улица с огромными магазинами. И не одна... Как-нибудь приедем в Елино и не найдем своих старых домишек.

— А один домишко, Сережа, непременно оставят... Чтобы люди тридцатого века смогли увидеть, как жили их далекие предки, то есть мы. Домик оденут в прозрачный футляр и повесят нейлоновую табличку: «Жилище человека начала двадцатого столетия. Сохранено для всеобщего обозрения. Чересчур любознательных просим руками не трогать».

— Ну и придумала! — говорю я и смеюсь.— «Чересчур любознательных просим руками не трогать».

— И ничего смешного нет,— без улыбки говорит Наташа,— в тридцатом веке все будут вежливыми.

Мы еще немного поговорили о будущем, когда наверняка в нашей стране построят коммунизм, а возможно, и во всех странах; когда ракеты станут летать на любую планету и обратно, а у каждого человека будут портативные крылья для удобного, без толкотни, передвижения на работу, в гости на другие

материки, на острова в океанах и просто так для прогулок в выходные дни, которых наверняка будет не меньше трех или четырех в неделю.

Поле началось за домом старого партизана Кузьмы Артамоновича Дросвянникова. Трое его сыновей погибли на фронте, жену застрелил пьяный немецкий офицер. И тогда Кузьма Артамонович Дросвянников, или, как все его зовут, дед Кузьма, стал партизаном.

Дед Кузьма вышел на крыльцо. Белая борода лежит на его широкой груди и морозно серебрится в свете солнца.

— Здравствуйте, Кузьма Артамонович!

Он поворачивается на наши голоса, приставляет правую ладонь козырьком к бровям, а левой машет, как бы разгоняет лучи, чтобы лучше видеть. Узнали нас дед Кузьма? А почему бы и нет: ведь мы росли на его глазах.

— Надолго приехали, мастера?

Узнал все-таки дед.

— До понедельника, Кузьма Артамонович!

Дорога через поле вся в весенних следах: ошметки рыжего навоза, оттаявшие выбоины, темные мокрые клочки прошлогоднего сена.

Сворачиваем на лесную тропинку. В лесу весна и не начиналась. Но так кажется лишь вначале. И в лесную чащу пришел март: скипидарно пахнет нагретая хвоя, на шелушащейся сосновой коре бугрятся сгустки смолы.

Наташа расстегивает пальто, убегает вперед, прячет в карманы сине-белые варежки и лепит снежок. Она дует на сухой снег, чтобы тот лучше лепился.

Снежок, однако, не долетает до меня, рассыпается, словно тополиный пух.

Хочется громко кричать, аукать, чтобы слышно было далеко-далеко.

Сухие снежинки радужно мельтешат в квадратах и кругах неба, исколотого сосновыми иглами.

Наташа рядом.

— Давно хотел тебе сказать...

«Что ты хотел мне давно сказать?» — в упор спра-

пивают глаза Наташи. Никогда я не видел таких любопытных глаз.

Хватаю Наташины плечи, хочу поцеловать Наташины губы.

Деревья со всеми своими иголками, медно-синие стволы, светлые пятна на меди отлетают назад.

Лежу на снегу... Глубоко в небо вросла зеленая крона сосны, отчетливо видно, как белка шелушит на ветке прошлогоднюю шишку.

Вскакиваю и толкаю плечом сосну. Во все стороны летит сухой чистый снег.

Обняв рыжий ствол в оплывших льдинках, Наташа насмешливо смотрит на меня.

— Ты куда убежала?

— За тридевять земель, — говорит Наташа и выходит из-за дерева.

Вокруг бушует март. Ветки сбрасывают с себя слежавшийся снег, подрагивают, выпрямляются. Дятлом стучит в снежный наст тяжелая капель.

— В городе не увидишь такого, — говорит Наташа. Я молча киваю.

Зато не смолкает Наташа. Она обращается к соснам, к небу:

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!

И почти без паузы:

Свечение капель и пляска.
Открытое ночью окно.
Опять начинается сказка...

Сосны остались за нами. Наташа глянула на меня, будто только-только увидела, или узнала, или захотела увидеть и узнать. И тут же помчалась, размахивая синими варежками, к полю, к дымящейся проталине.

— Подснежник!.. Сергей! — зовет она. — Подснежник! Я первая в этом году нашла подснежник!

Вот когда пришел в поле подснежник. Робкий цветок, оказывается, ждал Наташу. Теперь он в ее руках, чистый, как свет.

Утро погасило огни в окнах, зажгло небо.

Елино просыпается.

Провожая маму в больницу.

— Ты все-таки пиши, Сережа.

— Я ведь близко, мама... Восемнадцать километров.

— Можно жить под одной крышей и быть очень далеко... Не забудь сверток на столе, слышишь, Сережа?

В больничные ворота въехала цистерна с молоком. Дворник жестко шаркает метлой.

— Я все возьму, мама.

Она снимает мою шапку и ерошит волосы. Мама всегда так делала, провожая меня. А сегодня забыла и вот вспомнила. Это хорошо, что вспомнила.

Мама нахлобучивает мне на голову шапку, негромко смеется и бежит к больничным воротам.

Она совсем как девочка, моя мама.

14

Всю ночь барабанил в оконные стекла дождь.

Мне снился пионерский лагерь. Я — главный барабанщик, колочу палочками туго натянутую кожу барабана. Мимо проходят отряды со знаменами и скрываются в далеком лесу. Алые полотнища, шурша, задевают темно-зеленую листву, равномерно — раз-два — поднимаются и опускаются загорелые ноги...

Дождь смыл остатки снега. В чистых лужах мягко колеблется солнце. Лишь в апреле бывает так хорошо.

Из-за поворота улицы показались Костя Шишкин, Катя Чинкова, Макс Грибанов и Сима Ложечкин.

— Вчера в наш город, — говорит Макс, — приехал на гастроли известный силач и борец Кондрат Слива с труппой акробатов... Возможно, мы присоединимся к ним.

Макс говорит так, словно от него одного зависит — присоединиться к Сливе или не присоединяться, сам же Кондрат Слива, известный силач и борец, со своей труппой акробатов с великим нетерпением ждет решения Макса Грибанова.

— А что Михаил Яковлевич?

— Ничего он мне не говорил,— отвечает Андрею Макс.

— Стало быть, надо ждать.

— Мы не очень-то уверены, что Москва пришлет вызов,— выскакивает вперед Зяблик.— Мы все же решили сходить к Кондрату Сливе.

— Ну что ж,— соглашается Андрей,— Слива так Слива... Вам видней.

Катя Чинкова нагнала Наташу. Они чему-то смеются и оглядываются. О чем они говорят?

Русая Наташина коса волнисто вздрагивает, когда Наташа смеется. На темно-синем халате играют солнечные полосы. У Наташи новый халат, она привезла его из Елина.

Катя и Наташа сворачивают за угол дома с желтыми ставнями. И в дождливую погоду кажется: на ставни светит солнце. Старый столетник, упершись голенастой ногой в горшок, царапает оконное стекло, рвется на весеннюю улицу, к апрельским лужам, к дымчатой зелени ив.

Костя отводит меня в сторону, ждет, пока все пройдут вперед.

— Скоро на фабрику,— говорит он.— К настоящему делу. Надоело в мастерских — тесно.— Костя устался на меня из-под черных бровей. Брови близко сошлись на переносице: почти сплошная черная линия над глазами. Раньше я этого не замечал. У Кости прямой и решительный нос, твердо очерченные губы и крепкий, чуть выдающийся подбородок. А Катя Чинкова почему-то последнее время избегает Шишкина.

— Жду не дождусь дня, когда начнем работать на фабрике по специальности,— признается Костя.

И мне охота поскорее на фабрику, однако могу потерпеть и две, и три недели, и месяц, если надо. Правда, на фабрике нам положат зарплату, как настоящим рабочим.

Все же я спрашиваю:

— А чего ты так спешишь на фабрику?

Шишкин вытягивает из глубоких брючных карманов руки, поворачивает ладонями вверх, словно на широких бугристых ладонях написан подробный от-

вет, почему Косте Шишкину не терпится пойти работать на фабрику.

— На фабрике мой отец... и дед. Ты понимаешь? Родной дед в ремонтно-механическом. Деду семьдесят шестой год. Он всю фабрику наизусть знает. Дед еще при хозяине вкалывал.

Костя ждет: я начну удивляться: «Ну!», «Не может быть!», «Неужто еще при хозяине вкалывал?», «Вот это дед!».

— Ну и что? — говорю я.

— Мальцом я бегал к деду и к отцу на фабрику в гости. Понимаешь?.. В гости. Они и сейчас меня за пацана считают. А тут приду сам по себе, в свой цех, и к ним загляну мимоходом... Вот так-то, брат Орлов... Приду и спрошу: «Нет ли у тебя, дед, молотка поувесистей, что-то мой легковат». А перед тем как уйти, между прочим, скажу: «Заглядывай, дед, к нам в цех, заходи в гости».

Ну и Костя, нашел о чем думать в это апрельское утро.

Сегодня мой черед работать на токарном станке.

С минуты на минуту Григорий Архипович выйдет из своего кабинета (так мы называем стеклянную конторку) и начнет обход.

Включаю станок. Подвожу резец к металлу. Стружка сползает спиралью. Падают на резец молочные капли эмульсии.

— Чаше промеряй.

Григорий Архипович наклоняется к моему коленчатому валу, касается штангенциркулем быстрой стали, идет дальше.

Прибавляю обороты.

Стружка раскручивается, как пружина.

Еще прибавляю обороты.

Фиолетово сверкнув, стружка со скрипом лопается. Резец скользит по металлу, а мотор рокошет с присвистом, торопится...

Выключаю станок и, опустив голову, в сквозной тишине, на виду у всей мастерской, тяжело передвигаю ноги по пути в инструментальную кладовую. Григорий Архипович ждет у входа. Сейчас он похож

на театрального контролера, проверяющего билеты. Вместо билета у меня в руке перегретый резец, радужное оплывшее жало резца виновато блестит.

Мастер берет из моей руки еще не остывший резец и, даже не глянув на него, говорит:

— Плохо, Орлов... Возьми... Сам заточишь,— и протягивает мне новый.

До точила три шага.

Рывком распаивается дверь. Свежо пахнуло апрелем.

Вбежал Михаил Яковлевич Горленко. Он без пальто, в широком, табачного цвета с искрой пиджаке.

До точила три шага.

Горленко остановился у верстака, оперся ладонью на тиски:

— Товарищи! Дорогие ребята!

Что случилось? Возможно, революция в далекой стране — рабочие и крестьяне взяли власть в свои руки и объявили: отныне земля, заводы, богатства недр, солнце, каждая птичья песня, каждая морская волна принадлежат трудовому народу.

Наташа выключила фрезерный станок. Макс поднял голову. Полны любопытства синие глаза Симы Ложечкина

— Товарищи!.. Человек в космосе!.. Гагарин Юрий Алексеевич. Смоленский парень. Он летает вокруг Земли.

Тихо.

Очень тихо.

Земля, неоглядная Земля, которая, несмотря на открытия Галилея и Коперника, представлялась равниной с лесами, реками, полями, океанами, стала вдруг меньше, сжалась в шар, и теперь, когда Человек летал вокруг нее, я, может быть, впервые совершенно явственно увидел Землю круглой, как глобус.

— Коммунист Юрий Гагарин, смоленский парень.

И, как бы удивляясь, Михаил Яковлевич повторяет:

— Смоленский парень.

Сам Горленко родом из Смоленска. Это все знают.

Я совсем забыл о новом резце, о своем станке, просто радуюсь, еще неясно, правда, сознавая, что в

эти минуты совершается великое событие, благодаря которому я, и Михаил Яковлевич, и Наташа, и Сима Ложечкин, и все советские люди, да и все жители Земли стали значительнее, сильнее, зорче.

Не помню, кто первым выскочил из мастерских, скорее всего это был я с незаточенным резцом в руке. Из мастерских, из классов бежали ребята, учителя, какие-то незнакомые люди с улицы, сторож Никита Самсонович, гладко выбритый и лысый...

На просторном, как площадь, дворе училища, запрокинув головы, мы смотрим в небо, где в глубокой апрельской голубизне плавают облака, похожие на молодых гусей.

Я вдруг вспомнил фотографию моего отца в летной фуражке. У отца молодое открытое лицо с ямочкой на подбородке. Мне представилось, что Юрий Алексеевич Гагарин похож на моего отца, который наверняка мечтал о полете в космос и если бы не умер от ран, то мог бы...

Какого цвета космос? Голубой и синий, как сегодняшнее небо, или зеленый, с апельсиновым оттенком, или красный, золотой, каким бывает небо рано утром, а возможно, черный или белый, прозрачно-бесцветный.

Меня опередил Костя:

— Михаил Яковлевич, скажите, пожалуйста, какого цвета космос?

Все с нетерпеливым любопытством смотрят на учителя. А Горленко, весело прищурившись, говорит:

— Еще немного терпения, Шишкин, скоро мы получим самую точную информацию от очевидца...

Тут раскрывается окно канцелярии. На подоконнике — радиоприемник с никелированными деталями, с зеленым электрическим глазом, подмигивающим нам.

— Слушайте голос первого в мире космонавта!

И мы слышим:

— Чувствую себя отлично... Все в порядке... Все в порядке.

В этот день мы не могли работать, думали и говорили об этом смоленском парне. И, честное слово,

иногда мне казалось: я рядом с ним в кабине ракеты, лечу мимо далеких звезд и сообщаю людям на Землю, которую вижу всю целиком:

— Все в порядке, товарищи люди!

Так и не успел я в этот день заточить резец, и в инструменталку не смог его вернуть, положил незаточенным в свой ящик. Ничего с ним не случится.

А потом диктор своим торжественным голосом сообщил:

— Майор Юрий Алексеевич Гагарин приземлился...

Кто-то хлопает меня по плечу, толкает в бок, обнимает. И я кого-то хлопаю по спине, кому-то из всех сил пожимаю руку, кого-то обнимаю. Мы аплодируем апрельскому небу, кричим «ура!», а Максим Грибанов и Серафим Ложечкин крутят сальто над еще не высохшей после ночного дождя землей.

— Але-оп!

Наташина рука лежит на плече у Кати. Они — как сестры.

15

Гедаля нарисовал для газеты портрет космонавта, летящую ракету, и для заметок осталось мало места. Пришлось подклеить еще лист бумаги. Мы не стали редактировать и переписывать начисто заметки, а прямо поместили, как они были написаны: на тетрадных страницах в клеточку, в линейку, а несколько заметок — на почтовой розовой и голубой бумаге с картинками.

Честное слово, получилось неплохо. Такой стенгазеты мы ни разу не выпускали.

С портретами первого в мире космонавта идем по городу, несем лозунги, написанные на обоях, на обороте старых чертежей: «Ура! Космонавту номер один!», «Юрий Гагарин — гражданин первого в мире Советского государства!», «Так держать, товарищ Гагарин!».

Лед на реке потрескался и местами вздыбился. Вода размывает и обсасывает льдины. Они плывут, похожие на мокрый сахар.

Провожая взглядом плывущие льдины, думаю о

том, куда они держат путь, стараюсь представить, как они тают, словно мороженое, в солнечной морской воде.

Башенные краны подняли в небо стрелы, им хочется стать еще выше, самим увидеть, что творится в космосе.

К нашему училищу присоединились средняя школа, швейная фабрика, кондитеры, обувщики... Откуда-то взялась гармошка, еще одна... Все, не сговариваясь, шли на площадь. Сегодня каждому охота быть среди людей; совершенно невозможно оставаться одному.

На трибуну, с которой в праздничные дни произносят речи, поднялась девушка. Я сразу узнал ее: Лена Долгова, комсомольский секретарь фабрики. Лена подняла руку, призывая к тишине. Никто не обратил на нее внимания. Тогда Лена Долгова поставила на край трибуны транзисторный приемник с длинной пружинящей антенной, похожей на серебряный ус, сняла с шеи цветастый прозрачный шарф и принялась махать им над головой.

— Москва! Гагарин! — крикнула Лена.

Гармошки умолкли. На полуслове оборвал песню девичий голос. Стало так тихо, что мне, право, почудилось: я слышу шаги Виктора Ивановича в стеклянной будке над Городской площадью.

— Гагарин! — еще раз крикнула Лена, словно увидела живого космонавта, не спеша опускавшегося с весеннего неба на белом шелковом облаке. Повременив, Лена Долгова сказала притихшей площади:

— Говорит Гагарин!

Вся Земля слушает Москву, и радостные биотоки миллиардов сердец летят из края в край, от материка к материка, над всеми океанами и горными кряжами планеты.

Я увидел и Григория Архиповича, и Михаила Яковлевича, и других наших учителей. А вот Костю Шишкина я так и не разыскал на площади. Не видел я и Наташу Кречетову, Катю Чинкову.

Меня окликнул Андрей Пронин.

— Если ты не очень спешишь, — сказал он, — пойдем вместе.

Костя Шишкин, например, без всяких разговоров

широко бы зашагал рядом или, в самом крайнем случае, сказал: «Здорово, а!» — имея в виду и праздничный шум площади, и космический полет Гагарина, и его голос, который мы только что вполне ясно слышали из усатого приемника Лены Долговой. Гедалья Сакер молча пошел бы в ногу со мной, стараясь не отставать. Другое дело — Андрей Пронин: по любому поводу он скажет несколько очень аккуратных, вежливых слов. Такой уж он парень. Я не говорю, что эти вежливые слова всем всегда нравятся.

— Так начинаются новые эпохи! — произнес Андрей, когда мы прошли рядом шагов десять.

Я подождал, надеясь, что Андрей разовьет свою мысль, но он не захотел ее развивать. Тогда я сказал:

— Ты уж, конечно, сочинил стихи? Жаль, я не умею.

— А ты попробуй, попытка не пытка.

— Нет, я серьезно. Если написал, прочти.

Андрей помялся, словно взвешивал все «за» и «против», а потом я услышал:

— Написать написал, только не о Гагарине... Может быть, позже напишу о нем, а пока...

— Читай какое есть.

Андрею, видать, и самому не терпелось прочитать кому-нибудь свои новые стихи, он остановился под деревом, где было меньше народу, откашлялся и начал:

— «Апрель».

У девчонки в глазах я увидел твое отражение,
Месяц светлых надежд и еще не окрепших желаний.
Мы выходим из цеха, умываясь твоими ветрами,
Когда на поля опускаются длинные тени
И оконные стекла одеваются синим дыханьем.
Говорим о любви к зеленеющим всходам и к солнцу,
К проплывающим тучам и шелесту крыльев грачиных,
Мы невольно краснеем, сбиваемся, прячем улыбки,
И нам так хорошо, мой любимый и ласковый месяц.

Андрей задумчиво смотрит вдаль. Что он там увидел? Стекланную будку на вершине собора? Летящих по неотложным делам грачей? Швейниц и кондитеров с затихшей гармонью? Или автобус, порядочно постаревший, с помятыми боками, лиловый автобус, осторожно пересекающий Городскую площадь?

А может быть, он ничего этого не видит, а слушает новый марш, звучащий над городом.

Не исключено, что Андрей Пронин ждет моего отзыва о стихотворении «Апрель».

«Апрель» мне понравился, хотя я и не очень понял, как оконные стекла одеваются синим дыханьем, и вообще мне не совсем ясно, как дыхание может иметь цвет. Но в стихах встретишь и не такое...

— Ты что, влюблен? — спросил я.

В «Апреле» было что-то такое о девчонке, неокрепших желаниях, светлых надеждах, поэтому я и спросил.

Удивительно, что Андрей ответил:

— Да.

Он сказал «да» и полез в карман, как будто там находились дополнительные сведения по заданному вопросу, вынул тетрадный листок с «Апрелем», развернул, недолго подержал, сложил вчетверо, сунул в другой карман и начал краснеть. Вначале порозовел, словно шиповник, затем розовость перешла в цвет гвоздики, после чего Андрей стал пунцовым, как остывающее железо или скорей — словно железо, только начинающее раскаляться в горне. Впервые в жизни я видел, что так можно краснеть.

Неожиданно для самого себя я спросил:

— В Наташу Кречетову, что ли?

Андрей продолжал краснеть... Он ничего не ответил. Уставился на меня черными зрачками и молчал. Думаю, Андрей меня не видел.

Я сказал очень спокойно:

— Она красивая, Наташа Кречетова... Верно?

— Верно, — эхом отозвался Андрей.

Я отошел от него шага четыре. Пронин как бы очнулся, крикнул:

— Куда же ты?.. Ты ведь сам сказал, что никуда не спешишь...

Неожиданно передо мной вырос Костя Шишкин:

— Салют!

Я что-то буркнул в ответ.

Долго бродили мы с Костей по городу среди огней, среди песен и стихов о космосе, о весне, о девчонке, в глазах которой отразился апрель.

Небо стало зеленым, синим и розовым. Дул южный ветер.

Был апрель. Середина апреля. Вечер середины апреля.

16

Мы идем на фабрику.

Костя Шишкин в новой спецовке. Это отцовская спецовка. Костина мама ушила ее и выгладила так, что спецовка выглядит новой, без единого пятнышка.

Стараюсь не торопиться и идти в ногу с мужчиной в черном пиджаке и в коричневой ворсистой кепке с тенистым козырьком, надвинутым на лоб; с женщиной в легком клетчатом платке, с хозяйственной сумкой в руке... Стараюсь, а у меня не получается. Ноги сами бегут...

Еще вчера мы сворачивали к мастерским у кирпичного дома с широкими окнами, в которых — столетник, кактусы, лимон и еще какие-то растения, целая выставка комнатных цветов, а сегодня идем прямо к фабричной проходной, где вахтер в черной шинели придирчиво проверяет пропуски.

Мы — рабочие.

Может быть, в эту минуту весь рабочий класс Земли спешит на работу. Если бы сделать два-три витка вокруг земного шара, можно было бы, конечно, увидеть не одну сотню таких парней, как Костя, с шевелюрой, похожей на хорошо начищенную медь, черноглазых, как Андрей, до блеска выбритых, как Гедала, с ангельскими синими глазами, как у Симы Ложечкина, силачей, не уступающих Максусу... Да и девчат несколько не хуже Кати Чинковой и Наташи... Нет, пожалуй, таких, как Наташа Кречетова, не увидишь ни одной...

Мы идем на фабрику.

У проходной нас встречает Михаил Яковлевич Горленко. Его короткие волосы пошевеливает ветерок.

Учитель не произносит торжественных слов, хотя мог бы толкнуть речь по этому поводу: желаю, мол, вам от имени всего коллектива учащихся и преподавательского состава успехов. Надеюсь, в стенах фаб-

рики вы не посрамите чести училища... Будьте достойны старших братьев и отцов, которые... И так далее...

Горленко здоровается с каждым из нас за руку. По всему видать: Горленко рад.

Учитель положил руку на борцовское плечо Макса и что-то сказал. Макс скромно улыбается. И Сима Ложечкин застенчиво переступает с ноги на ногу.

Сто или больше раз мы проходили мимо вахтера в черной шинели. Тогда мы были гости, экскурсанты, а сегодня...

Наташа, как всегда, рядом с Катей Чинковой. Мне хочется заговорить с Наташей, спросить у нее, что пишут родные из Елина. Построили уже дом напротив школы или там все еще торчит башенный кран? Меня опережает Андрей Пронин. Он весело заговорил с Наташей и Катей, а они с интересом слушают.

Костя Шишкин тянет меня за рукав:

— Серега, забежим на минутку в ремонтно-механический, я познакомлю тебя с моим дедом. Ему почти восемьдесят лет, а он работает не хуже любого.

На днях Костя говорил: его деду семьдесят шестой, а сегодня старику — почти восемьдесят... Собираюсь спросить Костю, почему его дед так постарел, но мы вбежали в ремонтно-механический, и спрашивать поздно.

Первый, кого мы увидели, был сухонький старичок. Прижав согнутые в локтях руки к бокам, как это делают бегуны, а указательные пальцы вытянув вперед, словно между пальцами натянута паутина или тонкая шелковая нитка, которую старичок боится порвать, он не спеша шел к верстаку.

— Мой дед, — доверительно шепнул Костя. — Тише, он несет размер к своим тискам.

Я и не собирался пугать старика, мне интересно: как можно нести размер? Костя не расслышал моего вопроса, потому что в цехе шумно. Тогда я дернул Шишкина за рукав его новой спецовки. Он повернулся ко мне, и я спросил:

— Как это — размер несет?

— Сейчас увидишь.

Костин дед приблизился к верстаку, коснулся вытянутыми пальцами металла, торчащего в тисках, и на темном металле забелели меловые отметины.

— Теперь понял? — победным голосом спросил Шишкин.

Он подбежал к деду.

— Это я!.. По-настоящему, насовсем! — Костины слова я хорошо слышал, хотя находился от него в восьми-девяти шагах, не меньше. Наверняка Костя кричал как только мог. Дед, мне показалось, немного глуховат. Да и в цехе шумно, как в коридоре начальной школы во время большой перемены.

— Экскурсия за спичками? — крикнул дед, увидев наконец Костю. В голосе старика звучала откровенная насмешка.

— Я по-настоящему, насовсем! — громче крикнул Костя.

Я и не знал, что Шишкин способен так кричать. Вместе с тем мне приятно, что у моего закадычного друга сильный, звонкий голос, почти как у самого Левитана.

— Молодец! — отозвался дед, до которого долетели слова внука.

— Ну вот, теперь можно идти, — сказал довольный Костя.

И мы пошли.

Вдруг дед окликнул нас и поманил согнутым указательным пальцем со следами мела.

— Обедать, Константин, домой сегодня приходи... И чтоб без задержки. Запомнил?.. А это дружок твой?

— Ах да! — спохватился Костя. — Это мой кореш, Серега Орлов.

Я ждал, что знаменитый Костин дед протянет мне руку и назовет свое имя, отчество и фамилию, но дед и не собирался выпускать из рук напильник. Дед сказал:

— И дружка зови... Да не кричи так, не в лесу, Константин. Цех все-таки. — Дед хитро прищурился.

— Придем, — пообещал Костя. — Если не случится каких срочных дел.

— Министр, — буркнул дед и повернулся к тискам.

— Видал, какой у меня дед! — сказал Костя Шишкин с нескрываемой гордостью, словно старик по меньшей мере чемпион мира по стоклеточным шашкам.

— Да, — сказал я, — отменный старик. — Я немного завидовал Шишкину.

Костя заулыбался. Все же приятно, когда хвалят твоего деда.

Тут я увидел Наташу Кречетову. Она стояла у токарного станка. Высокий худой мужчина, в замасленной спецовке, в кепке с пуговкой, что-то объяснял Наташе. Она понимающе кивала головой.

И Андрея Пронина я увидел.

Удивился, а потом вспомнил: они лучшие станочники и будут здесь работать. Пожалел, что я не лучший станочник. Но жалеть было поздно. Теперь мне ничего не оставалось, как бежать за Костей Шишкиным в съемальный цех.

17

Наша фабрика спичечная. Спичка маленькая, а дел с ней много. Двадцать или больше цехов с утра до поздней ночи только и заняты тем, что делают спички. И коробки. Готовят химический состав для спичечной головки, без него лишь терпеливый первобытный человек мог бы из голого кусочка дерева добыть огонь... И химический состав для терок коробка... И этикетки... Школьники всех стран любознательно собирают этикетки, как почтовые марки.

Этикетки с надписями вроде: «Берегите лес — народное достояние» (или «богатство» — не помню), «Охраняйте полезных птиц и зверей», «Не давайте спички детям», этикетки с портретами писателей, поэтов, художников, прославленных балерин печатает фабричная типография, где работает знаменитый конференсье Иван Шурьгин.

Благодаря узкоколейке наша фабрика соединена с железными дорогами всей страны. Не раз я видел, как в фабричные ворота въезжают платформы с осиновыми бревнами, пахнущими лесом.

Пахучие бревна быстро и аккуратно распиливают на чурбаки, парят затем, как в бане, в особых каме-

рах, после чего на станках разрезают на длинные полосы. Из осиновых полос клеят спичечные коробки, рубят соломку.

Осиновая соломка и есть будущие спички.

Можно час рассказывать, как соломку пропитывают в каменных колодцах химическими веществами, чтобы спичка не тлела, а решительно гасла, когда расселенный курильщик швырнет ее на пол или в сухую лесную траву; как соломковые концы смазывают черным, рыжим или красным легко воспламеняющимся составом, после чего хитроумные автоматы укладывают готовые спички в коробки.

Плотно набитые коробками спичек ящики грузят в вагоны, отправляют в республики, во все края и области Советского Союза, а также в зарубежные страны.

Что бы делали люди, если бы вдруг исчезли спички? Снова, как в военное время, появились бы зажигалки. Деревенские хозяйки занимали бы друг у друга тлеющие угольки. Курильщики завели бы кремень, кресало и трут... Да-а-а... Без спичек жизнь на земле стала бы затруднительной.

Я мог бы еще долго размышлять о важности спичек в современном обществе, если бы мои мысли не прервал Костя Шишкин:

— Конечно, ремонтно-механический цех немаловажный, от него зависит многое, а наш важней, наш делает самое основное: укладывает спички в коробки.

Хотел спросить у Кости: «Какой цех на фабрике маловажный, без какого можно обойтись?» — Костя не дал мне рта раскрыть, продолжал:

— Мастер нашего цеха Дмитрий Тихонович Щербаков... Да будет тебе известно, Щербаков с закрытыми глазами собирает и разбирает любой станок. Ты знаешь, кто изобрел автомат для наклейки этикеток?

Я не знал, кто изобрел автомат для наклейки этикеток.

Уверенный в моем невежестве, Костя и не ждал ответа, он ответил сам:

— Дмитрий Тихонович Щербаков, наш мастер, вот кто!.. Щербаков, если хочешь знать, самый пер-

вый изобретатель на фабрике, да чего там на фабрике, в городе, во всей области, во...

Не споткнись Костя Шишкин на ступеньке лестницы и не прикуси при этом язык, он произвел бы Дмитрия Тихоновича в первого изобретателя Советского Союза, а возможно, и всего мира.

Все, что мы видели, пробегая по цехам: обыкновенные станки и станки-полуавтоматы, перила и ступени лестниц («Таких удобных, металлических лестниц нет во всем городе»), пожарника в плотном, словно туго накрахмаленном, брезентовом костюме, с топором у пояса и лакированным огнетушителем над головой («Выдающийся пожарник!»), — Костя хвалил с таким видом, будто спичечная фабрика принадлежит лично ему.

Костя притормозил у цеховой стенгазеты:

— Здорово, а? Нет, скажи?.. Таких карикатур и Гедаля не нарисует... Вот это рисуночек! Люкс!

Пробежали клеильный, упаковочный и очутились в нашем цехе, съемальном. Сюда мы любили ходить на экскурсии, запасались спичками. Правда, коробки были еще без намазки, но это не имело значения: стоило шаркнуть спичкой о стену, о подошву башмака, о стекло, о столешницу — спичка тут же вспыхивала.

Не в этом дело...

Я всегда удивлялся машине: она старательно отсчитывала и терпеливо укладывала спички в ею же раскрытые коробки, закрывала и сталкивала полные коробки на полотняную ленту транспортера, а тот переправлял готовую продукцию в упаковочный цех.

Мы с Костей Шишкиным — наладчики съемальных машин.

Любая работница, например вот эта, веснушчатая, в белой с лиловыми горошинами косынке, может позвать: «Сергей! Орлов!» — и я обязан прибежать.

А если не сумею помочь машине, лучший изобретатель нашего города товарищ Щербаков разгневанно приблизится ко мне и скажет:

«На первый раз, Орлов, объявляю вам выговор, а если вы и впредь не научитесь налаживать полуавтоматы, пеняйте на себя... Вы кто такой, Орлов? Вы — наладчик!.. Вот вы кто, Орлов».

Мы подошли к верстаку.

Человек среднего роста, в темно-синем берете, с загорелым лицом равномерно опиливал поковку, низко зажатую в тиски. По соседству черноволосый парень нарезал болт.

Костя Шишкин вежливо покашлял в кулак возле человека в берете. Тот еще несколько раз провел пилой по металлу, вынул из кармана замшевый футляр на «молнии», достал из него новенький штангенциркуль, проверил размеры и после этого повернулся к нам.

— Это мы,— сообщил Костя.

Человек в темно-синем берете посмотрел на нас, затем глянул на часы, сказал:

— Пришли, значит, рабочий класс?

— Так точно! — по-военному ответил Костя.

Черноволосый парень засмеялся. Человек в берете словно нехотя оглянулся, парень умолк и снова принялся клуппиком нарезать болт.

— Я — Щербаков Дмитрий Тихонович,— сказал человек в берете и обратился к Косте: — Это будут твои тиски... Звать тебя как?

— Шишкин Константин.

— Шишкин, говоришь? Семен Матвеич тебе кем доводится?

— Родным дедом.

— Серьезный старик,— сказал Щербаков.— Слесарить меня обучал.

Между мной и Костей стоит черноволосый парень со своим клуппиком. И мы с Костей нарезаем болты и гайки.

Иногда к верстаку прибегает работница за «скорой помощью», как говорит черноволосый парень. Щербаков берет гаечный ключ, отвертку и уходит в цех.

Черноволосый будто приклеен к тискам, не иначе как сдельно нарезает он болтики.

Мне необходимо сказать Шишкину, что несчетные болтики и гайки осточертели мне так же, как этот некурящий брюнет, припаянный к своему рабочему месту.

И Шишкин наверняка сказал бы: «Если говорить начистоту, я надеялся, что нас поведут в цех и пока-

жут, как налаживать съемальные станки-полуавтоматы... Ну, с чертежами или там еще с чем ознакомят, с инструкцией, что ли, а потом обязательно поведут... Слесари мы, наладчики, а не болто-резы...»

— Вы что онемели, ребята? — заговорил черноволосый парень. — Молчите и молчите... Или вы застенчивые?

— Мы не застенчивые, — возразил я.

— Меня Осафом звать... — Он собирался еще что-то сказать, но увидел Щербакова, возвращающегося с ключом и отверткой. — Тихо, — предупредил Осаф.

Дмитрий Тихонович позвал:

— Орлов! Шишкин!

Без сожаления оставили мы болты и ринулись к Щербакову. Он повел нас в цех. Работницы смотрели, как мы, в спецовках и кепках, ступаем рядом с мастером, по-солдатски размахиваем руками. Правда, мы шагали не плечо в плечо с Щербаковым, а чуть позади, совсем мало позади, так что со стороны это было, пожалуй, незаметно.

Работницы помоложе улыбались... Можно было не сомневаться, что они улыбались Шишкину: в своей почти новой спецовке, с раздвижным гаечным ключом и блестящей отверткой Костя был очень красивым и важным. Лично мне Костя нравился.

Щербаков остановился у станка. На нем и рядом с ним, на полу, навалены рваные, помятые коробки, ломаные спички. Молодая работница, ее мы увидели первой в цехе, поджав крашенные губы, сдвинув на лоб белую косынку с лиловыми горохами, беспомощно смотрела на неподвижный станок.

— Что, Зинаида, полный крах? — сочувственно спросил Дмитрий Тихонович.

Она развела руками.

— Смотрите, ребята, что делает слесарь-наладчик. — Щербаков не спеша забрался под станок, побыл там не более трех минут, так же неторопливо вылез, отряхнул приставшие к брюкам спички, сказал: — Включай, Зинаида.

Бесконечная медная лента, пощелкивая гнездами, тронулась. Спичечные коробки ныряли из кассеты в отполированные гнезда; медные языки словно ждали

этого, тут же открывали коробки и, выждав, пока они заполнятся спичками, снова их захлопывали.

Ловкими руками Зинаида сменила опустевшую кассету, удалила из гнезда, швырнула не глядя мятый коробок в фанерный ящик и благодарно кивнула Щербакову.

— Вот что делает слесарь-наладчик... Каждый из вас обязан быстро исправлять любой дефект в работе съемального станка-полуавтомата... Любой дефект,— повторил Щербаков.

Разинув рты, мы удивлялись, как быстро Щербаков наладил станок. Было приятно видеть благодарную улыбку Зинаиды. Приятно и досадно, что полуавтомат наладили не мы. Впрочем, не могу поручиться, что Костины мысли в точности совпадали с моими.

Щербаков сказал:

— Вся закавыка чаще всего в гайке или в болтике.— И, остановив станок, Щербаков пригласил нас последовать за ним.

Под станком не очень удобно и тесновато втроем. Но конструктор мог и не ставить себе задачу создавать станок со всеми удобствами.

Мы увидели: стоило болтику чуть сработаться, а гайке ослабнуть, станок начинал «выделять фортели», как выразился Щербаков. Рвались и мялись коробки, кассета выдавала лишку спичек, и коробки, как ни старались, не могли закрыться, в то же время медные языки, не обращая ни на что внимания, делали свое дело. Не в силах выдержать двойной напор, коробки лопались, и все летело к черту.

— Несовершенство конструкции,— сказал Дмитрий Тихонович, пуская станок.— Пока мы ее усовершенствуем, ваше дело налаживать станок как он есть... Ну, бывай, Зинаида. Смотри в оба!

— Я и так стараюсь, Дмитрий Тихонович...— Зинаида искоса глянула в круглое зеркальце.

— Вижу, вижу! — сказал мастер.

В прежнем порядке мы удалились из цеха.

Теперь я с искренним уважением смотрю на болты и гайки, выданные мне Щербаковым в немалом количестве для нарезки.

Мастер склонился к тискам, и пила в его руках равномерно движется: вперед-назад, вперед-назад... Ритм нарушается, когда Дмитрий Тихонович достает из замшевой оболочки штангенциркуль и проверяет размеры, их соответствие чертежу, который лежит тут же на верстаке.

Вполне вероятно: Щербаков работает над улучшением конструкции съемального станка.

Цех затих, будто электростанция прекратила подачу тока. Пожарник у двери вздрогнул от тишины, поправил топорик на своем брезентовом боку и, заложив руки за спину, принялся ходить из стороны в сторону, словно высматривая возможные очаги загорания.

Пожарник — молодой парень. Он носит усы для того, чтобы выглядеть старше, солидней. Другой причины, думаю, у него нет.

Работницы бегут в столовую. На бегу подшучивают над пожарником и смеются своим шуткам. Он не обращает никакого внимания на их смех, продолжает, заложив за спину руки, с полным сознанием долга ходить по вверенному ему посту.

Мы с Костей ждем, когда, наконец, Дмитрий Тихонович скажет: «Не мешкайте, ребята, пошли-ка в столовую: обеденный перерыв». Но мы могли бы двести лет ждать такого приглашения.

Щербаков вынул из верстачного ящика термос, сверток с едой, уселся на верстак и принялся с аппетитом закусывать. На весь цех запахло горячим кофе.

Осаф устроился неподалеку от мастера. Правда, у Осафа нет термоса, у него бутылка молока или кефира, я не успел разглядеть. Во всяком случае, ни он, ни Щербаков в столовую не собирались, и ждать их бесполезно.

Мы вдвоем с Костей Шишкиным побежали в столовую, обгоняя фабричных девушек.

Я с ходу схватил поднос и занял очередь. Наташа стояла впереди меня. Рядом с ней — Катя Чинкова и Андрей Пронин. Сегодня он не пошел обедать домой.

Костя оживленно разговаривает с Катей Чинко-

вой, задевая меня то локтем, то углом алюминиевого подноса. Толкнув меня, Шишкин не забывал каждый раз сказать: «Извини», «Прости, пожалуйста», тем самым показывая Кате Чинковой свою вежливость. Обо мне Костя Шишкин, конечно, думал меньше всего.

Я хотел поговорить с Наташей, но она стояла с таким видом, будто ей ни до кого и ни до чего дела нет, будто она ждет не дождется конца обеда, чтобы поскорее вернуться в ремонтно-механический, к токарному станку. Как-то я нечаянно задел Наташину руку, немедленно извинился, а она ответила: «Пожалуйста». Мне послышалось, что «пожалуйста» прозвучало иронически, и я счел необходимым сказать:

— Ты не подумай... Я нечаянно... Костя Шишкин желает быть поближе к Чинковой и наступает мне на пятки... Кроме Кати, Шишкин никого не замечает.

— А я ничего и не подумала...

— Как там у вас, в съемальном? — спросил Андрей.

Я не успел ему ответить: подошла моя очередь, и я начал выбирать обед. Взял щи по-флотски, гречневую кашу с двумя жареными котлетами и компот из сухофруктов. Когда все это установил на поднос, вспомнил, что собирался взять на закуску винегрет, но, пока вспоминал, меня успели вытолкнуть из очереди.

Мы с аппетитом съели первое, котлеты и приступили к сухофруктам. Вдруг Костя хлопнул себя по лбу:

— Ведь нас дома ждут к обеду!.. И дед ждет... Не хорошо получилось... Неудобно. И ты, Серега, не напомнил.

— Если бы я был твоим личным секретарем, тогда другое дело. Заведи себе секретаря, Шишкин.

Костя засмеялся и покраснел.

До конца обеденного перерыва более получаса. Сидим под апрельским солнцем на толстых осиновых бревнах, пахнущих лесом, грибами, муравьиной кислотой.

Катя говорит:

— Кончится практика, будем самостоятельно работать. Хорошо!..

— Скорей бы,— говорит Наташа.

— А дальше что? — спрашивает Андрей.

— Дальше? Как все: работать и учиться. Я обязательно поступлю в химический институт на заочное отделение.

— На заочное? Экзамены-то все едино надо сдавать. Ты готова?

— Подготовлюсь... — отвечает Наташа Андрею. Ее голос звучит уверенно, почти упрямо.

Так бывало в детстве: Наташа первая съезжала на лыжах с крутой горы, падала, взбиралась снова и, закусив губу, потирая ушибленное место, упрямо твердила: «Все равно покачусь»... Свистит в ушах ветер, глаза горят... А следом за ней катятся и другие ребята.

— Сдам, чего бы мне ни стоило.

— Ну, уж нет,— жмурится на солнце Катя.— Честно скажу: надоело учиться. Все эти тетради, уроки, экзамены... Ух как надоело! Буду работать в упаковочном, ходить в кино, на танцы, запишусь в фабричный драмкружок... Плохо, что ли?

— Выйдешь замуж,— говорю я.

— И выйду!

В густом свете апрельского дня Катины обычно серые глаза кажутся черными. Ее косички вызывающе торчат из-под вязаной шапочки.

Так по-весеннему ясно и почему-то празднично, так легко и сияюще летит прямой дым из красной фабричной трубы, что не хочется спорить с Катей Чинковой, убеждать ее — мол, нельзя терять времени, необходимо учиться. А чем, собственно, плохо работать на фабрике, ходить в кино, на танцы, выйти замуж за красивого парня, похожего на Костю Шишкина, или, наоборот, жениться на Кате Чинковой.

Наташа не согласна:

— А я хочу, чтобы и земля, и небо, и все звезды открывали мне каждый день новое.

Катя с удивлением повернулась к подруге:

— Тогда лети на Луну или на Венеру, там все новое.

— И полечу! — упрямо говорит Наташа.

Она усталилась в небо, словно намечает трассу будущих полетов.

— Ребята!

От столовой бежит Сима Ложечкин. Он взволнован. Необыкновенная новость распирает Зяблика:

— Я вас обыскался... Мы едем в Москву! Макс и я... Сам Михаил Яковлевич сказал... Честное слово!

— Сегодня?

— В мае, Красавчик, — отвечает Зяблик Андрею. — Письмо пришло. Нас вызывают в Москву... Але-оп! — И Сима Ложечкин перекувыркнулся в воздухе.

18

Вечером стеклянная пожарная будка похожа на красный флаг, поднятый над городом.

Птицы всю распевают.

Сияет невысохшей краской трибуна на Городской площади. Малая и траву возле трибуны выкрасил в красный цвет.

В главном окне универмага большой портрет Ленина с алым бантом на лацкане пиджака. С наступлением темноты над швейной фабрикой загораются электрические слова: «Да здравствует Первое мая!»

А наша фабрика?

Стоит ли говорить, что гордость всего города — наша фабрика — выглядит необыкновенно. Городские художники постарались. Галерея портретов ударников коммунистического труда разместились на кирпичной стене, опоясывающей фабрику. Здесь и Дмитрий Тихонович Щербаков.

Рисовал ударников и Гедаля Сакер. Нетрудно узнать нарисованные им портреты. В самом углу небольшие буквы: «Г. С».

Хотя красочный портрет Щербакова и висит на фабричной стене, сам Дмитрий Тихонович от этого нимало не изменился. Поджав тонкие губы, он молчаливо работает у своих тисков или ходит по вызову в цех. Случается, Щербаков зовет с собой меня или Костю Шишкина, посылает Осафа.

Мы уже получили с Костей необходимый слесарю-

наладчику инструмент: гаечные ключи, отвертки, напильники. И вид у нас вполне самостоятельный.

Да...

Как-то попробовал я сам наладить станок. Все шло отлично. Я легко нашел неисправную гайку и крутанул ее новым ключом. Вылез из-под станка и велел работнице включить мотор. Не успела она это сделать, полуавтомат с головокружительной быстротой принялся выплевывать в разные стороны рванные коробки, спички, чуть не швырнул в открытое окно всю кассету.

Работница всплеснула руками и побежала разыскивать Щербакова.

Мастер не ругал меня. Он вообще не любит ругаться. Две недели работаем мы с Костей в съемальном цехе, и я ни разу не слышал от Щербакова худого слова. Осаф говорит, что Дмитрий Тихонович сейчас такой потому, что недавно вернулся с кавказского курорта, где целый месяц лечил нервную систему и загорал на берегу Черного моря.

Негромким голосом Дмитрий Тихонович объяснил причину неожиданного поведения станка, снова упомянул о несовершенстве конструкции, посоветовал быть осмотрительней, сделал все, что требовалось, и, когда станок спокойно защелкал медными языками, произнес:

— Вот так.

После чего направился к своим тискам, на ходу сбивая ладонью с брюк и куртки обломки спичек. Мастер шел медленно, задумавшись, и я не пытался поравняться с ним.

Работницы провожали нас взглядами и в глубине души наверняка посмеивались надо мной. Было не очень-то ловко идти под этими взглядами.

Когда мы наконец пришли к верстаку и я зажал в тиски метчик, чтобы нарезать гайки, послышалось:

— Орлов!

Дмитрий Тихонович позвал и Костю.

Щербаков оперся локтем на тиски и довольно долго разглядывал нас. Костя Шишкин начал недоумевать, поворачивал голову то в мою сторону, то в сторону Щербакова и недоумевал.

Еще немного помолчав, Дмитрий Тихонович произнес:

— Лучше не ходите пока без меня по вызову... Я знаю, вам очень хочется самим налаживать станки. Так, что ли?

Костя согласно кивнул.

Я, конечно, не кивнул. Было бы смешно, если бы я еще стал кивать головой после того, что произошло в цехе.

Мастер усмехнулся Костиному кивку и сказал:

— Настанет время, я разрешу вам налаживать станки.

Настанет время...

А пока мы ходим в цех с Дмитрием Тихоновичем. Мастер в замасленной куртке и таких же брюках, с поистершимся гаечным ключом, и мы с Костей Шишкиным в новеньких, с иголки, темно-синих спецовках.

Девушки принесли из леса первые цветы, украсили зелеными ветками станки. Зинаида подарила букетик молодому пожарнику. Он долго не брал, сердился:

— Не положено... На посту...

И все-таки взял, вдел букетик в тугую петлицу куртки и теперь ходит, выпятив брезентовую грудь.

Утром сыпал крупный и частый апрельский дождь. Работницы бежали по фабричному двору в розовых, синих, голубых, зеленых, фиолетовых, белых плащах из синтетики. Вода стекала с прозрачных плащей, и плащи блестели.

Костя, Осаф и я смотрели в распахнутое окно на бегущую мокрую радугу. Пожарнику тоже хотелось посмотреть на фабричный двор, на Зинаиду в зеленом мокром плаще, он сдерживал свой порыв и строго проходил мимо окна, мимо нас, пошевеливая рыжими усами.

— Картинка недалекого завтра, — сказал Шишкин. — В будущем, говорят, будет немнущаяся разноцветная одежда, обувь и головные уборы. В них будет тепло в морозы и прохладно в июльскую жару, они не будут бояться ни дождя, ни снега, будут легко стираться и вообще... будут...

— Не будут рваться, пачкаться, стареть... Купят ребенку пять или шесть, нет — семь, по числу цветов радуги и дней недели, разноцветных костюмов, и одежда будет синхронно расти вместе с мальчиком или девочкой будущего. Дешево и сердито, — в тон Косте сказал Осаф.

— Правильно, — уверенно подтвердил Костя, не расслышав иронии.

А я вспомнил «Аэлиту» Алексея Толстого. В ней описаны марсиане и марсианки в прозрачных цветных костюмах.

Костя и Осаф ничего не успели сказать по поводу марсиан из «Аэлиты» — сигнал возвестил начало рабочего дня.

Иногда я бегаю по делам в ремонтно-механический цех. Наташа ответно здоровается со мной, и тут же опускает голову. Она, возможно, боится, что я подойду к ней, начну подробно рассказывать о погоде, о последних елинских новостях, о знакомых ребятах и говорить на другие темы, а это помешает ее большому токарному станку. Видимо, поэтому Наташа наспех здоровается и быстро опускает голову.

Пока подбирают детали для нашего цеха, я смотрю, как ловко управляется Наташа со своим станком.

Однажды я не заметил подошедшего ко мне мастера из ремонтно-механического. Понял я, что обращаются именно ко мне, лишь когда мастер взял меня за плечо и громко сказал:

— Вот что, парень, я давно за тобой наблюдаю... Забирай-ка свои железки и двигай отсюда, а то зрочки потеряешь... У вас в съёмальном своих девчат мильён.

Весь коллектив ремонтно-механического, в том числе дед Кости Шишкина, с любопытством наблюдал за мной. Лишь Наташа еще ниже склонилась к своему станку. Дело для нее всегда на первом месте.

Я взял детали и, стараясь не сгибаться под их тяжестью и не очень спешить, отправился восвояси.

Сегодня последняя репетиция перед майским концертом.

Можно подумать: Максиму Грибанову с его мускулами, которые кажутся полированными, ничего не стоит подбрасывать одной рукой Серафима Ложечкина, носить его на плечах, медленно опускаться самому головой на ковер и держать Симу на вытянутых вверх ногах.

Если бы силача Макса и Зяблика увидели сейчас в Москве, то приняли бы в цирк без всяких экзаменов. Думаю, мало кто умеет так ловко выделять акробатические номера, как наши ребята.

— А как же Кондрат Слива? — спрашиваю я. — Вы раздумали присоединиться к Сливе?

— Кондрат Слива... — с усмешкой произносит Макс. — Он берет голой силой. Ему не хватает техники... После того как мы подучимся в Москве, я не возьму Сливу даже носить наши чемоданы.

Ничего не скажешь, Макс чертовски самоуверен.

Серафиму Ложечкину не понравился тон, каким я сказал о Сливе, он подошел ко мне и в упор спросил:

— Ты что, смеешься над нами? Или как?

— Кто смеется над нами? — покраснел Макс. Больше всего он не терпит насмешек.

— Какой здесь может быть смех, — сказал я. — Просто я подумал: а вдруг вы не сдадите в Москве экзамены? Ведь и там небось нужно хорошо знать русский язык, писать сочинения на разные темы... Я уже не говорю об иностранном. Для акробатов иностранный язык первейшее дело. А что, если вас пошлют на гастроли куда-нибудь в Лондон, в Париж или на Гавайские острова?

— Наш язык всем понятен, — и Зяблик с возгласом «Але-оп!» подпрыгнул, перевернулся в воздухе и пружинисто встал на ноги.

— Молодец, Сима! — сказал Андрей Пронин. — Язык акробатов, как и язык музыкантов, художников, танцоров, не нуждается в переводе... А насчет прочего можно объясниться и жестами... Главное, чтобы послали на Гавайские острова.

Я не участвую в первомайском концерте, хожу на репетиции из дружбы к Шишкину, который в паре с Катей Чинковой танцует русский народный танец.

Наташа декламирует отрывок из поэмы Владимира Маяковского «Хорошо!». Со своими праздничными стихами выступит на вечере Андрей Пронин.

Костя и Катя пляшут под баян. Костя то пускается вприсядку, свистит, хлопает себя изо всех сил ладонями по коленям, то плывет на носках, как гусь. И Катя не уступает Шишкину. Если они так — ну прямо настоящие артисты! — спляшут на первомайском вечере, их будут вызывать на бис сто раз.

Рядом со мной села Наташа.

Она что-то сказала, я не расслышал, и ей пришлось повторить:

— Сережа, поедем после праздничного концерта в Елино... Целых три дня будем дома. Знаешь, как хорошо сейчас в лесу?

— Я сам собирался предложить тебе.

— Если ты не торопишься и тебя никто не ждет, пойдем вместе.

— Я не тороплюсь.

— Проводим Андрея, а потом погуляем... Вечер такой... — Наташа улыбнулась. — Почти как тогда в саду... Помнишь?

Я хорошо помню февральский вечер, снежную метель, Наташиных богатырей из мастерской.

Правда, февральское небо походило на ледяной каток... Вот проводим Андрея Пронина и пойдем с Наташей в сад. Я давно не был в нашем саду.

Катя Чинкова рассказывает, какой у них в упаковочном цехе молодой интересный мастер — Роберт. Если бы не темнота, наверняка можно было бы увидеть недовольное Костино лицо. Кому доставит удовольствие слушать такие слова о другом парне, пусть даже по имени Роберт.

Чтобы поднять настроение Шишкину, говорю:

— Сам пожарник не в силах смотреть хладнокровно на девчат из нашего съемального. Сердце пожарника того и гляди вспыхнет... А кто его будет тушить? Чего, например, стоит Зинаида?

— Это так,—подтверждает Костя Шишкин,— Зинаида — красивая девушка.

И при мерцающих звездах видно: Катя Чинкова покусывает губы.

Пахнет молодой травой, клейкими тополями, весной.

— Мне пора... Мама давно ждет. Ничего не поде-лаешь, срочные дела — предмайская уборка.

— Хочешь, мы поможем,—предлагает Катя Чинкова,—я люблю мыть полы и протирать оконные стекла до абсолютной прозрачности.

— Спасибо, я и сам это делаю неплохо.

Звонкий, почти девчоночий смех Симы Ложечки-на и тяжелое «хо-хо» Макса летят вдогонку Андрею.

Теперь Наташа идет рядом с Максом и Зябликом, рассказывает:

— Пролетят три или четыре года, не более... В одно прекрасное утро наш город проснется и увидит на всех заборах, в магазинных витринах, в окнах парикмахерских красочные афиши и портреты:

«Самые сильные и ловкие, широко и высоко зна-менитые во всей солнечной Галактике гимнасты и акробаты Макс и Серафим, более известный земля-нам по имени Зяблик, выступят в клубе местной спи-чечной фабрики «Огонь для всех»... Спешите! Спешите!.. Только два вечера пролетом с Венеры на Са-турн... Для бывших учеников профтехучилища вход бесплатный... Спешите!!!»

— Ха-ха-ха! — смеются Макс и Сима.— Ну и фан-тазерка ж ты, Кречетова!.. Ну и выдумщица!.. Ха-ха-ха!

Не могу удержаться от смеха. Хохочут и Катя Чинкова и Костя Шишкин.

Площадь пустынна, как ночное поле. Пустынна и бескрайна. Темнота спрятала дома, окруженная ли-пами громада собора с высокой пожарной будкой ско-рее угадывается, чем видится.

Бам!.. Бам!..

Останавливаемся и считаем. Почему-то всегда, слушая бой часов, люди останавливаются и считают удары.

Бам-м-м!.. Бам-м-м!..

Насчитал пять... Из гулкого мрака послышался слабый крик. Крик прятался за раскатистыми ударами городских часов. Но я слышал крик. Он хоронился за громким ударом и снова выскакивал в тишину.

Бегу на крик... Глаза привыкают к мраку: расплывчато вырисовываются железные пики ограды, деревья, сумрачная серость собора.

Последний удар часов расплылся в ночном воздухе.

А что, если это грачи из соборного сада поудобнее устраиваются на ночь в своих гнездах и спросонок вскрикивают?.. Скажу, если Костя или Наташа спросят: захотелось пробежаться по ночной Городской площади. Может у человека появиться и такое желание.

Вбегаю в соборный сад, вижу: двое или трое парней кого-то бьют, тот вскрикивает и тяжело, со свистом дышит.

«Сволочи!» — не то подумал, не то крикнул я.

Колюще вспыхнул фонарик, нацеленный в меня одним из парней.

Бросился на него, схватил за горло. Свет фонаря резанул по глазам. И очень ясно увиделось окровавленное лицо Андрея, его чересчур большие глаза.

Я сжимал пальцами шею длинного парня, бил кого-то ногой.

Мелькнуло и растаяло в огне лицо Наташи.

— А-а-а-а!..

...Мама спешит ко мне, с трудом продираясь сквозь чащу елиńskiego леса, а я не в силах и шагу сделать навстречу.

— Ма-а-а...

20

На полу солнечный квадрат. Смотреть на него больно. Квадрат отодвигается, уходит...

...Ночь, черная, как тушь, а в ночи чей-то крик, чья-то боль. И надо неотложно бежать, успеть на помощь крику и боли. Не ждать, не раздумывать, а бежать... Расталкиваю плечами плотную ночь.

Острый, как ожог, удар в сердце.

Силюсь открыть глаза.

Я не знал, что поднимать веки нелегкое дело. Пожалуй, и Максим Грибанов, самый сильный парень нашего училища, не смог бы поднять мои веки.

— Мама...

Да, это моя мама. Ее глаза, почему-то красные и мокрые, улыбаются. И мне хорошо, что мамины глаза улыбаются. Мама в белом халате и еще кто-то в белом халате рядом с ней. Пахнет йодом, эфиром, спиртом.

Хочу поднять руку, позвать маму — и не могу. Так бывает во сне: кричишь — и не слышно крика, изо всех сил стараешься сделать шаг — и ничего не получается: ноги приросли к земле.

И весь я тяжелый, чугунный, весь, а не только веки.

Очень медленно возвращается мама... солнечный свет... зеленый и синий, полный звуков и запахов мир.

Мама поставила на тумбочку возле моей кровати стакан с ландышами. Стакан прозрачный и легкий на вид, будто нет вовсе стакана, а вода с ландышами летит с подоконника по золотистому воздуху. В белом халате и белой марлевой косынке мама выглядит, как всегда, молодой, лишь глаза у нее усталые.

Спрашиваю:

— Как я попал в Елино?

— Это городская больница, — говорит мама. — И вообще, Сережа, я решила переехать в город... Мне давно это надо было сделать...

И сбивает невидимую пылинку с занавески.

Она сбива пылинку с занавески, застенчивыми глазами смотрит на меня.

Не так-то просто оставлять родные места и воспоминания.

Теперь я понимаю, почему мама не вышла замуж. Она все еще любит моего отца. Спрашиваю:

— Понравился тебе «Маленький принц», мама? Помнишь?

Да, ей понравилась книжка.

А потом я слышу:

— Ты не такой взрослый, чтобы тебя оставлять одного. Плохо, когда человек один. Теперь мы будем вместе.

У меня перевязаны шея и грудь, мне трудно кивнуть маме. И сказать «да» я почему-то не могу. Хлопаю ресницами и стараюсь улыбнуться.

Окно открыто. Легкий ветер заворачивает угол занавески, показывает зеленые липы, клены, кусок неба, выпускает в окно голоса птиц.

— К тебе тут ребята из училища приходили... И с фабрики... Дмитрий Тихонович и... Осаф... Кажется, так. Милиционер приходил. Я не пустила. Когда надо, их не докричишься, а потом являются допрашивать.

Пытаюсь спросить, кто еще приходил. Мама делает сердитое лицо: я должен молчать.

Сама же мама не говорит, кто еще приходил.

Первое мая давно прошло.

Сегодня мне разрешили есть сидя. Рука немного дрожит, и не всегда с первой попытки я доношу ложку до рта.

Ко мне пустили Костю, Андрея, Гедалю.

У них в руках свертки. Глаза у ребят чуть испуганные. Они еще не знают, как вести себя в больнице.

Шишкин первый кладет сверток на тумбочку, осторожно берет пальцами мою руку. Я сжимаю его пятерню.

Мы оба смеемся.

— А ты решил, что я развалюсь, если ты пожмешь мою руку? — говорю я нормальным голосом. — Еще не все потеряно! Я и с самим Максимом Грибановым готов потягаться. Кстати, где он?

— Уехали они с Зябликом в Москву... После Первого мая. — Это говорит Гедаля. — Хотели с тобой проститься, а их не пустили... Мама твоя не пустила.

Мамы нет в комнате, поэтому Гедаля так говорит.

— Ты хорошо побрился, — говорю я.

— Я купил электрическую бритву «Нева»... С полочки, — просто отвечает Гедаля. — Последний выпуск. Красивая бритва. Пять минут — и все в порядке. Без мыла, без воды, без очереди.

— Здорово! — радуюсь я.

— Ничего особенного: бритва как бритва, — довольным голосом говорит Гедаля.

Потом я спрашиваю:

— У меня очень смешной вид?

— Вид как вид,—отвечает Костя.— Не будь столько бинтов, ты был бы, как все.

Не будь столько бинтов... Видел бы Костя, когда меня перевязывают.

Андрей Пронин:

— Спасибо, Сергей, если бы не ты...

Прерываю Андрея:

— Ладно, все это чепуха... Я не знал, кого бьют. Было темно. Они все успели убежать?

— Макс все-таки поймал одного... И чуть не сломал ему руку, не рассчитал в темноте.

— Максу некогда было рассчитывать,—замечает Гедаля.

— Мои родители шлют тебе привет,—говорит Андрей.

Вспоминаю маму Пронина, ее грустные глаза, его отца в нагольном тулупе и валенках, шагающего по стеклянной будке, наполненной светом, портрет Андреева брата — Алексея.

От двери Костя говорит:

— Я знаю, как тебя увидеть... Твое окно третье от угла. Дмитрий Тихонович и Осаф приветствуют тебя. И пожарник, и Зинаида... Весь съемальный цех.

Пришла мама. Неужто она дожидалась за дверью?

— Ты не устал, Сережа? Там еще две девочки к тебе... Пустить? — Мама спрашивает серьезно, она спрашивает и как медицинская сестра.

И я серьезно отвечаю:

— Обязательно, мама.

Вслед за Наташей заходит Катя Чинкова.

Запах апельсинов наполнил комнату. Так, наверное, пахнет на острове Ява и в королевстве Марокко.

Кроме того, Наташа освобождает от бумаги букет ландышей, осторожно дает мне понюхать. От запаха ландышей кружится голова. Все же я давно не был в лесу. Касаюсь пальцами цветочков, глянцевых листьев. У меня бледные пальцы. Даже неудобно, что у меня такие пальцы.

— Цветы мы рвали вдвоем с Катей.

Катя старается не смотреть на меня. Разглядывает стены, окно, тумбочку, на которой лежат свертки. Ей все интересно. А когда я случайно встречаю ее взгляд, Катя виновато улыбается.

— Если хочешь знать,— ни с того ни с сего заявляет Катя,— ты спас жизнь Андрею Пронину.

— Так уж и жизнь? — смеюсь я.

— И зря смеешься... Сам Михаил Яковлевич сказал, что ты поступил по совести, как настоящий комс...

Мне неловко слушать, и я перебиваю Катю:

— Как дела в училище? На фабрике? Что нового? Как поживает мастер Роберт из упаковочного?

Катя смущенно краснеет. Наташа говорит:

— Тебе все посылают привет. Горленко сам собирается прийти.

Мне хочется расспросить Наташу о Елине. О Елине мы почти не говорили... Конечно, Катя Чинкова хорошая девчонка, одна из лучших, к тому же самая близкая подруга Наташи, но если бы Катя ушла...

— Мы еще придем к тебе, не скучай и поправляйся, Сергей,— говорит Катя.— Главное — поправляйся.

— Спасибо,— и смотрю на Наташу.

— Обязательно придем,— обещает Наташа.— Скоро расцветет черемуха.

— И сирень,— говорит Катя.

Они осторожно прикрывают за собой дверь.

Мама поддерживает меня слева, а нянечка тетя Клава — справа. Все качается передо мной. Окна с деревьями, с оградой и цветочной клумбой перевернулись, небо оказалось внизу, а на небе, словно в синей чашке, торчат деревья.

— Все будет хорошо, родной,— обещает тетя Клава.— Добро, ты встал на свои ноги, а теперь, милый, пойдешь, пойдешь...

Мама молча поддерживает меня.

Однажды я видел, как молодая мать учит ходить своего сына. У матери было напряженное, улыбающееся лицо. Она уже выпустила мальчонку из вытянутых, дрожащих рук... Человек делает первый шаг, он делает свой первый шаг по земле. Самый первый шаг. Потом он будет прыгать через веревочку, ходить походным, парадным шагом, бегать на лыжах, а самый первый в своей жизни шаг, с которого все началось, человек делает из маминых рук.

Моей маме одной со мной не справиться. Я выше мамы на полторы головы.

Мне стало смешно... Не могу удержать смех: меня учат ходить. Смеюсь, а окно с отдернутыми занавесками и клумбы с цветами трясутся, вздрагивают деревья — они уже успели встать на свои места.

— Ты смеешься? — У мамы испуганный и вместе с тем радостный голос.

— Меня учат ходить... как маленького... Посмотрели бы наши ребята!

— И научим, — говорит мама.

Под моим окном Григорий Архипович, Михаил Яковлевич Горленко, Костя Шишкин.

— Выздоровливайте, Орлов, поскорее! — советует Горленко. — Лето-то какое! Константин Шишкин уже самостоятельно налаживает станки, но одному ему трудно.

— Скорее приходи! — кричит Костя, хотя стоит в двух шагах от окна.

Я знаю: Костя очень хочет, чтобы я скорее выздоровел. Даже его золотая, выгоревшая на солнце шевелюра, его густые черные брови требуют: не задерживайся в больнице!

— Шишкин молодец, — говорит Михаил Яковлевич и тянет мне руку. Пожимаю ее как могу крепко.

— Теперь я уверен, — трясет рукой учитель, — скоро вы покинете это учреждение.

Григорий Архипович совсем седой. Он мнет в руке старую кепку. Раньше я не замечал, что Григорий Архипович такой седой.

— Выздоровливай, сынок, — говорит мастер.

Мне и радостно и грустно в эти минуты.

Удивительно — после долгой болезни выйти в сад.

Можно с утра до вечера вдыхать у раскрытого окна запахи деревьев, дождя, однако на вольном воздухе все по-другому. Даже закружилась голова.

Мне приятно ходить среди людей. Хотел поймать бабочку с желтоватыми в голубую полоску крыльями — она сидела на высоком одуванчике. Бабочка за-

трепетала крыльями и, не дожидаясь, пока я ее поймаю, улетела. И правильно сделала.

Присел на скамью. Скамья теплая, шершавая, выкрашенная в лиловый цвет. На спинке вырезано сердце, пронзенное стрелой. Под сердцем написано: «Леня Бубликов за день до выписки... Ура! Глафира! Глаша! Глашенька! Завтра я дома!»

Все-таки неплохо жить на земле!

Мимо прошла моя мама. Я кивнул маме. Мне хорошо, что она рядом, что ее с нетерпением ждут больные...

От радости встал со скамьи, пошел по больничной аллее. Делаю шаг влево, вправо, подпрыгиваю на одной ноге, начинаю похихатывать — я вспомнил: все перевязки, все бинты, все уколы остались позади.

На ладонях лежит солнечный свет. Я втираю живой свет в кожу. Кожа белая, мягкая, будто я никогда не держал напильника, не ударял, промахнувшись, по пальцам молотком, будто на моих руках никогда не было ссадин и синяков.

Завтра меня выпишут.

Я гуляю по больничному саду в последний раз, люблюсь деревьями, освещенными закатом.

Навстречу идут Наташа Кречетова, Андрей.

— Здравствуй, Сережа, — говорит Наташа.

— По-моему, ты совсем здоров, — говорит Андрей, — и даже порос в больнице.

Да, я порос. Не знаю на сколько, но порос. Маме пришлось кое-что купить для меня из одежды.

— Я завтра выписываюсь.

— Уже завтра? — Андрей Пронин поднимает черные брови.

Наташа хлопает в ладоши.

— Посидим, — гостеприимно предлагаю я. — Здесь есть скамья... Я люблю на ней сидеть. Особенно мне нравится ее цвет... Помните, какой масти была лошадь д'Артаньяна, когда он впервые въехал в Париж?

— Лиловая, — в один голос отвечают Андрей и Наташа.

И я веду Наташу и Андрея к скамье.

Не будь рядом Андрея, мы бы наверняка говорили о чем-либо другом, а не о скамье, похожей цветом на лошадь д'Артаньяна, и если на то пошло, мы раза два

или три уже сидели с Наташей на знаменитой скамье с сердцем, вырезанным на ее спинке.

— Ты, наверно, написал много новых стихов?

— Не так уж много, — отвечает Андрей.

— Прочитай.

Андрей молчит. Он, вероятно, ждет, чтобы и Наташа его попросила. Наташа болтает ногами в босоножках и смотрит на деревья, на цветочные клумбы, на весь больничный розовый и золотой сад.

— Как-нибудь в другой раз, — говорит наконец Андрей. — Мы, пожалуй, пойдем... Тем более что ты завтра выписываешься.

Наташа — слева от меня, Андрей — справа. Наши тени задевают липы и клены, обгаренные солнцем.

Наташа и Андрей выходят из больничных ворот.

На мне полосатый больничный халат, и я не могу выйти вместе с ними.

Медленно возвращаюсь. Кто-то бежит за мной.

Наташа!

— Ты... так быстро... шагаешь... Орлов... Теперь я вижу... ты совершенно здоров.

— Да, — говорю я, — мне нравится быстро ходить. Если хочешь знать, я недавно научился ходить.

— Забыла спросить, в котором часу тебя выпишут?.. Может быть, Костя Шишкин, Гедаля Сакер захотят тебя встретить... или еще кто-нибудь...

У меня кружится голова, как в то майское утро, когда я впервые вышел из больничной палаты в сад.

А сегодня первое июня. Весна кончилась.

Сейчас я поцелую Наташу. Я люблю Наташу и поцелую ее. Она отступает на шаг, еще на шаг к горящим кленам и оттуда вновь спрашивает:

— В котором часу тебя выпишут, Сережа?

И голос Наташи немного смеется.

— Точно не знаю, Наташа... Во всяком случае, завтра.

Она убегает за ворота в своих белых босоножках.

К Наташе подходит Андрей.

За воротами больницы все же светлей, чем в больничном саду.

Наташа машет мне рукой. И Андрей машет.

В небе появились первые звезды.



СЕГОДНЯ
И ПОЗАВЧЕРА

1

В декабре 1970 года я приехал в отпускное время в Новоселенск. Родственников у меня в городе не осталось, и я остановился в гостинице, названной по имени местной реки — Карна. Встретился с Михаилом Горшениным, с Калиной Дубовицким: мы вместе учились в школе и в фабзавуче. Теперь Михаил — сотрудник районной газеты «Заря», а Калина Дубовицкий — старший мастер станкостроительного завода.

Мы не узнали друг друга: сорок лет разлуки сильно изменили нас, очень сильно. А потом долго вспоминали детство, школу, фабзавуч. О настоящем почти не говорили. Настоящее у каждого из нас отдельное, а прошлое — общее. Поэтому, вероятно, при первой встрече мы и говорили о прошлом.

Уже полная луна докатилась до макушки неба, когда я вернулся в гостиницу. Электричество не стал включать. Искусственный свет равнодушно сотрет законный пейзаж. Не хотелось сразу возвращаться к гостиничному уюту с зеленой настольной лампой, с розовым, прожженным сигаретой покрывалом на кровати.

Окно мягко показывало лунный пруд, окруженный белыми тополями, дома на том берегу, колыханье круглых дымов над крышами.

Длилось протянувшееся из детства настроение радости и грусти.

Неожиданно постучали. Узкая полоска света под запертой дверью вздрагивала. Нехотя пошел открывать. Попутно включил электричество, снял шапку, пальто.

За дверью ждала женщина:

— Павел? Вагин?

— Да,— недоуменно подтвердил я.— Пожалуйста.

Она прошла в уже лишенную лунной мягкости, резко освещенную комнату с черным окном.

— Ты... вы меня, конечно, не узнаете?

Я молчал и, может быть, слишком пристально смотрел на женщину. Ее каракулевая, словно заиндевевшая шапочка пирожком, такого же серебристо-серого цвета воротник пальто, рыжеватые ресницы, голос — ничто не было ясно знакомым. Однако сказать наверняка: никогда не встречал эту женщину — я не решился бы.

Она прошла, дохнув на меня морозной свежестью.

— Садитесь, пожалуйста.— Придвинул ей стул.

— Это Миша сказал, что вы в гостинице, и номер сказал. Новоселенск не Москва: у нас новости распространяются быстро.

— Миша?! — вслух удивился я.

— Михаил Горшенин из редакции «Зари», — пояснила женщина. Разве вы не знакомы? — Она смутилась.

На ее месте и я смутился бы.

— Что вы, что вы, Горшенин мой старый друг.— Чуть было не сказал: «Мой Маленький друг», как мысленно называю Михаила, вспоминая о детских годах.

Было неловко ждать, когда она себя назовет или я узнаю ее.

— Меня Калина Дубовицкий так и не узнал,— сказал я, как бы оправдываясь.

— Оля я, Цветкова.

Я покраснел. Встал. И она встала.

— Здравствуй, Оля.

И хотя, произнося имя и невольно думая об Оле, девочке из фабзавуча, я перешел на «ты», женщина, которой помог снять пальто, которую пригласил сесть, оставалась для меня по-прежнему незнакомой. Теперь, в шерстяном костюме василькового цвета, без шапочки, она почему-то выглядела старше.

— Садись же, Оля,— повторил ее имя, словно звучание имени могло помочь мне увидеть в этой женщине девочку с челкой, тоненькую Олю Цветкову,

лучшего токаря нашей группы. Дело, разумеется, не в том, что Оля Цветкова слыла лучшим токарем нашей группы, она была и лучшим слесарем, и лучше других читала стихи, и пела, и плясала на вечерах самодеятельности,— в то время она мне казалась вообще самой лучшей. И если уж говорить все: я любил Олю, хотя спустя сорок лет, я понимаю, эта откровенность выглядит несколько смешной.

Сразу вспомнился выпускной вечер в фабзавуче: речи, поздравления, туши, премии, ужин с пивом... Потом мы пошли в лес: вся наша выпускная группа токарей и слесарей-наладчиков, за исключением двух-трех, ну, может быть, пяти человек.

Мы шли мимо фабрики: она светилась всеми этажами. Иссиня-черное, еще ночное, очень тихое небо уже сулило восход. Было тепло. И густая синева, и предчувствие восхода, и свет фабричных этажей, и шорохи, и запахи белой акации, тополей и лип существовали в нас, и мы были во всем окружающем.

Мы подпрыгивали на ходу, убегали вперед и возвращались, что-то пели, рассказывали смешное и смеялись, вспоминали, старались угадать будущее.

Лес темнел за станционными строениями. Перескочили светлые полосы рельсов. Они вибрировали: недавно прошел поезд.

И тут я ощутил Олину руку в своей. Нет, я не остановился, не выпустил руку, всего лишь засмеялся. Смеха, пожалуй, не только Оля, сам я не слышал. Смех был во мне, как бывает свет в зашторенной комнате.

И что очень запомнилось: в зеленый, розовый, неясный рассвет ворвался паровозный гудок. И сразу все посветлело. Честное слово, мнилось: солнце по-фабричному загудело, предвещая начало своего труда.

Я остановился, и Оля по инерции наскочила на меня. Как-то так получилось: обнял ее, поцеловал. И Оля, кажется, меня целовала.

А воздух светлел и светлел, и деревья купались в свету, и птицы пели. Не одни птицы — весь лес, и все небо, и вся земля пели, тенькали, высвистывали. И никого, помимо земли, неба, солнца, сосен и этого органного многоголосья, вокруг нас не существовало.

В звуковой и солнечной кутерьме я поднял Олю на руки и понес. Она обхватила мою шею, и ее волосы щекотали мне щеку. Было немного смешно.

Я целовал Олю, зарывался носом в ее рыжие волосы, и, наверно, произносил какие-то слова. И все боялся: лес прервется, раскроется, нас увидят ребята, захохочут, а я, застигнутый врасплох, уже не смогу выговорить слова, которые ни для кого, кроме меня и Оли, не имеют смысла, а для нас, в том лесном движении света и звуков, были самыми важными, самыми нужными и ясными.

Высоченная сосна пылала, жадно захватив всеми ветвями и стволом как могла больше первого солнца.

Нам было неловко от счастья.

Мы возвращались из лесу. Оля вслух мечтала, как мы будем жить и вместе работать. И я что-то говорил об этом.

Оля остановилась, сказала:

— Как мы поженимся, ведь нам нет и восемнадцати?

А я и не думал вовсе о женитьбе. Странно и смешно было слышать от Оли о женитьбе, даже стыдно немного. И я сказал:

— Ромео и Джульетте тоже не было восемнадцати.

Оля сказала:

— Им и по шестнадцати не исполнилось, когда они влюбились, а потом погибли из-за того, что не могли официально пожениться.

Я ничего не стал говорить ни о Ромео и Джульетте, ни о женитьбе, ни о чем, я целовал Олю и обо всем забывал. И она забывала обо всем. Это я видел по Олиным глазам. В них отражался я. Один я.

Оля была тоненькой и легкой, и я мог бы нести ее на руках через все леса, поля, через всю жизнь.

В гостиничном номере новоселенской «Карны» пожилая женщина по имени Оля уже знакомым голосом произнесла:

— В Карновском лесу, на том месте, помнишь, на полянке у сосны, памятник жертвам Гитлера.

Не сказала: фашистов, гитлеровцев, а — Гитлера. Для нее Гитлер общее выражение ненавистной вой-

ны, перекорежившей жизнь и ее, и всех близких, и города Новоселенска, и самой земли. В Олином выражении Гитлер не человек — бедствие, подобное холере, пожару, голоду.

А то утро Оля помнила. Война, Гитлер не смогли заслонить давнее июньское утро. И белый памятник не заслонил. Они поместились рядом, как свет и ночь: то утро и памятник.

Оля помнила все.

И еще раньше меня начала вспоминать: после встречи с Михаилом Горшениным, надевая дома у зеркала шапочку седого каракуля, пудря нос... Что это у нее с носом? И щека вроде ранена: шрам. Сразу не увидел, а сейчас заметил.

Оля уловила мою неловкость и, возможно, вину во взгляде, беспричинную и все же вину, не покраснела, как могла бы, не принялась припудривать нос и щеку, не повернулась ко мне как бы невзначай другой щекой, а продолжала прямо и откровенно смотреть мне в глаза. И я не решался, не смел отвести взгляд...

Тень не то улыбки, не то раздумья мелькнула на ее лице, в котором я все надеялся уловить хотя бы черточку той, прежней Оли.

Я вскочил: в любую минуту закроют буфет.

— Что случилось, Павел?

— Мне необходимо позвонить. — Не говорить же Оле, что я намерен ее угостить? И в буфет ее не позовешь. Даже звать Олей эту пожилую, в шерстяном василькового цвета костюме женщину неловко. И все же я не позволю себе попрощаться, сказать: «Очень рад был тебя увидеть. Спасибо, что навестила».

Я не ощущал внутренней потребности продолжать разговор, встречу, воспоминания. Все, что мог и хотел, я вспомнил. Однако сказать об этом Оле не решился бы. Тем более захотел выпить с нею чаю, чтобы уничтожить в себе это беспокоящее равнодушие...

— Прости, Оля, пожалуйста, я сию минуту. — «Оля» произнеслось с нежностью. Мне всегда нравилось имя «Оля».

Заторопился. У самой двери, уже открывая дверь, услышал:

— Почему ты хромаешь, Павел?

Я открыл дверь, и за скрипом мог бы не расслышать слов: «хромаешь, Павел?» — я и не желал их слышать.

Буфет действовал.

Мне позволили взять поднос. Водрузил на поднос десяток пирожных, кипящий чайник, белый с золотыми цветочками, гору антоновских яблок с нимбом памятного с детства аромата.

Думаю, я выглядел ничуть не хуже официанта из перворазрядного ресторана: темный костюм, белейшая сорочка и черный галстук. Правда, я прихрамываю. Ну что ж: прихрамывающий официант.

Поднимаясь по лестнице на свой этаж, вспомнил: не взял вина. Возвращаться с подносом не хотелось. Да и есть ли в буфете вино? Вино, пожалуй, имеется, не может не быть вина. Но возвращаться в буфет не хотелось.

Меня провожали уважительные, насмешливые, улыбчивые взгляды гостиничных жителей.

— Зря беспокоился, — сказала Оля, когда я, толкнув плечом незапертую дверь, вошел в номер. — Я собиралась пригласить тебя... Ты в Новоселенске — гость.

— Теперь ничего не поделаешь... Да и какой я гость?

— Нет — гость, — упрямо повторила Оля.

Она перенесла со стола на подоконник пепельницу, графин, газеты, разместила на столе стаканы, блюдо с пирожными, яблоки. Ее движения были округлы, точны, привлекательны. Она улыбалась. Я старался помочь ей.

— Ты свое дело сделал, Павел, не мешай, пожалуйста.

Вдруг я подумал: Оля с первой минуты обратилась ко мне на «ты». Калина Дубовицкий, Михаил Горшенин — Маленький друг не узнали меня, а Оля с первой минуты обратилась ко мне на «ты». Или я не так уж изменился... Старался увидеть себя, каким был сорок лет назад: густоволосый, чернобровый, с ясным быстрым взглядом, ловкий... И теперь: суту-

лый, хромой, достаточно седой, близорукий — не очень-то изящный. Не такой уж, конечно, хромой, да и зрение еще хоть куда: читаю без очков. А все равно: мало общего между Пашей Вагиным тридцатых годов и Павлом Осиповичем Вагиным тысяча девятьсот семидесятого года.

Впрочем, себя семнадцатилетним не помню, сужу по фотографии, умозрительно.

— Прошу к столу, — Оля чуть поклонилась, коснулась пальцами васильковой юбки.

Пьем чай. Похрустывают пирожные.

— Погаси, пожалуйста, верхний свет, — попросила Оля.

Я погасил.

— Не так казенно, почти по-домашнему.

Оля пьет чай, смотрит на меня, ждет. Наверно, мне следует что-нибудь сказать, поддержать разговор. А я молчу.

— Все равно я тебя узнала бы, — с вызовом говорит Оля. «Все равно» означает — если бы Михаил Горшенин и не сказал, что Павел Вагин остановился в четырнадцатом номере «Карны». — Что-то осталось в походке (я ухмыльнулся), во всем облике... Этого нельзя объяснить... А ты меня узнал?

— Конечно, — соврал я. — Хотя и не с первого взгляда.

— После того как я назвала себя, — засмеялась Оля, — было трудно не узнать... Уж не помню, после какого это было взгляда. Иной взгляд длится минуту, час. Да и к чему эти книжные слова: «с первого взгляда». Ты все ещё сочиняешь стихи?

— Нет, — сказал я.

— Прости, Павел, я пошутила.

— Есть вещи, которые нелегко забыть. Хочешь забыть, а не забудешь. — Теперь я не лгал. Да и раньше говорил правду: я узнал бы Олю. В ее голосе отдаленно, очень отдаленно, как третье эхо, слышалось что-то знакомое. Или так мнилось после ожившего июньского утра тридцать первого года и от уже окрепшего сознания, что рядом Оля Цветкова.

Сейчас я лучше понимал Калину Дубовицкого, который так долго вглядывался в меня, примеряясь и так и эдак к прошлому.

— Странно смотреть из сегодня в давние годы, на самих себя, как в перевернутый бинокль.

Оля не обратила внимания на мои слова. Она думала о своем.

Прежние чувства существовали вне нас, отделившись от нас, и были радостны и печальны, а их крушение не так огорчительно, они — как старые письма, уже пожелтелые, завязанные полинялой ленточкой или ветхой бечевкой, случайно обнаруженные на пыльном чердаке.

Пожалел, что рядом нет Михаила Горшенина, Капины Дубовицкого, Ивана Белозерова. Встретиться с Иваном мне пока не удалось: станкостроительный завод откомандировал Белозерова в подшефный колхоз ремонтировать тракторы... Иван по-старому представлялся мне золотоволосым кудряшом в темно-синем костюме, впервые надетом на выпускной вечер. Другим я его еще не знал. Несмотря на свою молодость, он не вызывал удивления рядом с нами. Вместе нам было бы интересней.

Кстати, что произошло после того июньского утра, которое я вспомнил во всех подробностях — от росных капель на траве, дробного теньканья и чиликанья птиц до охваченной светом сосны? Что было дальше? Почему мы живем с Олей под разными крышами, встретились случайно, спустя сорок лет? Как же все так вышло?

Мы медленно, не замечая времени, шли с Олей. Впрочем, в то утро времени, по сути, не было. Земля не кружилась вокруг солнца. Солнце существовало всюду. Зеленели и пахли деревья. Пруд был бирюзов и гладок, и серошие гуси ладно скользили по бирюзе, не оставляя привычного следа. Небо до горизонтов наполнилось густым светом. Окна фабрики походили на квадраты неба, вправленные в рубиновые стены.

Я проводил Олю до общежития.

И сейчас в гостиничном номере будто слышу тишину далекого июньского утра, перед гудком для первой смены.

— До свиданья,— сказала Оля на лестничной пло-

щадке перед дверью общежития. Оля прощалась, а рука ее держала меня. И глаза не отпускали.

Тут загудело. Застучали ноги по железным ступеням лестницы.

Оля открыла дверь общежития, а я побежал домой.

Кому еще, как не маме, которую я любил больше всех на свете, мог я рассказать об Оле, о том, что мы скоро поженимся, о соснах Карновского леса, охваченных солнцем. О соснах, пожалуй, не стал бы рассказывать.

Я спешил со скоростью тысяча верст в минуту, продолжая начатый с Олей полет, над Новоселенском: над городским садом и прудами, над белой колоннадой торговых рядов, над площадями. И фабричная труба приветственно махала мне снизу сизым дымом.

Влетел на Красную улицу и приземлился во дворе.

Пес Шалун собрался было по глупости залаять, успел взвизгнуть, опомнился, замотал обрубком хвоста, словно извиняясь, а куры, не поняв его, шарахнулись кто куда.

— Мы старались понравиться мальчишкам, одетая поинтересней. А что мы тогда могли?

Так говорит сегодняшняя Оля, пьет чай и говорит, что девочки в фабзавуче хотели нам понравиться.

— Сучили, как шерсть, вату, вязали береты, красили и разгуливали в цветных беретах, всячески показывая, что на мальчишек нам наплевать. Мне тогда очень хотелось, чтобы ты меня замечал. Сейчас об этом я могу сказать, не стыдясь.

Я с удивлением взглянул на Олю. Она не обратила внимания на мой взгляд, продолжала:

— Я шутила изо всех сил с другими ребятами, хотала на всю улицу. Но тебе было все равно. Твоя голова была набита стихами. Ты парил в небесах на крыльях Пегаса. Помню твою поэму о селькоре, убитом кулаками. Ты ее читал по радио. А после чтения ступал по майскому городу, как петух, разбудивший

солнце. Это-то я хорошо помню: ты был как две капли воды похож на молодого петуха. И никого не узнавал. Не сомневаюсь: если бы в тот вечер ты увидел самого себя в зеркале — не узнал бы. Ах как ты гордо шагал!

Я деревянно смеюсь и обжигаюсь чаем. Чай в новоселенской гостинице горяч, ничего не скажешь.

— Совсем забыл! — вскрикиваю я. — У меня в чемодане лимоны, отличные аджарские лимоны.

— Лимон — это славно, — одобряет Оля. — В новоселенских магазинах лимоны — редкие гости, особенно аджарские.

Режу лимон тупым ножом. Комнату заполняет запах. Сок брызжет в лицо.

— Эх ты, москвич, — говорит Оля, — до сих пор не научился резать лимон.

Она берет у меня надрезанный лимон, нож. Странное дело: в ее руках тупой нож режет легко и тонко, словно бритва.

С лимоном чай еще вкуснее и не так горяч.

Оля всегда была остра на язык. Некоторые ребята по этой причине избегали ее. Уважали, смеялись ее остротам, но избегали.

— А других стихов, кроме той поэмы, ты не помнишь?

— Почему же, — говорит Оля, — помню. И другие стихи помню, хотя ты не читал их по радио всему городу.

Она засмеялась, отвела ото рта стакан, чтобы не расплескать чай, поставила на стол.

— В дождь береты мгновенно сжимались тяжелыми комками, а лица девчонок зеленели, краснели, синели... Все зависело от того, кому какой цвет к лицу.

Продолжаю ждать, когда Оля спросит: как ты жил и живешь? Есть ли у тебя дети? Кем стал?

И я могу задать ей эти вопросы.

Мама идет мне навстречу.

— Тебя можно поздравить, Паша?

Она не интересуется, где я был до утра, почему не ночевал дома. Всего-навсего спрашивает: «Тебя

можно поздравить, Паша?» И мамин голос дрожит... Наверное, от радости: старший сын наконец завершил учебу, будет приносить матери заработок, и ей станет легче.

Из-за маминой спины выглядывают моя младшая сестра, Фрося, и мой младший брат, Корнилий. Они учатся в седьмом классе. Корнилий окончит семилетку и поступит в фабзавуч. Разве плохо освоить специальность слесаря-наладчика съемочных машин или инструментальщика и одновременно получить среднее образование, как это сделал старший брат, то есть я.

Фрося мечтает о звании, ничего сверхъестественного — о звании учительницы начальных классов. Она спит и видит день, когда войдет, скромно и изящно одетая, в класс: «Здравствуйте, дети, я ваша учительница Ефросинья Осиповна Вагина».

На столе завтрак. У нас заведено: рано завтракать. Всем надо успеть с утра что-то сделать для дома: вымыть полы, наколоть дров, натаскать в бочку свежей воды из дальнего колодца, сварить обед.

К тому же семья в полном составе ждала меня.

И вот я наконец пришел.

Корнилий из-за маминой спины ухмыляется мне, Фрося смотрит с любовью и осуждающе. Я оставляю без внимания и ухмылку Корнилия, и осуждение Фроси.

— Меня можно поздравить, — отвечаю я маме, все еще не теряя ощущения недавнего полета. Мой голос звучал торжественно. Мама кинула на меня подозрительный взгляд и пригласила завтракать. Не позвала, как обычно, а именно пригласила:

— Пожалуйста, к столу, Паша.

Вместо того чтобы приняться за еду, громко сказал:

— Я женюсь!

Корнилий прыснул в ладони, а Фрося чуть не подавилась куском хлеба.

— Ладно, ладно, жених, — сказала мама, — поешь сначала. На кого только ты похож: худой, нескладный, одни веснушки торчат.

Я глянул в прекрасное настенное зеркало. Оно всегда висело на этом месте. Папа подарил его маме

вскоре после женитьбы. Зеркало в точности повторяло все, что ему встречалось. Да, я немного похудел за ночь, так, самую малость, зато мои глаза выросли, они сияли, горели, лучились...

Мама нарочно сказала, что я нескладный. Я нравился маме, и в то же время она была чем-то недовольна, даже злилась. Сейчас, пожалуй, назвал бы то мамино недовольство — ревностью. Еще не видя Оли, мама ненавидела ее, как соперницу, способную увести сына Пашу от исполнения надежд, возлагаемых на него семьей.

Мама достала из печи дрочены. Они волнующе дышали своей ноздреватой поверхностью, и масло жарко вспыхивало и потрескивало на них. Мама налила из глиняного глечика полстакана черного кофе с цикорием, добавила до верха томленного молока, придвинула ко мне пушистую булочку с корицей.

Нормальный человек сошел бы с ума от запахов, распустившихся над столом.

Со счастливой, усталой улыбкой мама села за стол, как бы приглашая и меня так поступить.

Я не сел.

Мой младший брат Корнилий пялился на дрочены, на булочки, на кофе с золотым томленным молоком, глазами все это ел и пил, вылизывал и подбирал крошки.

А я стоял у стола и упрямо твердил:

— Я женюсь.

— Кто же она, моя будущая невестка? — с неживой, кукольной улыбкой спрашивает мама и прячет руки под передник.

— Оля, — говорю я.

— Небось писаная красавица?

— Да, — отвечаю я. И тысячью слов я все равно не смог бы передать красоту Оли. Поэтому сказал: «Да».

— Ты б хоть познакомил с писаной красавицей Олей меня, Корнилия, Фросю. Как-никак, мы тебе не чужие.

Фрося покраснела, а единственный брат Корнилий рванул пятерней из моей тарелки две или три жирных дрочены и немедленно спрятал их в свою пасть.

— О! — крикнул я. — Пожалуйста! Пять минут, и Оля будет здесь! Три минуты!

Что мне стоило долететь до общежития и вернуться с Олей?! И дроблены не успеют остыть.

Мама не слышала моих слов.

— Жаль, отец не дожид до светлого дня, не увидит красавицу сноху. На меня одну оставил всю радость. И бабушка не погуляет на свадьбе любимого внука Пашеньки.

— Две минуты! — орал я.

— Зачем спешить, сынок, не на пожар... Надо убираться... чтобы все было, как у людей. Я надена приличное платье. Корнилий умоет лицо, у него нос и даже уши в жареном масле... Неудобно все-таки... Жаль, у Фроси для такого случая нет подходящего платья. Если бы жил твой отец, он заработал бы на свадебные расходы для старшего сына. И бабушка собрала бы милостыню... Ты знаешь, что на свадьбу нужны деньги?.. Много денег.

— Вот они! — вытащил из кармана и, как козырную карту, положил на стол премию двадцать пять новеньких рублевых бумажек. — И у Оли — премия.

Мама отвернулась от рублей, от меня, от зеркала: в нем, кроме моих счастливых глаз и выпуклых веснушек, ничего не повторялось. Мама отвернулась от Корнилия и Фроси, утопила лицо в фартуке и плакала тихо, бессильно, тихо и печально, так тихо и печально, что зеркало потускнело и забыло любоваться моими прекрасными глазами.

А потом сказала:

— Как сам считаешь, Паша. Как сам считаешь, Паша.

Рубли желто отсвечивали на столе.

Никто не смотрел на премию. И мне стало обидно. Мне вручили ее вместе с грамотой на выпускном вечере под туш духового оркестра в фабричном клубе. Аплодисменты шумели, как сто голубиных стай в прозрачное июньское утро. Все любовались мной, и я старался видеть всех.

Миша Горшенин, как председатель профкома, вручил мне от имени дирекции, от имени комитета комсомола, от профсоюза премию и попутно

произнес пламенные слова. Часть его речи помню: «Павел Вагин — наш передовой товарищ, наш лучший производственник... Его произведения всегда отличались высоким качеством... Мы гордимся... Мы уверены... Комсомолец Павел Вагин не посрамит...»

В президиуме сидел директор училища Георгий Яковлевич Горленко, худой и островолосый. Сверкала золотая, как раскаленная в кузнечном горне сталь, шевелюра Ивана Белозерова, а Ивановы синие глаза дружески светили мне. Иван имел право радоваться моей премии, как собственной. Он научил меня бить по зубилу, не глядя на молоток, и в кузнице учил, и у токарного и у фрезерного станка. Иван все умел. Способность действовать любым инструментом, управлять любым станком, находить самый короткий путь от чертежа к детали словно дана была Ивану от рождения.

Рубли шевелятся на столе, как языки пламени раздуваемого горна. Рублей мало, и никто, кроме меня, не обращает на них внимания. Мне они нравятся — я возлагал на премию определенные надежды. Если бы рублей была тысяча, может быть, мама бы сказала: «Тысячи рублей хватит на свадьбу, на праздничный костюм тебе, новое платье Фросе, новые штаны Корнилию».

«А тебе, мама?»

«Мне? Зачем мне? Что я, не сошью себе из чего-нибудь?»

И она сошьет из чего-нибудь, скомбинирует вставку, кокетку, пройму, фестончик... И платье будет как с иголочки, как от лучшей новоселенской портнихи Генриетты Августовны Квец.

Моя мама умела шить. Моя мама лицевала, комбинировала, штопала, латала. И если Генриетта Августовна славилась как первая портниха Новоселенского уезда, то мою маму весь город знал как лучшую лицовщицу. Нет, о себе мама не беспокоилась. Она молча стояла у стола, возле глубокой тарелки с дробчанами, сотворенными в честь окончания мною училища. Дробчены уже не дышали, они опали, ужались, как рыбы на берегу. Червонное томленное молоко спрятала морщинистая пенка.

Мама ждала.

Я не стал завтракать. Выбежал из дому.

Я любил маму и не смел ей в этом признаться. Я ненавидел маму: она не позволяла мне жениться на Оле Цветковой. Мне было мало, чтобы она просто позволила мне жениться,—мама обязана была радоваться изо всех сил, поздравлять меня, восхищаться Олей, которую не знала, печь пироги, высокие, душистые, каких, кроме моей мамы, никто другой не мог бы испечь.

Я ненавидел брата Корнилия, сестру Фросю. Я ненавидел зеркало: оно все повторяло и никогда ни над кем само не смеялось, лишь повторяло, словно вся жизнь в радиусе зеркала не стоила и выеденного яйца, не заслуживала ни смеха, ни слез, ни маломальской улыбки.

Рыжие волосы Оли светили мне из близкого прошлого, и сосновые иглы по-прежнему торчали в Олиных волосах.

И все равно я любил маму. И моя любовь лишала меня сил улететь, убежать, уйти. Мама бережно держала мое сердце своими исколотыми, застиранными, готовыми на любую работу руками.

Я не улетел со двора в городское небо, я пошел в сарай, где младший брат Корнилий, спустя рукава и не думая о завтрашнем дне, выбирал для колки самые гладкие, без сучка и задоринки, дрова. Я выхватил у Корнилия топор и, не снимая выходного костюма, перешитого на мой рост из папиной свадебной тройки, принялся колоть самые суковатые, самые объемистые, обугленные временем, узловатые дубовые, ясеновые, березовые колоды. Они усыхали в нашем сарае много лет. Мы избегали их. Профессионалы-дровосеки с клиньями из чистой стали, с полным набором колунов и всем причиндалом дроворубов не желали связываться с залежалыми, в три обхвата чурбанами. А я колол эти древние окаменелости, ахал, эхал, охал, возносил над головой и обрушивал со всего маху, со всей невероятной силой топор на дровяную плаху, разваливая и березу, и дуб, и доисторический ясень.

Я сорвал с себя пиджак. Из бокового кармана блеснула моя грамота с золотым тиснением, с золотыми

словами «Ударнику первой пятилетки Павлу Осиповичу Вагину...».

Росла гора колотых дров. Дважды мой младший брат Корнилий осторожно заглядывал в сарай, что-то говорил мне. Я ничего не слышал, гром топора, грохот летящих дров заглушал все посторонние звуки. Корнилий убегал.

Потом я снова увидел маму. Я придержал пруть топора и, несмотря ни на что, тщеславно ухмыльнулся горе колотых дров.

И мама радовалась моей силе. С таким помощником не пропадешь. Он в состоянии расколоть все дрова, весь сарай, он способен срубить новый сарай, новый дом, воздвигнуть город. Всё в его власти.

Мама не догадывается, откуда моя сила? Или догадывается? Что ей, не было семнадцати лет? И разве рядом с невозмутимым зеркалом не висит портрет моего отца?

Но, как бы там ни было, в эту минуту старший сын моей мамы колет на зиму дрова, а какая-то сопливая девчонка желает увести старшего сына моей мамы со двора, от дров, от сарая, от материнских надежд.

Мама принесла в сарай глубокую тарелку пышущих жаром, почти живых дrochen, кружку кофе с томленным молоком, немалую булочку с корицей.

— Поешь, Паша,— как ни в чем не бывало предлагает мне мама.

— Не хочу,— отказываюсь я, а сам, не глядя на маму, не выпуская топора, беру одну дrochenу, другую, третью, легко глотаю, запиваю их из кружки кофе.

— Положи топор, Паша, не бойся, Корнилий его не возьмет... Ты и так расколол все дрова, все старинные железные пни... Присядь, Паша, ешь, как человек, двумя руками.

Опускаю топор, потому что неколотых дров не осталось, и наслаждаюсь дrochenами, смакую кофе с молоком и цикорием и ем двумя руками булочку с корицей. Рядом моя мама. Она светло и спокойно улыбается, как человек, уверенный не только в завтрашнем, но и послезавтрашнем дне.

И мне хорошо.

Мама уносит тарелку и кружку.

Я складываю из дров стройную поленницу. Дрова сухие и звонкие. Дрова почти поют. И я радуюсь, что дрова почти поют.

Солнце проникает в щели сарая. За щелями зеленеет сад. Когда-то в сарае в летнюю жару ночевала бабушка. Она возвращалась сюда после хождений по городу, из гостей, как она говорила. Садилась на скрипучий топчан и сортировала собранные в «гостях» съедобные куски и другие подарки.

Я навещал бабушку в шуршащей полутьме сарая. Пахло березовыми и осиновыми дровами, старой смолой, сухими травами и полевыми цветами. Бабушка потчевала меня, рассказывала о деревне, откуда приехала в Новоселенск с дедом («Царство ему небесное») и с моей мамой, рассказывала о лесах, где зреют ягоды, грибы, орехи, где живут белки и птицы, о княгине, у которой бабушка служила в няньках. И в ее певучей речи и лес, и солнце, и летающие огненные белки, и грибы, и княгиня, и безбородый, худой, как лоза, кучер Евстигней, и люди, которые зовут бабушку в гости и одаривают чем бог послал, представлялись радушными, обходительными, сердечными.

Я внимал бабушке, поедал вкусные куски и наблюдал лунные и звездные лучи в щелях сарая.

О чем сейчас думает Оля? Между нами все еще только прошлое.

Отслужив в армии, я сменил не одну специальность. Не так-то просто после полутора десятков лет службы с уставной на все пуговицы дисциплиной («Разрешите обратиться», «Разрешите идти», «Слушаюсь») войти в вольный мир пиджаков, отложных воротничков, шляп, кепок, улыбок, выбрать дело по душе.

Армию я любил. Я и сейчас люблю армию. И чего кривить душой: случается, глухо тоскую по стройному, размеренному, отточенному распорядку, по заведомой субординации, по спокойной уверенности в сегодняшнем, завтрашнем, всегдашнем. И бывают мне

в снах армейские дни: и те трудные дни сорок первого, сорок второго года, и более поздние, нацеленные на запад по флажку регулировщицы с балетной фигуркой, словно облитой серой шинелькой. Снится и наш редактор полковник Голубчик, знаток уставов, инструкций, строевых песен, душевный человек малого роста.

Райвоенкомат, гражданские учреждения предлагали мне тысячу должностей. Всюду меня ждали. В редакциях газет: от заводской до центральной. В метрополитене. На наземных железных дорогах. В аэропортах. На заводах Магадана и Калининграда. Я имел право преподавать в любой школе военное дело. Я на все имел право.

А выбрал? Нет, выбрал я не сразу. Не собираюсь врать, и прежде всего Оле Цветковой, что я с ходу выбрал дело.

Единственное, чего я не попробовал в первые штатские месяцы, была работа в газете. Умом я понимал важность печатного слова. Еще неизвестно, что было на фронте трудней: идти в атаку со штыком и гранатой, с автоматом и пистолетом ТТ или с тем же снаряжением плюс блокнот, огрызок карандаша и задание полковника Голубчика: в числе первых ворваться в населенный пункт и в кратчайший срок добыть и доставить в редакцию информацию, статью, очерк, заметку героя-воина, а не худо и солдатские стихи.

А где редакция? Куда швырнул ее наступательный порыв? Я все понимал. Но я стосковался по работе, в результате которой люди получают живые, осязаемые, зримые вещи.

Работал токарем. Слесарил. Монтировал электричество. Чинил жэковский водопровод.

Жена выражала недовольство: «Даже в армии, в походах белье на тебе не так грязнилось». В военные годы жена служила врачом в армейском госпитале.

Потом я понял: мое место на стройке. Да, мое место было на стройке. Желание строить возникло во мне, вернее всего, в январские морозы, когда, выбеленный инеем, в задубелых валенках, я шагал по обугленным, развороченным городам и селам родной Брянщины. Может быть, в самом Брянске, в Унече,

в Клинцах, в Новозыбкове или в Гомеле. Все пепелища похожи, так же как схожи трупы, скрюченные тридцатиградусным морозом.

Я обязан был строить. И строить не заводы, электростанции, элеваторы, клубы, нет — дома, жилища, детские сады, скорее и больше, теплое жилье людям, выброшенным войной на улицу.

Об этом я мог и хотел рассказать Оле.

Прораб — мое сегодня. А ее настоящее?

Мы выпили весь чай из белого с золотыми цветочками чайника.

— Помнишь Семена Резника? Сеню, — говорит Оля. — Он погиб... А Тараса Пенкина?

— Еще бы! Тарас Пенкин... розовощекий толстяк.

— Пенкин жив-здоров — кинооператор.

— Он и тогда любил фотографировать... А Иван Белозеров? — спрашиваю я.

— Иван — человек особенный, с большой буквы, — говорит Оля. — Я люблю и уважаю Ивана. Иван — верный человек... Иван — верный человек, — повторяет Оля. — Верный... Если хочешь знать: Иван — творец. Надеюсь, ты не забыл, как он слесарил? Иван — творец... Не смейся... Ты собираешься навестить завод? — сердито спрашивает Оля. — Можешь прийти и вот так, в нейлоновой сорочке, в галстуке. Ты увидишь Ивана в цехе, на рабочем месте. Иван Белозеров — слесарь-разметчик... Или ты... не придешь?

Оля краснеет от негодования.

И я, наверное, краснею. Мне неприятно ее слушать. Как могла она подумать, что я забыл Ивана Белозерова! А с другой стороны: сорок лет... Прячу в колени свои руки, а то еще Оля Цветкова решит: я нарочно выставляю свои лапищи, свои шершавые ладони, особенно левую руку: на ней недостает пальца, не полностью, двух фаланг. Нет, фаланги отхвачены не пулей, не осколком — морозом. И не такой уж лютый мороз был: градусов тридцать пять по Цельсию, не больше. Да и палец-то несущественный — мизинец.

Ладони за последние годы раздались вширь, буд-

то расклепались. От кирпичей, что ли? Теперь я правда, не кладу кирпичи, не действую кельмой, не монтирую панели. Я — прораб. Однако руки могут меня выдать. И я прячу их между колен, в точности, как это делал Калина Дубовицкий и в школьные годы, и сегодня.

Вместо того чтобы вознегодовать, негромко говорю:

— Как же я могу не прийти на завод? Подумай, что ты говоришь, Оля? Обязательно приду.

И мне хорошо, что я в силах так спокойно, рассудительно ответить. Не зря я — прораб. Приходится разговаривать с разнохарактерными людьми: со строптивыми мастерами, с выпивохами, знающими себе цену, с гонористыми мальчишками, у которых, кроме длинных волос и модных штанов, вроде бы с первого взгляда и нет ничего за душой... А если постараться, заглянуть в корень... Деятельность прораба немало похожа на труд политрука.

— Отлично, — говорит Оля, — на заводе повидаешь Ивана. И не только Ивана.

Почему я волнуюсь?.. Спустя столько лет волнуясь, как вечером того дня, когда, переколов весь наш запас березовых, сосновых, дубовых дров, я поел тушеной с мясом картошки и, обласканный взглядом молчаливой и смущенной мамы, в свежевыстиранной, отглаженной сорочке, в новых парусиновых на веревочном ходу полуботинках туалъденорового цвета, с рублем в кармане, провожаемый настороженно-любопытным Корнилием и задумчивой Фросей, повизгиванием Шалуна, предупреждением на скрипящей калитке «Во дворе злые собаки», — направился в фабричное общежитие пригласить в гости Олю Цветкову.

Ступал решительным шагом серьезного человека, который не только способен на все, но и делает все, на что способен.

Уличные соседи (и откуда они узнали?) жужжат со скамеек: «Жених... ж-ж-жених». Белые акации и белые каштаны осторожно пахнут, словно боятся вспугнуть мой восторг.

И соседи и деревья, не сомневаюсь, видели, как на восходе солнца я летел с Олей, а затем и один над городом, слышали удары колуна, мои «эхи» и «ухи»,

что неслись из сарая в завистливую тишину соседних дворов.

Попутно я вдыхал душистую свежесть июньского вечера. Премияльный рубль шелестел в моем кармане, как отдаленный плеск духового оркестра.

Оля ждет меня. Всё празднично. Дома украсились зеленою лип, кленов, ясеней. Переполненные светом окна отдают излишки лучей деревьям, птицам, телеграфным столбам. Словно отполированный солнечными лучами тротуар охотно, даже игриво подставляет моим новым туалетным туфлям на веревочной подошве свои изящные цементные ромбы.

А базарная площадь?

Запахи воблы и керосина, конопляной макухи и дегтя, конского навоза, открытые небу и земле и запертые на сто лавочных замков, слились с запахами сирени, садов, квакающего пруда в общий аромат предзакатного часа.

Заходящее солнце увенчало цинковую крышу колоннады торговых рядов алыми, золотыми, фиолетовыми звездами.

Притихший после дневных торговых хлопот базар заполнился цветами. Я купил на весь рубль растений. Целый цветник. Понес цветы двумя руками перед собой, как радужное знамя. И никто не мог увидеть мое багровое от счастливого стыда лицо, тревожный блеск глаз. Крылья трепетали за моими плечами, готовые в любую минуту распахнуться на встречу солнцу.

Почему-то вспомнил маму. Она стояла спиной к зеркалу. Ее лицо было на уровне папиного лица. Зеркало повторяло густые мамины волосы, туго собранные на затылке в пучок, пронзенный железными шпильками. Мама протянула мне рубль:

— Купи, чего хочешь. — И согнала пальцем пушинку с черных штанов, перешитых на мой рост из отцовского свадебного костюма.

В комнате было чисто, как в утро первого снега. И скатерть лежала на столе, похрустывая на сгибах. Фросья вплела в косу отглаженную ленту под цвет своих глаз. Корнилий возвышался, подобно новогодней елке, посреди комнаты, и его вымытые шея, нос и волосы сверкали.

Я шел из комнаты и спиной видел мамины мокрые глаза, Фросю, Корнилия и зеркало. Молча кричал маме, что люблю ее сильнее всех на свете и всегда буду любить.

Я спешил. Поднятый букет, подобно зонтику, закрывал и влек меня.

Мимо прошагали Миша Горшенин, Иван Белозеров со своей девушкой Леной, Калина Дубовицкий Тарас Пенкин. И еще кто-то. Они не узнали меня. Или не увидели за цветами. Или попросту не обратили внимания. Им и в голову не могло взбрести, что Пашка Вагин прется через весь город с цветником в руках. Черт знает, что случилось бы, если б они догадались.

Они шли из общежития в городской сад.

Нам было не по пути.

Может быть, потом, позднее, намного позднее я приду в сад с Олей Цветковой, после того как мама увидит Олю; и наше зеркало, что устроилось на стене рядом с папиным портретом, повторит нас всех вместе с Олей Цветковой, с чаем, который мы будем пить с булочками, и клубничным вареньем на крахмальной скатерти.

После этого, может быть, мы с Олей пойдем в городской сад.

Общежитие сразу открыло мне все свои пять этажей.

Стальные ступени лестницы звенели, как пожарный колокол на городской башне.

Рванул дверь. И увидел Зину Травкину. Она плевала на пальцы и мокрыми пальцами заставляла брови вытягиваться в каштановые ниточки.

Заметив меня, Зина выпустила из пальцев каштановые ниточки, и они взвились на лоб. Зина захохотала искусственным смехом:

— Жених... ха-ха!

— Где Оля? — тихо спросил я, выглядывая из-за букета.

Зина перестала смеяться. Она переложила круглое зеркальце со стола на свою кровать.

— Где Оля Цветкова? — спросил я громче и опустил букет.

— Оля? Цветкова? Разве ты не знаешь? Она тебе не сказала? Цветкова уехала в Медынь. В отпуск. Сегодня у выпускников начинается отпуск. Разве ты не знаешь? Разве ты не знаешь? — повторила Зина Травкина. — Она уехала час назад. Ее провожали Калина Дубовицкий, Иван Белозеров, Лена... Разве она тебе не сказала? И Степа Котенков поехал с Олей, Степа Котенков из Медыни... Я и то удивилась, что тебя нет... Еще и Миша Горшенин провожал.

Я знал, что Степа Котенков, белый, словно голубь, парень, родом, как и Оля, из Медыни. И мне было наплевать на белого, как голубь, Степу Котенкова и на его Медынь.

Я засмеялся. Зина вторила мне.

Мы хорошо, хотя и недолго, смеялись. Вдруг я увидел в своих руках букет. До того как обнаружить букет, я еще подумал, что это мне мешает, сковывает движения, не дает еще лучше смеяться? А это оказался букет.

— Ты любишь цветы, Травкина?

— А кто не любит цветы?

— Тогда, пожалуйста.

— Тебе не жалко, Паша?

— Ты что? Я рад подарить тебе цветы в такой день... в такой вечер, — поправился я. — Пойдем в городской сад, Травкина, — предложил я. — И букет возьмем.

— Спасибо... Ты понимаешь... — смутилась Зина. — Меня ждет Сеня Резник. Если бы меня не ждал Сеня Резник... Приди ты на час раньше, успел бы и Олю проводить, и мы пошли бы с тобой в городской сад. Оля неожиданно собралась. Еще вчера, сегодня утром она ничего не говорила об отъезде.

— Извини, пожалуйста, — сказал я. — Счастливого погулять. Привет Резнику.

— Спасибо, — ответила Зина Травкина.

Прошло сорок лет, ну тридцать девять, прежде чем я снова увидел Олю Цветкову.

Вот так. Ничего особенного.

И все это болтовня, вранье, что я не думал об Оле. Думал. Рыжее солнце светило мне и на Урале, и в декабре 1941 года под Москвой. И в другое время. Наверное, поэтому я и волнуюсь.

— Мне пора,— говорит Оля.— Хорошо бы собраться всем вместе.

Она подходит к зеркалу, поправляет волосы, пудрит нос, подбородок, красит губы. Нет, губы Оля не красит. Кажется, не красит. Или едва касается бесцветной помадой. Я отвернулся от зеркала: пусть Оле будет свободней.

Что-то тяжело зашуршало и будто вспыхнуло. Рыжие волосы в зеленых бликах от настольной лампы, словно в хвойном цвете, рассыпались по Олиной спине. Оля резко повернулась:

— Надо же, шпильки выскочили, все сразу.

Потянулся включить верхний свет.

— Не надо,— попросила Оля.— Уже нашла.

Чуть позднее зажег свет и увидел в Олиных волосах немало седых. Лет сорок да и тридцать назад сказал бы: серебряных, серебряных нитей в золоте. Сегодня говорю простое и серьезное слово: седых.

Помог Оле надеть пальто. Оделся сам.

— И одна дойду. Ты небось устал за день. Мы не так молоды, чтобы за полночь ложиться спать. Мигом дойду: дом сразу за собором, на Красной улице.

— За площадью, за городским садом. Знаю, знаю.

Оля не сказала: «Ты не так молод», а — «Мы не так молоды». Впрочем, слово «молоды» имело к нам весьма отдаленное отношение.

— Погуляем по Красной улице. При луне.

— И ты ведь жил тогда на Красной улице. Хорошо помню дом, хотя и ни разу в нем не была.. Боялась.— Голос Оли стал мягче, теплей. Мне даже слышалась грусть в ее голосе.— На калитке висело предупреждение: «Во дворе злые собаки».

Вспомнил добрейших псов: Соловья и Шалуна. Добрейших ко мне. В то время как-то не думал, что надпись на калитке относится именно к Соловью и к Шалуну.

И сейчас я ничего не сказал.

На крыльце гостиницы луна окатила нас светом. Иссиня-белый пруд лежал в вертикальном овале сквозных пирамидальных тополей. В голом свете роились искринки. Их блеск фейерверкно вибрировал.

Шли медленно. Давно не ходили рядом. Мы были в долгу перед тем июньским утром. Кто из нас в большем долгу, не знаю. Я брал на себя львиную долю долга. Медынь недалеко. И мама, не сомневаюсь, дала бы мне денег доехать до Медыни. Если бы я попросил.

Едва ступаем. Потому, что я прихрамываю и Оля уже знает, что я прихрамываю. И жалеет меня. Чепуха: я не спешил бы, будь совершенно здоров.

Дымы висят над крышами, как голубые грибы.

Перешли мост через Карну. Началась Красная улица. Впереди — площадь. Над площадью очерченный синим с прожелтью светом соборный крест.

— Морозно, — говорит Оля. — Почему-то у меня больше стынет левая рука.

Сорвал перчатку и обнял Олину левую руку своей лапищей. Может быть, чересчур поспешно обнял.

— Сразу согрелась, — серьезно сказала Оля.

Поравнялись с домом номер тридцать, в котором я когда-то жил.

— Теперь погрей правую.

Оля ждет, пока я сниму перчатку, возьму ее правую руку. Или она нарочно остановилась у дома номер тридцать, или решила, что для меня важно здесь помедлить, или ей захотелось, чтобы мы вдвоем здесь постояли.

Не знаю.

Идем одни, впереди своих коротких теней. Снег посвистывает под ногами. Впереди и рядом деревья нарядные, в свежем инее.

Так получилось, что, придя на площадь, свернули на стадион. Футбольное поле, превращенное в коток, льдисто отсвечивает. Сухо белеют следы коньков.

Мы вбежали на лед. Оля протянула мне руку. Теперь мы скользим вместе, почти танцуем. Без музыки. Просто так. Мраморно поблескивают липы соседнего сада. В ледяном зеркале, среди молниеобразных

коньковых следов смутно вращается наше отражение.

Увидел на близком Олином виске рядом с завитками каракуля заиндевелую рыжую прядку. Наме-рился как бы невзначай поцеловать ее. Оля повернулась, и я ткнулся холодными губами в ее нос. Она выскользнула из моих рук, хохотнула. И я неловко смеюсь. И сердце забилося. Нет, не кольнуло, хотя могло и кольнуть. Сердце забилося, и я хохочу. Уже всерьез. Мне смешно: двое пожилых — он и она — кружатся под сказочной луной, неподалеку от нарядных, словно праздничные колонны Дома союзов, лип и кленов, на отшлифованном лунным светом льду. А теперь он хрипло дышит и прячет хрипоту в смехе. Ему, оказывается, стыдно быть старым. И ее не так-то просто кружить даже этим громадным, привычным ко всякому делу рукам слесаря, солдата, каменщика.

— Ромео! — произносит Оля, и улыбка сменяет смех, улыбка, похожая на тень смеха.

— Джульетта! — радостно хриплю я. Совсем забыл, что мне не следует говорить на морозе. Нельзя говорить на морозе. — Джульетта, тебе уже стукнуло восемнадцать?

— И ничто не помешало бы нам пожениться, не отрави ты меня, Ромео.

— И себя тоже, — хриплю я. Дает себя знать декабрьский подмосковный мороз тысяча девятьсот сорок первого года. Смех неловко спотыкается на льду, сбивает иней со старых лип и кленов городского сада, которые наверняка помнят мелодию впервые услышанного мною здесь в детстве «Интернационала».

У выхода со стадиона я целую Олю в щеку.

— А вот и мой дом, — сказала Оля минут пять спустя.

Я потоптался у крыльца, словно слепая лошадь. Предложил:

— Пройдемся еще немного.

Нелегко было двигаться в безразличном свете луны. И говорить было трудно.

Все же я спросил:

— Почему ты уехала... в то июньское утро?

— Не утром, а под вечер... я уехала под вечер... под вечер. Ждала тебя весь день. А что ты делал? Что делал ты?! — зло крикнула Оля.

— Я?.. Что делал я?

— Ты колол дрова на зиму... Степа Котенков передал мою записку твоему брату, Корнилию. Степа не испугался письменного предупреждения на калитке: «Во дворе злые собаки»... А ты продолжал колоть дрова. Я еще раз послала Степу. Он сказал, что сам видел, как ты колешь дрова... А твой младший брат Корнилий радовался чему-то. Я убежала от твоего дома. Лаяли злые собаки. И Корнилий смеялся. Степа Котенков еле догнал меня.

Карновское солнце всеми своими сосновыми иглами ударяет в мою седую голову.

Протягиваю Оле руку, говорю:

— Погуляем завтра по знакомым местам?

— Погуляем, — говорит Оля и идет к своему дому.

Вдруг я слышу ее голос:

— Я тебе написала из Медыни. Почему ты не ответил? Невежливо не отвечать на письма.

Письма из Медыни я не получил. И я молчу.

— Завтра приду к тебе с мужем. Ты знаешь моего мужа: Степан Игнатович Котенков... И мы погуляем по знакомым местам.

Степу Котенкова, белого, как голубь, слесаря из нашей группы, я помню. Не знал лишь, что отчество Степана Котенкова — Игнатович.

2

В гостиницу возвращался другой дорогой. Лунный свет прижал тюрьму к снегу, растворил ее белую ограниченность. В детстве проходил у безмолвных стен с торопливым отворачиванием, затаив дыхание, как проходят мимо отхожего места. Впоследствии я привык к тюрьме и перестал ее замечать. Сейчас в лунном свете она казалась не то усыпальницей восточного деспота, не то дворцом из сказки.

Встреча с Олей растормошила мою память. Я ста-

рался восстановить дни, начисто забытые и молниеносно озаренные Олиными словами о записке, о Степе Котенкове, о неожиданном отъезде в Медынь, о моем младшем брате Корнилии. Еще, но как-то мельком, вскользь думалось об Олиной щеке, хотя, странное дело, разговаривая с живой Олей, я о шраме вообще не помнил, а теперь, возвращаясь в гостиницу, думал — не прямо и решительно, а невзначай, вскользь, как вскользь касаешься взглядом облачка над морем: главное — море и небо, они охватывают и занимают твоё зрение, а облачко случайно и необязательно любопытству.

И в те, давние годы я уже понимал важность и нужность денег, видя, как трудно маме растить таких жадных до еды, здоровенных ребят. Имею в виду себя и Корнилию. Фрося особь статья. Стипендия, одежда и обувь, получаемые мною в фабзавуче, очень мало значили в семейном бюджете. Мать купила мне по случаю почти новое пальто, а Корнилий таскал казенную куртку на вате с темно-серым бушмазейным верхом, ушанку на рыбьем меху. Корнилию не по душе были фабзайская куртка и ушанка, и мой младший брат до декабрьских морозов закалялся в пиджачишке, без шапки, простужался и неделю, а то и поболее утопал в ругани и нежных заботах мамы, пил до седьмого пота чай с малиновым вареньем, молоко с медом, спал сколько хотел и слушал, как Фрося решала вслух задачи и заучивала стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Буря мглою небо кроет».

Поправившись, Корнилий надевал темно-серую ватную кацавейку, ушанку и с видом человека, которому уже все равно, отправлялся в школу.

Фрося была скромной до застенчивости и так любила маму, меня и Корнилию, что её любовь попросту не замечали, как не замечают хлеба, пока он в достатке. Фрося штопала свои платья, чулки, даже ленты, при первой возможности ходила босиком, избавляла маму по мере своих сил от забот по дому.

И все же приходил день, и мама, лучшая лицовщица Новоселенска, замечала: платье на её единственной дочери походит на лоскутное одеяло. А Фрося вместо того, чтобы переживать, смело называла

свое платье «Цыганкой». И, так уж устроен мир, подруги завидовали Фросе.

Я отказался от заслуженного тремя годами обучения отпуска и на другой день после внезапного отъезда Оли Цветковой в Медынь пошел работать в съемальный цех фабрики к Акиму Тихоновичу Щербакову, моему учителю по практике. В цехе меня приветливо встретили и сам Аким Тихонович, и работницы, которым я с искренней готовностью помогал надевать ремни на трансмиссионный вал, регулировать подачу спичек, по первому зову заменял отработавшие болтики и гайки.

И Сеня Резник и Ваня Белозеров не захотели пойти в отпуск: Белозеров пришел в цех в один день со мной, а Резник — три дня спустя.

В съемальном Иван работал недолго, его перевели в инструментальный цех. Смешно было бы держать Белозерова на случайном ремонте полуавтоматов, нарезке болтиков и гаек.

Аким Тихонович сам обо всем договорился и однажды сказал:

— Собирай вещички, Белозеров, и марш в инструментальный. Не место тебе у нас.

Аким Тихонович говорил сердито: Щербаков жалел, что Иван уходит из съемального. Иван работал быстро и точно, так быстро и точно, что казалось, любому под силу работать, как Иван. Щербаков понимал, что значит такая легкость.

Кроме того, Иван вовсе не замечал откровенных улыбок и заигрывания молодых работниц.

Я-то знал: Иван верен Лене Самокатовой и только с ней гуляет в городском саду, и по вечерним улицам, и в лесу, где рисует Лену у ручья и у берез.

Аким Тихонович Лену Самокатову в глаза не видел, и его радовала серьезная верность Ивана рабочему делу. Но оставлять Белозерова в съемальном цехе Аким Тихоновичу не позволяла совесть мастера и коммуниста. Он, правда, пробовал увлечь Ивана еще в месяцы ученья своей мечтой об автомате, который все сумеет, и более близким планом — создания станка для наклейки этикеток на спичечные коробки. Безупречно и быстро выполняя задания учителя, Иван никак не загорался его замыслами.

Белозеров производил из стали все, что диктовал чертеж. И если чертеж, случалось, был неточен или его линии следовало в металле улучшить, Белозеров не стеснялся доказать это мастеру.

В инструментальный цех Иван ушел с радостью: там и выше заработок, что само по себе важно, интереснее и сложнее дело и открывается возможность стать слесарем-лекальщиком. На всей фабрике лекальщиков раз-два и обчелся. Само звание «лекальщик» произносилось мастерами уважительно, как в наши дни, к примеру, произносят: «космонавт».

А мы с Семеном Резником продолжали нести службу слесарей-наладчиков съемальных полуавтоматов, без которых человечеству в короткий срок грозила опасность остаться без спичек.

Аким Тихонович щедро вводил нас в курс своих изобретательских замыслов. Не личный интерес, не тщеславие, а благо всей фабрики, стремление освободить работниц от вредных операций руководили мастером.

После гудка Сеня Резник отправлялся в клеильное отделение к Зине Травкиной, а я — домой. Умылся, надевал свежую рубашку, отглаженные брюки, свои знаменитые туалъденорового цвета парусиновые туфли на веревочном ходу и спешил в редакцию газеты «Ударник», где у меня были постоянные внештатные обязанности и свой стол.

Старый журналист Лев Максимович Карасик вводил меня в сложную газетную жизнь. Он учил:

— Лишнее слово, как пятая нога у собаки, — смешно, а? Некрасиво и мешает. Не увлекайся. Колонка вмещает сто строк, и сто первую, как бы она ни была гениальна, приходится сокращать.

Карасик постоянно курил. Было непонятно, как столько крепкого дыма помещается в небольшом теле Льва Максимовича. Правда, он был желтолиц: никотин делал свое дело. Я удивлялся, каким образом Карасик, наполненный таким обилием дыма, не улетал за облака. Больше того, он был накрепко, всеми своими деловыми интересами привязан к земле: Карасик заведовал сельскохозяйственным отделом «Ударника». Впрочем, ввиду отсутствия заведующего промышленным отделом обязанности послед-

него по совместительству исполнял все тот же Лев Максимович.

Вдыхая очередную порцию махорочного дыма, Карасик как-то сказал:

— Я уважаю тебя, Павел, еще и за то, что ты продолжаешь слесарить и не рвешься менять фабрику на редакцию.

За полчаса до этого разговора высокий круглолицый человек в роговых очках, который подписывал каждый номер «Ударника», предложил мне штатную должность литсотрудника промышленного отдела.

— Вы способный парень, — похвалил меня круглолицый. — Я убежден, не пройдет и полугода, ну пяти месяцев, и я смогу вас назначить заведующим отделом.

— Успеешь, Павел, — сказал Лев Максимович. — И я не сразу сел за этот стол. — И он хлопнул ладонью по зеленому, в чернильных пятнах и в островках махорочного пепла сукну столешницы.

Стол Карасика был просторен, как поле, и зеленое сукно еще более подтверждало это сравнение.

Работая, Лев Максимович как бы срастался со своим столом, уподобляясь газетному кентавру.

Прежде чем прославиться на газетном поприще, Карасик зарекомендовал себя с лучшей стороны в должностях парикмахерского мальчика, ученика сапожника, курьера уездного исполнительного комитета. Исполняя обязанности курьера, Лев Максимович научился читать, писать, в том числе мелкие заметки в губернскую газету. Курьер уисполкома владел самой свежей информацией. Через его руки проходили решения, распоряжения, постановления местной власти; курьер был вхож во все организации, учреждения, предприятия.

Я познакомился с Львом Максимовичем в зените его славы: он заведовал сельскохозяйственным отделом новоселенской газеты «Ударник» и по совместительству — промышленным отделом этой же газеты, писал передовицы, очерки, проблемные подвалы, курил злую махорку, знал тысячу анекдотов, массу стихов и многое другое.

То жаркое лето было столь богато событиями, что наша малогабаритная газета не могла их полностью отразить. И, хотя немало корреспонденций набирали петитом, полосы не могли вместить даже всех кратких тассовских информации о строительстве новых заводов, электростанций, рудников, шахт на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, сообщений о ходе коллективизации, создании МТС, ликвидации кулачества как класса.

Именно в те дни редакционный курьер Гриня начал сочинять стихи. Он сочинял их стремительно. Вскоре весь город знал, что Гриня — поэт.

— Я придумал стихи! — орал он. — Огонь сердца! Каждая строка любит и ненавидит! — Гриня извлекал из кожаной сумки, в которой таскал по учреждениям письма для расследования и принятия мер, рулончик газетного срыва, с треском разворачивал его и выкрикивал на всю редакцию призывы ехать немедленно на Урал и в Сибирь возводить заводы и повсеместно как можно скорей ликвидировать кулаков, соединить всех землепашцев в один колхоз и вспахать земной шар электрическими тракторами.

Машинистка Тоня вне очереди печатала Гринины стихи в четырех экземплярах: первый он посылал в «Правду», второй — в областную газету «Рабочий путь», третий — в «Комсомолку», четвертый вручал Льву Максимовичу Карасику.

Лев Максимович приближал слепой текст к правому, лучше видящему глазу, брал ручку, неистово брызгал чернилами, подчеркивая ошибки, и ласковым голосом объяснял Грине недостатки его стихов, нажимая на слабость рифм и хромоту размера.

Рослый, лохматый Гриня, сердито вращая зрачками, орал:

— Суть не в рифме, не в размере, суть — в идее! Стихи обязаны зажигать сердца и вести вперед!

Слушайте,
товарищи потомки,
Агитатора,
горлана,
главаря!

Лев Максимович уговаривал Гриню тихо и сердечно: Карасик любил Грину как свою курьерскую юность.

— Если все уедут на Урал, на Дальний Восток, в Сибирь, кто выполнит пятилетку в Новоселенске, в районе, в колхозах? — спрашивал Лев Максимович.

— Ладно! — орал Гриня, темнея зрачками, и бежал в кабинет ответственного редактора.

Оттуда он выскакивал багровый, размахивая четвертым экземпляром. За Гриней в дверях появлялся высокий круглолицый редактор и, сокрушенно протирая носовым платком очки, говорил вслед Грине:

— У вас африканский темперамент, Григорий Лаврентьевич. Ваш пыл в состоянии растопить льды Антарктиды. Но, голубчик, вам не хватает культуры, грамотности, элементарного знания правил стихосложения. Работайте. Вы умеете работать. Со временем все придет.

Лохматый Гриня обжигал литсотрудников взглядами, торопливо улыбался машинистке Тоне и бежал в милицию, в прокуратуру, в райпотребсоюз, во Вторсырье с письмами для расследования и принятия мер.

Однажды, вскоре после убийства селькора Василия Шавлюгина, Гриня сказал мне:

— Паша, я уезжаю в Челябинск. Там строят тракторный гигант, каких не знало человечество. Я не имею права такими огромными руками таскать анонимные письма и писать бесполезные «Ударнику» стихи. Я уезжаю на Урал. Буду строить гигант пятилетки. И мы еще посмотрим, кто прав, я или этот очкарик. Это ж надо: он зовет меня на «вы», как на судебном заседании. Разве это не обидно?

— Культура, — сказал я неуверенно.

— Он и к двухлетнему Пете нашей уборщицы обращается на «вы».

— Он так воспитан... Ты и Льву Максимовичу не веришь?

— Максимычу верю. Но он не ответственный редактор. И Карасик может ошибиться.

— Один ты безошибочный,— ехидно сказал я и, поерзав, плотнее уселся на стуле за своим внештатным столом.

Гриня не обратил внимания на мое ехидство, Гриня выше мелких обид. Он — весь в будущем.

— Паша,— произнес он задушевным голосом и сунул растопыренные пальцы в шевелюру.— И ты пишешь стихи.

— Я все пишу,— сказал я,— все, что требует газета.

— Твои стихи лучше моих... Не спорь,— продолжал Гриня.— Твои стихи короткие.

— Я могу писать и длинные. Но газета есть газета. В каждой колонке — сто строк. А тем? Вопросов? Задач? Тысячи!

— Дурак,— заметил Гриня.— Разве я об этом? Ты пишешь для бумаги или для людей? Ты веришь в то, что пишешь? Или ты таскаешь свой комсомольский билет зазря?

— Я верю в то, что пишу,— строго сказал я.

— Раз такое дело, на кой ляд ты сидишь за этим столом, зачем размахиваешь гаечным ключом перед девушками из съемального цеха, а не едешь со мной на Урал?

Что мог я ответить Грине? Рассказать о маме? И у Грини есть мама. О младшем брате Корнилии? О застенчивой Фросе?

Я всерьез помогал семье. Мама радовалась моим успехам. Радовалась отъезду Оли з Медынь. Вырезала из «Ударника» мои стихи и заметки. Верила в дальнейшее счастье. Я не имел права обмануть мамину надежды. Или имел?

Писал стихи о стройках. О пятилетке в четыре года. В три года. О колхозах. О готовности отдать все силы пятилетнему плану.

А сам?

Ткнул перо в чернильницу с такой силой, что фиолетовый фонтан подскочил на метр, залил полстола, а перо, хорошее перо номер 86, сломалось.

— Мой поезд через полчаса! — крикнул Гриня, рванул из юнштурмовки свой комсомольский билет, из него выпал коричневый прямоугольничек. — Вот, — и Гриня протянул мне железнодорожный билет. —

Приеду в Челябинск, напишу, что и как. Я все-таки верю, что ты не врешь в стихах и в прозе. Я буду тебя ждать.— Он рывком схватил мою руку, сдвинул и выбежал из редакции.

Иван склонился к резцу токарного станка, изредка замерял деталь штангенциркулем.

Все в Иване ладно: широко развернутые плечи, густые вьющиеся волосы с золотым блеском. Вру: никогда я не видел золотых волос и повторял книжные слова, не задумываясь иной раз над их соответствием жизни. Так легче и проще: скользишь, словно по накатанной лыжне.

Волосы Ивана скорее были цвета спелой соломы.

Меня Иван не замечал. В такие минуты он ни на что постороннее не отвлекался, наверняка чувствуя, как стремительной отточенной силой резец преображал поковку в изящную, соразмерных пропорций деталь.

Такую властную сосредоточенность наблюдал я у Ивана, когда он регулировал ведущий узел полуавтомата и даже когда крюком на длинном шесте накидывал передаточный ремень на трансмиссионный вал. И с новым чертежом мой товарищ знакомился, отключаясь от всего постороннего, уже видя, вероятно, мысленно, как линии на кальке выразятся в металле.

А мне важно потолковать с Иваном именно сейчас, сразу после отъезда Грини.

Оторвать Ивана от станка я, однако, не решился и пошел в ремонтно-механический, к Калине Дубовицкому.

В ремонтно-механическом шумней и суетливей, нежели в инструментальном. Калина и еще два слесаря собирали токарный станок. Они спешили закончить до конца смены. Калина поспешно кивнул мне:

— Если не очень серьезно, не взыщи... Поговорим в другой раз. Можешь написать, если хочешь: комсомольская бригада Игоря Морозова перекрыла на два дня свое обязательство по ремонту токарного станка.

На всякий случай записал, кто кроме самого Игоря Морозова и Калины в бригаде.

И опять разговор не состоялся.

Выходя из ремонтно-механического, увидел на широкой, двустворчатой, как ворота, двери плакат: «Магнитострой, Челябинский тракторный, Комсомольск-на-Амуре ждут тебя, товарищ!» И рядом: «Пятилетку в четыре года!»

Совсем недавно мы бегали по фабричному двору с Олей Цветковой во время практики. Между прочим, Оля проходила практику в ремонтно-механическом.

За дверью я столкнулся с мастером цеха. Он часто встречал меня с Олей. Мастер протянул мне руку, спросил:

— Где Цветкова? Она позарез нужна.

— В отпуску, где же еще ей быть. Вы что, не в курсе? После фабзавуча положен отпуск. Цветкова отдыхает в Медыни. Она родом из Медыни. У нее там мама, папа, брат, сест...

— Это мне известно,— перебил мастер.— Калина Дубовицкий вышел на работу, и ты вышел. Вам — не отпуск?

— Мы — другое дело... А Ольга Цветкова уехала в Медынь. И Степан Котенков уехал. Вы знакомы с Котенковым?

Мастер не был знаком с Котенковым.

— Лады,— сказал мастер,— поговорили. А что новенького в «Ударнике»? Нет ли сенсаций в масштабе планеты?

Я помахал мастеру рукой и побежал в редакцию. У меня и там оставались кое-какие дела. Еще успею дать в номер заметку о бригаде Игоря Морозова. Кроме того, я хотел узнать, что думает Лев Максимович Карасик по поводу отъезда Грини в Челябинск.

Мы выпустили специальный номер «Ударника» посвященный комсомольцам, уезжающим на Восток. Я написал стихотворение «Я еду на Урал». Стихи поместили на первой полосе, под портретами уезжающих.

Мама осунулась, потемнела лицом. Она напекла мне коржиков в дорогу: после такого стихотворения я не имел права оставаться в Новоселенске. Меня дразнили бы на улицах мальчишки, и на фабрике не давали бы проходу.

Я сжег за собой корабли.

Мама все понимала. И Фрося понимала. И мой младший брат Корнилий все понимал. Он радовался моему отъезду, словно сам уезжал. Может статься, Корнилий гордился мной, хотя о своей гордости не говорил никому. Он стал вежливым и тихим и не таскал картофельные дроблены из моей тарелки.

Корнилий собирался осенью в фабзавуч, чтобы впоследствии, когда закончит учение, отправиться на Дальний Восток, к Великому, или Тихому, океану строить многопалубные пароходы.

Маме уже было все равно.

— Вам что,— говорила мне мама,— вы готовы уехать на край света. А мать? Куда деваться матери? Если бы ты у меня был один, Паша, я поехала б с тобой. Портниха всюду нужна... Но на кого я оставляю Фросю? Этого шалопая Корнилия? А вдруг и они захотят уехать? Весь Новоселенск как вокзал... Все куда-то едут. Разве я могу разорваться на три части?

Разговаривать с мамой мне был недосуг. То и дело я бегал в райком комсомола. Писал стихи в «Ударник». Выслушивал советы Акима Тихоновича. «Зря ты едешь,— говорил мой учитель.— Токмо к делу прирос... А там? Все сызнава начинай?.. Ежели не покажется, мало ли, приезжай, простим».

Я обошел все съемальные полуавтоматы, попрощался с работницами, обещал писать. Оказывается, меня любили, не хотели отпускать и вместе с тем гордились, что я уезжаю в неведомые края строить социализм, что мои стихи не расходятся с делом.

И мой напарник Семен Резник, который оставался в съемальном цехе, гордился мной.

На запасном пути уже стоял состав красных теплушек, украшенных кумачовыми призывами, пахучей хвоей.

Гуляем с Калиной Дубовицким в Карновском лесу. Уже не так жарко, слабее греет августовское солнце. Знакомые сосны встречают нас. И та высоченная сосна, что в июньское утро вся купалась в свете зари. Не желаю думать о том утре, а думаю.

— Поедем, Калина,—зову я друга.—Еще не поздно. Оформим в два счета.

— Мне нравится работать на нашей фабрике.

— Там передовой край пятилетки.

— Всюду пятилетка,—отвечает Калина.

— Там не хватает людей. Там трудно.

Калина молчит. Иногда нельзя возражать. Позволительно лишь молчать и стоять на своем.

Сосны зовут меня остаться. Верхушка высоченной сосны краснеет на вечернем солнце. Молодые сосенки цепляются за меня неокрепшими иглами.

— Ты будешь там на первом счету! У тебя золотые руки!

Никогда не говорил я так с Калиной. Я очень хочу, чтобы он поехал. С ним уверенней.

Калина колосапо ступает, отшвыривая носком ботинка сосновые шишки с дороги.

— Я привык здесь, зачем я стану искать лучшее.

— Не лучшее — более важное, более нужное... А если все будут рассуждать, как ты?

— Не будут,—сказал Калина.—Ты же едешь?

Идем молча, старые друзья, выяснившие все, что оставалось неясным. Случается, поглядываю сбоку на Калину, на его тяжелый квадратный подбородок, открытый лоб, длинные черные ресницы, широкие брови. От Калины исходит решительная сила. С ним было бы хорошо и на Урале, и на Дальнем Востоке.

Калина остается в Новоселенске. Он предан Новоселенску. И отцу и матери предан. И фабрике. И этому лесу.

А я не предан? Я не люблю фабрику? Акима Тихоновича? Не буду скучать по ровному шуму отрегулированных мной и Семеном Резником съемальных полуавтоматов?

Разве я не желаю лечь на эту теплую землю и лежать лицом к соснам, к птицам? Разве я не вспомню тысячу раз этот разговор с Калиной Дубовицким?

Мой чемодан собран. Мамины коржики плотно уложены в белый мешочек.

Странное дело, в лесной тишине, за несколько часов до отъезда, уговаривая Калину поехать со мной, я думал о возвращении. Просто не мог себе представить, что навсегда покидаю эти места. Как солдат, отбывающий на передовую на фронт, я мечтал о возвращении. Правда, я не обычный новобранец, а добровольный солдат. Мне уже виделась победа: завод неохватных размеров в зелени и свете, бесконечной чередой ползут из цехов на поля тракторы.

Представление о будущем продолжается: мы с Гриней возвращаемся в Новоселенск. На перроне нас встречают Калина Дубовицкий, Миша Горшенин — Маленький друг, Аким Тихонович, мой напарник Семен Резник, все работницы съемального цеха, Иван Белозеров с Леной, очкастый редактор.

И моя мама, и учительница Фрося, и строитель тихоокеанских пароходов Корнилий.

На лохматой шевелюре громадного, глазастого Грини фетровая шляпа. Я без шляпы, зато мои полуботинки зеркально сияют из-под клеши.

Еще я мечтаю, чтобы нас встретила Оля Цветкова. Я ничего не простил ей, однако буду рад, если Оля встретит.

От сосны к сосне бегут двое.

— Иван!

— Павел! — отозвался Белозеров, не отпуская руки Лены Самокатовой. — Чем тебя обидел Новоселенск?

— От обиды легко уезжать... Я еду от хорошего в неизвестное.

— Стихи, — сказал Иван.

— Моя жизнь, — сказал я.

— Так я тебя и не нарисовал, — пожалел Иван.

— Тебе сейчас не до этого.

— И тебе не до этого, а жаль.

Пожимаю Ивану руку. Вдруг он крепко обнимает меня, целует.

— Счастливо, Павел!.. Мы придем на вокзал! — Он имеет в виду себя и Лену. — Будь здоров, Калина.

Иван Белозеров и Лена Самокатова бегут к сосне, верхушка которой уже побагровела...

К вокзалу шли рабочие и работницы нашей фабрики, шли сапожники, швейники, пекари и кондитеры, наборщики, кожевники.

Состав из теплушек, обвитых кумачовыми лентами, зеленью, цветами, стоял на первом пути.

Секретарь комсомольского райкома держал речь. Редакционный фотограф Валерий Катушонок спрятав голову под черное покрывало, чтобы снять митинг.

«Ура!» — провозгласил секретарь райкома, закончив речь, и привокзальная площадь с восторгом грохнула: «Ура!»

Катушонок испуганно высунул из-под черного покрывала лицо, мокрое от пота и переживаний.

Предоставили слово мне. Я прокричал на весь район — митинг транслировал местный радиозел — стихотворение «Я еду на Урал».

Я скрывал криком волнение и — чего там! — готовые брызнуть слезы. У самой трибуны стояла мама. Ее лицо потемнело и заострилось. Хотел побежать к ее сжатым губам, к ее воспаленным глазам, обнять и тихо, ласково, как ни разу в жизни, сказать: «Я пошутил, мама. Я остаюсь. Буду колоть дрова. Работать в съемальном цехе нашей фабрики. Вozить на санках воду, вкусную чистую воду с Соборной площади. И вместе с тобой, мама, провожу Корнилия к Великому океану строить многопалубные электроходы; и Фросю мы проводим в первый класс, где она скажет: «Здравствуйте, дети, я ваша учительница Ефросинья Осиповна Вагина».

На весь Новоселенский район орал я стихи и старался увидеть в толпе Олю Цветкову. Ей давно пора вернуться из Медыни. Впрочем, и в Медыни имеется спичечная фабрика и Оля вправе остаться там. Если захочет. Я не верил, что Оля захочет остаться в Медыни. Не хотел верить.

С трибуны видел Калину, Ивана Белозерова, Льва Максимовича Карасика — он писал, почти прижав

блокнот к правому глазу. Рядом с Карасиком возвышался ответственный редактор в круглых очках. Махал кепкой Аким Тихонович: то ли звал остаться, то ли прощался. А девушки из нашего съемального молча, без улыбок слушали мои стихи.

Несмотря ни на что, мама гордилась мною. Я чувствовал сердцем: мама мною гордится. Наверное, так же она провожала моего отца на фронт. Провожала и уже начала ждать его возвращения.

Фрося плакала. Корнилий стоял прямой, как свеча, и его обгорелые за лето волосы светились.

Я проорал последнюю строку, соскочил с трибуны и пошел к маме. Остановился рядом. Мамино плечо касалось меня. Она по-прежнему смотрела вперед. Из всех людей на площади мама была для меня самым главным человеком.

Паровоз загудел. Мы пошли к вагонам. У своей теплушки, осилив смущение, я поцеловал маму.

— Буду писать! — крикнул я. — Каждый день!

— Не надо, Паша, — попросила мама. — Не пиши каждый день. Пиши раз в месяц, чтобы я успевала отвечать: у меня много дел...

Я пожимал всем руки. Поцеловал Фросю в мокрую щеку.

Паровоз вновь загудел.

— Корнилий, — попросил я брата, — если придут письма... мне... на мое имя, не выбрасывай. Я быстро сообщу адрес.

Корнилий кивнул. Что-то сказал. Я не расслышал, что он сказал: поезд тронулся.

Новоселенск отодвигался, махал мне руками, платочками, верхушками сосен Карновского леса.

С перрона уходили мама, Фрося, Корнилий. И было неясно: то ли мама уводит за руки Фросю и Корнилия, то ли Фрося и Корнилий уводят под руки маму.

3

Не заходя в свой четырнадцатый номер, позвонил Мише Горшенину.

— А, это ты? — обрадовался Миша. — Спасибо, что позвонил. К тебе заходила Ольга Евграфовна?

Я не сразу понял, кого он имеет в виду. Потом догадался:

— Заходила.

— Ты заметил у Ольги Евграфовны шрам на правой щеке?

— Я не слепой.

— Не говорю, что ты слепой, просто мог не заметить.

— Заметил.

— В войну она работала на Урале в одном цехе с Калиной Дубовицким. Их завод выпускал мины. Нередко Ольга Евграфовна по две смены не отходила от токарного станка.

Меня раздражает, что Михаил Горшенин называет Олю: Ольга Евграфовна.

— Фронт требовал много мин.

Я-то знаю, сколько требовалось мин, правда, не в масштабах фронта. Наш полк задыхался от нехватки мин. Чем больше мин мы получали, тем больше их не хватало. Мы гнали фашистов и с удовольствием посылали в спину врагам уральские мины.

Горшенин продолжает:

— Ольге Евграфовне пришлось в тот день работать три смены кряду. Заболела сменщица. Ольга Евграфовна заснула у станка. Или забылась. Или упала в обморок... Она не помнит... Резец пропорол ей щеку до кости... Я написал об Ольге Евграфовне очерк в областную газету.

— Зачем?

— То есть как зачем? — не понимает на том конце провода Миша.

— А вдруг ей не нравится, чтобы писали о ее щеке?

Миша ничего не ответил.

— Спокойной ночи, Миша,— говорю я.

— До свидания.

Вдруг я спохватываюсь и снова набираю номер Маленького друга.

— Что случилось?

— Понимаешь, Миша, я забыл спросить тебя: где Оля работает? — И поправляюсь: — Ольга Евграфовна где работает?

— Директор профессионально-технического училища,— торжественно произносит Горшенин.— А я думал, ты знаешь.

— Спокойной ночи, Миша. Спасибо.

Ворочался на скрипящей кровати... Думал.

Корнилий тогда не сказал, что меня вызывает Степа Котенков. Не в интересах Корнилия было отрывать меня от колки дров. Ему самому пришлось бы расправляться с задубелыми колодами. А мой младший брат, как, впрочем, и я сам, не любил суковатых, волокнистых, корявых поленьев. Прямые березовые, осиновые, сосновые Корнилий колол охотно. Стоило полену не развалиться с первого удара, мой брат скучнел, отшвыривал неподдающийся чурбан в дальний угол сарая и прерывал колку дров до поры, пока появится охота или уж слишком надоест приказаниями, просьбами, руганью мама.

В то июньское утро я колол добровольно, все подряд, не разбирая. И не удивительно, что Корнилий, получив от Степы Котенкова записку, возможно, сам прочитал ее. И не считал нужным меня беспокоить. Кто знает содержание записки? Оля? Да и она, пожалуй, не вспомнит... Сорок лет, и каких лет!.. «Выйди, жду у твоих ворот. Оля», или: «Что случилось? Оля», «Сегодня уезжаю в Медынь. Оля»... Примерно такие слова могли быть в записке.

Имя «Оля» Корнилий недавно слышал при определенных обстоятельствах. Не исключено: Корнилий рвал Олину записку с мыслью о маме, о моей дальнейшей судьбе, о будущем нашей семьи... Кто знает, о чем размышлял мой младший брат, разрывая записку, переданную ему Степой Котенковым, и смеясь вслед убегавшей Оле.

Этого я не знаю и не узнаю никогда.

После фабзавуча Корнилий не работал слесарем на фабрике, не поехал он и к берегам Великого океана строить многопалубные суда — он поступил в училище пограничников.

В отпуск Корнилий приезжал в Новоселенск и гулял в зеленой фуражке по городскому саду имени Луначарского, красивый и высокий, похожий на мать

и на отца вместе. И Фрося, скромная учительница начальной школы, чуть ли не на цыпочках ступала рядом с Корнилием по главной аллее. Весь город провожал гордым и завистливым взглядом пограничную, цвета молодых кленовых листьев, фуражку, похрустывающую португую, блестящие, будто лакированные, сапоги моего брата.

И на Фросе, Ефросинье Осиповне, столь изящное, столь идущее к лицу и к фигуре платье, сшитое с таким вкусом, с таким интересом, что, будь жива лучшая портниха Новоселенска Генриетта Августовна Квец, она застонала бы от зависти.

А кто шил?

Моя мама при непосредственном участии Ефросиньи Осиповны. Обо всем этом писала мне сама Фрося.

Девушки Новоселенска тщетно пытались уловить спесивый и немного застенчивый взгляд Корнилия. Допускаю, что и Оля Цветкова встречала моего брата на главной липовой аллее, ведущей от оркестровой эстрады к берегу пруда.

Корнилий приглашал Фросю в буфет, угощал шипучим лимонадом, пирожными, небрежно платил и, не дожидаясь мелкой сдачи, вставал, закуривая длинную папиросу «Северная Пальмира».

Фрося открыто гордилась младшим братом. И Корнилий гордился Фросей. Мало того, что она славилась как одна из лучших учительниц начальных классов знаменитой школы имени Карла Маркса, Фрося была еще и красавицей. Это я точно знаю. Пожалуй, единственный человек в Новоселенске, который об этом не догадывался, была сама Фрося.

У меня хранится фотография мамы, Корнилия, Фроси. И я утверждаю: моя милая единственная сестра не уступала в красоте и обаянии любой из нынешних актрис. Я сужу по открыткам, что продаются в газетных киосках. Правда, Фрося не красила губы фиолетовой помадой, не мазала ресницы неизвестно чем.

О Фросе, случалось, писал мне Калина Дубовицкий.

В один прекрасный августовский день Корнилий прибыл в Новоселенск, и рубиновые кубики лейте-

нанта сверкали в его петлицах. Он прибыл в Новоселенск, чтобы увезти маму и Фросю на свою заставу, к польской границе.

Клены били в медные листья, провожая нашу семью во главе с лейтенантом пограничных войск Корнилием Вагиным.

Пролетка на дутых шинах мчала три четверти семьи Вагиных.

Мокрыми глазами прощалась мама с родной улицей, с белыми торговыми рядами, с каждым булыжником мостовой, с новоселенскими женщинами, которые носили перелицованные и искусно заштопанные мамой платья и кофты; мама прощалась с фабрикой, где работал когда-то ее первенец Паша, с редакцией газеты «Ударник», на страницах которой печатались произведения того же первенца Паши, и в том числе стихотворение «Я еду на Урал».

И Лев Максимович Карасик, и Миша Горшенин написали мне о том, как лучший извозчик Новоселенска дядя Аникей увозил нашу семью на вокзал.

А потом началась война...

В первом же бою, защищая границу один против тысячи, против ста тысяч фашистов, погиб мой младший брат Корнилий, и в тот же час фашистские бомбы убили мою маму и мою сестру Фросю. И капитан Саша Гурилев погиб рядом с Корнилием.

И теперь все равно, что было в Олиной записке и почему Корнилий не позвал меня из сарая, где я неистово колот дрова. Впрочем, Корнилий мог звать меня, а я не слышал, не желал слышать, думал об Оле, о женитьбе, о соснах Карновского леса.

Сегодня это не имеет значения.

От всей нашей семьи остался я, фотография мамы, Корнилия, Фроси, снятая перед их отъездом на польскую границу лучшим фотографом Новоселенска В. И. Мяжковым... У меня имеется еще снимок, сделанный Корнилием: Фрося и Саша Гурилев, взявшись за руки, смеются и бегут из пограничного леса.

Не спится. Плотнее зашториваю окно, чтобы не лезла луна. Шторы прозрачные, ситцевые, что ли? Березы отражаются на зеленоватых обоях. Это не обои, а снега Подмосковья 1941 года. На зеленоватом пространстве фиолетовые трупы, обмороженные танки, самолет с одним крылом.

И, продолжая во сне думать и о Корнилии, и обо всем остальном, я помнил: придет Оля с мужем, придут Оля и Степан Игнатович Котенков.

Утром, прежде чем пойти в парикмахерскую, попросил горничную Наталью Алексеевну лучше убрать в моей комнате.

И вот я, подстриженный и побритый, сижу в кресле бордового цвета и читаю свежий номер местной газеты «Заря»:

«Ежедневно из новоселенского аэропорта в направлении Брянска самолеты делают пять рейсов.

В нынешнем году услугами авиационного транспорта уже воспользовались более пяти тысяч жителей Новоселенска и района. В декабре в новоселенском аэропорту были приобретены билеты для полета до Магадана, Хабаровска, Самарканда» (Наш корр.)

Если бы сорок лет назад мне сказали: в Новоселенске будет аэропорт, я возразил бы: «Фантазия!» Именно так я ответил бы любому.

Новоселенское небо бороздят воздушные лайнеры. Отсюда можно лететь в Норильск, в Москву, в Сочи, в Рим... Куда угодно. С пересадкой... Ну и что? Чемоданы обрастут наклейками: десять разноцветных бумажек, двадцать... А самая первая — со штампом «Новоселенск».

«Спортсмены колхоза «Коммунар» вышли на первое место в районе по стрельбе из пневматической винтовки и шахма...»

Стучат.

Кладу на стол газету и, стараясь не хромать, спешу к двери. Просто предложить: «Войдите!» нельзя: дверь номера неплотно закрывается, и ее приходится запирать на ключ.

— Сейчас! — кричу я, думая об Оле, которую уже видел, и о Степане Игнатовиче Котенкове: его никак не представляю. Смутно помнится белоголовый, мелкого роста фабзаяц.

Оля... Нет, не вчерашняя, с седыми висками и шрамом на правой щеке, Оля июньского утра тысяча девятьсот далекого года, в декабрьском пальто, в замшевых сапожках на молнии, в шерстяном берете под цвет Олиных глаз.

Даже вздрогнул.

Она смущенно сказала:

— Мама плохо себя чувствует... И папа не может... Просили извинить.

— Спасибо... Как же тебя... вас... звать?

— Тася, Тася Котенкова. Я, понимаете, тороплюсь. Меня ждут.

Не знаю, как быть, что сделать, как приветить, остановить Тасю, Тасю Котенкову, дочь Оли. Тупо улыбаюсь у двери, бормочу:

— Очень рад... Зайдите, пожалуйста... на минутку хотя бы. С вашей мамой, с вашим отцом я учился... И подругу зовите... Я сам позову.

— Меня ждет не подруга.

— Все равно. Я мигом... Вы посидите.

— Не надо.— Тася покраснела.— Подождет.

Она покраснела залпом, как давняя Оля.

Поспешно выставил на стол яблоки и белые шары воздушных пирожных. Запахло августом, последними днями августа. Я суетился и говорил: о Новоселенске, в котором не был сорок лет,— все годы мечтал увидеть родной город и наконец увидел. И Тасину маму увидел. И Маленького друга... Тут же объяснил: Маленьким другом я в детстве звал Михаила Гавриловича Горшенина. Сейчас он работает в редакции «Зари», ответственным секретарем. Спросил: чем занимается Тася? Сказал, что она как две капли воды похожа на свою маму — девочку Олю из фабзавуча. Я так и сказал: «Девочку Олю»...

Тася пропустила мимо ушей мои слова о девочке Оле, на которую похожа. Тася стремилась уйти. Она и не очень скрывала это. Однако она была достаточно воспитанной и не решалась просто так вскочить и уйти. Тася недовольно ответила, что учится

вольствием сказал: «Продолжайте... желаю успеха».

Переворачиваю альбомный лист: четырнадцатизэтажный корпус. Тася и глазом не повела... А вот — шестнадцатизэтажный: моя гордость. Да... Что говорить, для меня альбом интересен и важен. Тасе не понять этого. Откуда ей знать, какой смысл для меня в этих жилых домах. Тася не шагала и не ездила по дорогам сорок первого, сорок второго, сорок третьего на восток, а позднее на запад... И слава богу. И пусть в ее жизни не случится таких дорог.

Тасю кто-то ждет, и альбом — сооружение из картона со стальной застежкой — будет им мешать, затруднять путь, разговор, молчание. Тем более что и в Новоселенске достаточно новых домов. И башенных кранов. Новосельем теперь никого не удивишь.

Бережно защелкиваю стальной замок, ласково говорю:

— Спасибо, Тася. Был очень рад вас увидеть. Это так... Простите, что задержал вас. Передайте мой привет матери и отцу. И пожелайте им от моего имени скорейшего выздоровления. До свидания.

Может быть, сквозь ласку в моем голосе сквозила обида, хотя я всячески старался ее скрыть.

Вдруг я ощутил свою немолодость, свой шестой десяток, свою седину, свою контузию. И ничего со всем этим не мог поделать. Построй еще хоть тысячу домов, я не верну свои семнадцать лет, то июньское сосновое утро. Ладно. Зато я в силах радовать новосельем старых и молодых людей.

Тася уходит из комнаты поспешней, чем следовало бы. По гостиничному коридору Тася бежит: я слышу, как она бежит.

Теперь я смотрю в окно: дочь Оли спускается с гостиничного крыльца. Она не одна. Ее держит за руку высокий парень в модной замшевой куртке. Парень без шапки, черноволос, курчав. Они идут не спеша. Смеются. Я вижу, как они смеются. Возможно, Тася подробно рассказывает, как знакомый ее родителей, болтливый старик из четырнадцатого номера, пытался подарить ей тяжелюший альбом с фотографиями обыкновенных жилых домов. А скорее всего Тася уже забыла обо мне, и они просто смеются, прежде чем взлететь над городом.



Я ЖИВУ

ПЕРВАЯ ГЛАВА

Солнце светит не в окно, а на видимое из окна: зелень, землю, людей, дома. И потому, что мое окно в тени, особенно светло на противоположной стороне.

На будильнике — десять. Под напором времени он отклонил назад круглую голову, выпятил живот. Вдруг я заметил: будильник напоминает толстенького усатого человека на качелях.

Закипел чайник. Я заварил свежий чай.

Десять тридцать.

Вынес мусор. На обратном пути увидел: ящик для почты пуст.

Одиннадцать.

Безо всякого желания, со смешанным чувством готовности ко всему, безразличия, надежды, что в последнюю минуту проснусь, набрал номер.

Гудки... Не короткие, обрывистые, скороговоркой: занято, занято, занято, а — длинные, солидные: погодите, пожалуйста, сейчас, погодите, пожалуйста...

Басовитый женский голос спросил:

— Кто говорит?.. — Умолк. (Женщина ищет в списке.) Список, подумалось, большой, не сразу обнаружишь мою фамилию.

Постукиваю пальцами по столу.

Жду.

— Если не объявится впереди стоящий, возьмем вас. Позвоните в двенадцать.

Странные выражения: «не объявится впереди стоящий», «возьмем вас».

Двенадцать.

— Не забудьте паспорт. Можете захватить тапочки, трусы. Приезжайте к двум.

Медленно опустил на щелкнувший рычаг белую трубку.

И сразу же начал набирать твой номер:

2... 8... 4... и перед семеркой вспомнил: ты уехала.

Телефонная трубка тревожно и жалобно жужжала в руке.

Позвонил в редакцию Феликсу Архиповичу. Он отозвался:

— Але... Але... Я вас слушаю... Сегодня? Уже? А я собирался послать вас в Архангельск на месяц... Жаль, жаль... Но что поделаешь? Будем надеяться, что все обойдется... Счастливо.

Кому бы еще позвонить? А зачем?

Надо собираться. Сколько вещей необходимо человеку: зубной порошок, щетка, мыло, носовые платки, тапочки... ноксирон... Наверняка там не дадут такое легкое снотворное.

Соломенная желтая шляпа с пятнисто пропотевшей, когда-то белой лентой, стального цвета пиджак, темно-темно-серые брюки, чешские босоножки на очень жесткой подошве.

Накрахмаленные зефировые манжеты выскальзывают из пиджачных рукавов, обнаруживая запонки. Каштановый с оранжевым оттенком галстук торчит между лацканами моего пиджака.

Пока я только спешу. Еще ни о чем не думаю.

Секундная стрелка, нервно вибрируя, обгоняет минутную, оставляет далеко позади часовую: двенадцать сорок пять... тринадцать... тринадцать двадцать...

Черный портфель на молнии туго набит книгами, конвертами, носовыми платками, всем остальным, в том числе темными очками в створчатом, как раковина, футляре на щелкающей кнопке. Футляр я купил прошлым летом в Майори, на Рижском взморье.

Мы могли бы и сейчас быть там... Ну, не сейчас, через месяц. Если бы не эта чертовщина. Кто мог знать? Впрочем, чепуха... Еще пять лет назад...

А хорошо было в прошлогоднем июне... Желтоватый пляж. Мелковолнистая вода. Справа — зелень, густо и разнообразно: сосны, ивы, сирень, жасмин. Справа или слева, смотря куда идти.

И люди: девушки, прямые, как струна, задумчивые и смешливые, в шоколадном блеске, обретенном с безотказной помощью крема для загара; рядом с ними бородатые парни, жадные до солнца; мальчики в модных плавках, с рисунком, похожим на шашечки такси; голые дети на песке, в море; всюду люди — в брызгах, в говоре, в торопливом наслаждении жизнью.

Хлесткий балтийский ветер сокрушает трехцветные, как светофор, раздевалки на пляже, буро мутит море, пенит его; ветер мешает расти ввысь и прямо соснам, стегает гибкими ветками ив сырой серый песок.

А чайки ловко летают, то поднимаясь вертикально, то скатываясь с упругих ветровых горок в мутное море, возникая вновь с блестящей рыбкой в клюве.

Мы гуляли в дюнах. В солнечных просветах между соснами сквозило иссиня-черное море. Дюны шевелились. Ты бежала — то впереди, то считала шаги рядом, то пряталась за мою спину, прижимаясь носом к моим лопаткам. Нос был холодный. Нередко ты загораживала меня от неожиданных ударов ветра.

Еще мы сидели у сосны, за дюной, полосатой, как тыква. Ветер скользил поверху. На песке, среди хвои, жили лакированные муравьи.

Муравей укусил тебя. Ты вскочила и бросилась к морю, где не было тишины, спокойного солнца, где продолжался ветер и чайки и вода шумели так, что человеческий крик не мог быть услышан.

Обнял тебя у самой воды. Вода кидалась на нас, и мы смеялись.

Я запер дверь? Кажется, да. Один поворот ключа или два? Один...

Как-то повернул ключ два раза и не мог открыть, пришлось взламывать замок.

Один поворот... И посмотрел в ящик для газет и писем. В коридоре было пусто и тихо, сумрачно. Замок щелкнул со скрипом. Когда я уже выходил из коридора, старуха соседка выглянула из своей ком-

наты и улыбнулась раскрытым ртом. Странно: я до сих пор не знаю ее имени-отчества. Все ее зовут Васюта.

Я всё выключил и запер дверь.

В два часа я должен быть в приемном покое.

В 14.00. На моих часах: без двадцати пяти два. Как она сказала: в два... или к двум?

В два.

Портфель тяжелый: жестяная банка апельсинового сока, две бутылки абрикосового, две стеклянные банки виноградного...

Открывалку я взял... Ножик. Ножницы. Пилку для ногтей. Огуречный лосьон. Электрическую бритву. Биокрин для волос.

Смотри ты, собрался, как на курорт, на Рижское взморье, в Евпаторию. А что? Кто знает, что там такое? Да и они сами, люди в белых халатах, знают ли?

Болезнь во мне отыскал старый крашеный эскулап на трясущихся ногах. В нем самом тысяча болезней. Он гордится своей откровенностью и прямо-той, умением говорить только правду, ничего, кроме правды. Ему нравится так говорить и улыбаться: мол, все хорошо. И все будет хорошо.

В конце концов, старик неплохой. Ему больше семидесяти. Значительно больше. Из них лет пятьдесят он ежедневно выстукивает, осматривает, пальпирует. Он повидал, таким образом, сотни, тысячи людей. И спокойно улыбался. Возможно, сочувствовал, переживал. И улыбался.

Окна возвращают солнечный свет улице. На балконе овчарка с открытым ртом показывает вздрагивающий язык. Девочка желтым сачком поймала лимонницу и не знает, что с ней делать.

Вижу пчелу на яблоневои цветке. Агатовое, жужжащее на розово-белом. На яблоневых лепестках вздрагивает золотистая в точках тень вибрирующих крыльев.

Оказывается, я не хочу спешить. Мне необходимо спешить, а я не хочу, не желаю. Часы из-под выскользнувших манжет стучат секундами по руке.

Уже — два.

«Приезжайте к двум... к двум... к двум».

А я медленно иду по мятому, рваному асфальту, мимо яблонь, пчел, собак.

И все стараюсь видеть.

А если вернуться? Остановить часы? Бросить в комнате на пол портфель с книгами, апельсиновым соком, огуречным лосьоном «После бритья» и темными очками в створчатом, как раковина, щелкающем футляре, запереть дверь на два оборота (пусть она потом не открывается) и уйти в лес, через асфальтированную дорогу в лес, вслед за этими людьми из детского сада, толстощеками, смеющимися просто так, как просто так шумит река у истока, подскакивая на скользких камнях, не зная, что впереди ее ждут поля, степи, горы, плотины, шлюзы, море.

Остановился.

Я остановился на берегу асфальтированного шоссе. Машины замерли справа и слева. Детский сад форсирует шоссе. «Волги», «Москвичи», грузовики ждут, пока разноцветный сад переберется на другую сторону, пока воспитательница в белом халате вытирает сопливый нос небольшой девочке с рыжими косичками.

И огромный междугородный, похожий на айсберг, голубой мясовоз тает от нетерпения.

Передо мной лиловые шашки на бежевом поле. Такси. Усаживаюсь на заднее сиденье. Называю адрес.

Водитель глянул на мой портфель, из которого торчали тапочки, на меня сожалеючи, как смотрят старухи на безногих и слепых.

Впервые в диспансер я пришел немногим менее пяти лет назад, в декабре. Было неловко читать вывеску «Городской онкологический диспансер»... Онкологический... Вспомнились статьи из газет, журналов, рассказы знакомых, радиолекции врачей. И почти ожил рисунок к статье «География рака» в «Неделе». Клешни стрел, будто щупальца, двигались по газетному листу, впивались в материки, острова, архипелаги. Рак не имел глаз. Он тыкался во все стороны, встречая слабое сопротивление ярых ку-

рильщиков, любителей выпить, охотников до жирного, жареного, острого, пряного, ревнивцев, нервных.

Рак дружит с войнами, с голодом, нищетой, с атомным и водородным оружием... Он неуловим, как Летучий голландец, как Фантомас.

Вспомнив Фантомаса, я хохотнул. Увидев в зеркале мое беспричинно смеющееся лицо, водитель вздрогнул и прибавил скорость.

Когда пять лет назад я впервые входил в диспансер, прохожие смотрели на меня с тревожным любопытством.

Голые тополя беззвучно пошатывались в диспансерном сквере. Голуби в окружении хлопотливых воробьев рылись в снегу.

Старик доктор улыбнулся. Может быть, он посочувствовал мне: ведь я так долго сидел и стоял у пальмы, сухо шелестевшей в приемной диспансера.

Разные люди дожидались очереди: женщины пенсионного возраста и просто пожилые, мужчины средних лет, старики и молодых немало. Они напряженно молчали, пробовали читать, настороженно следили друг за другом. Не дай бог кому-нибудь попытаться пройти без очереди. Яростные голоса возвращали нарушителя на место. И снова очередь печально и сосредоточенно замолкала.

Старик в ослепительно белом халате улыбался входящему. Он даже вставал навстречу. Его помощница сестра искоса и официально взглядывала на больного, спрашивала фамилию, находила карточку.

Доктор задал мне обычные в таких случаях вопросы, уложил на белую кушетку...

Два дня я ходил рассеянный и отрешенный. Никому ничего не говорил. Даже тебе. Зачем?

В назначенный срок снова явился к Старiku (мысленно я с первой встречи назвал его Стариком). Он встретил меня улыбаясь, шагнул навстречу, крепко пожал руку, похлопал по плечу. Радость так и сквозила в каждом его движении.

— Типичных клеток не обнаружено... Изменения доброкачественные. Начнем лечить.

Ходил к нему регулярно в течение месяца. Старик всегда улыбался. Иногда улыбка выражала недовольство, не мною, пожалуй, я ему был, вероятно,

безразличен, а моей болезнью, иногда — удовлетворение, Старик у казалось: наступает улучшение, порой — недоумение: прошлый раз картина была благоприятней.

— Ладно, — сказал Старик в конце контрольного месяца, — живите, как обычно. Покажетесь месяца через два. — И проводил меня до двери.

Вскоре мы уехали с тобой в Ленинград.

Был январь.

Мы только вышли из Эрмитажа. Молчали. Вечернее небо с подсвеченными облаками, летевшими на север, казалось одним из эрмитажных шедевров, только что написанных великим мастером.

Мы молчали. Слова не всегда способны передать движение, смену и связь цветов, текучесть впечатлений.

И наряду с ощущениями ленинградского вечера существовали: кабинет Старика, крашеный клок его волос, перекинутый с затылка на лоб, стеклянный шкаф с хирургическими инструментами, одетая целлофаном кушетка.

Позднее мы ужинали в кафе. Запомнился мягкий, ровный свет, серебристая скатерть, отдаленная музыка, вкус кофе.

Водитель остановил машину, достал сигарету и тут же вдавил ее в пачку с серебряным псом на этикетке — водитель увидел вывеску: «Городской онкологический диспансер».

От чаевых он отказался, отсчитал сдачи.

— Желаю вам скорейшего выздоровления, — и вздохнул. Захлопнул дверцу и сразу же с жадным удовольствием закурил.

Я помахал таксисту рукой.

Со стороны, наверное, выглядел смешно: до шарообразности туго набитый портфель; соломенная шляпа с пятнистой лентой; выскальзывающие из рукавов пиджака манжеты зефировой сорочки.

Люблю легкий, холодящий, естественный, как утренний лесной воздух, зефир. Эту сорочку ты подарила мне давно, задолго до январского вечера в Ленинграде.

«Приемный покой» — странное сочетание. Небольшая комната с двумя окнами. Больные сидят вдоль стен.

Открылась дверь. Одной из сидящих передали вещи. Она взяла сверток, смахнула рукавом слезу, ушла.

Блондинка средних лет, широкоскулая, с карими невеселыми глазами, просит соседку:

— Ей ни-ни... будет волноваться. Спросит, скажи, что я в отпуске. Срочно уехала по горячей путевке. Чего зря перед экзаменами нервировать...

— Так и скажу.

Старуха, отделенная пустыми стульями и от меня и от блондинки, ни к кому не адресуясь, произносит:

— Сын обещал проводить. Должно, не смог... Занятый он у меня... Очень он всегда занятый. Соседка, спаси бог, проводила. Проводила до двери и ушла. Семья у нее, внуки на ее заботе. А я и сама еще ничего. Дошла б. А что? И дошла б.

Старуха бережно расправляет, поглаживает мятые складки заношенного, когда-то светлого мужского плаща.

— Следующий!

Это — меня.

За большим столом — седая женщина. Я узнал ее голос: она отвечала по телефону. Представлял ее другой: моложе, что ли. За этим же столом, с краю, сидит, закинув ногу на ногу, курчавая женщина в коротком халате.

Седая:

— Паспорт? Где работаете? Женат? Телефон?.. Раздевайтесь... До пояса.

Ее голос то повышался, то падал, как бы расплываясь, растворяясь в уже ставших привычными и потому малозаметных звуках: ветра за окном, поскребывании пера, притушенных голосов за дверями — той, в какую я вошел, и другой, что вела в неизвестное.

Курчавая женщина в коротком халате — она оказалась дежурным врачом — бегло меня осмотрела, вернулась на свое место.

— Пройдите сюда,— и сядя, продолжая писать, показала подбородком на дверь в неизвестное.— Накиньте рубаху, холодно.

Я накинул на плечи пиджак. Он елозил по голому телу скользкой подкладкой. Вполне возможно, ощущая свою временность на моих плечах, пытался ускользнуть.

За дверью объявился новый мир.

Над огромной, похожей на плавательный бассейн щербатой ванной торчал, как перевернутый подсолнух, душ.

Женщина — сразу я ее не увидел — сидела у стены на низкой скамье, согнувшись над квитанционным блоком.

— Быстрее раздевайтесь... Я и так опаздываю... А ты погоди, погоди! — крикнула она кому-то.

— Хорошо, хорошо, я погожу, — вежливо послышалось из темной задверной глубины.

— Под душ, и не прохлаждайся!

Как только я разделся догола, женщина — я разглядел ее жесткие, будто подпаленные торопливой завивкой, волосы, круглое лицо и зеленоватые острые глаза — стала обращаться ко мне на «ты».

Меня это не беспокоило.

Однако я сказал:

— Давеча я помылся дома... с мылом.

— Обдайся наскоро, — посоветовала женщина. — А я отнесу твою одежду и отведу больную в палату. Я подставил плечо и ноги снопу струй, увлекся, но быстро опомнился и вылез из ванны на деревянную решетку, вытерся вафельным полотенцем.

— Готов? — спросила женщина.

— А чего ж?

Я стоял в трусах, в босоножках, с черным, лоснящимся, округлым от содержимого портфелем под мышкой, с часами на левой руке. Капли воды падали с моих волос.

Я был вполне готов.

— Что ж ты, милый, молчишь? — повысила голос женщина. — Сказал бы: дай, мол, такая-сякая, какую-нито одежду... Так и потопоешь в трусах и с портфелем? — Она громко захохотала. Из приемного покоя постукали в стену.

Мне все равно. Могу и в трусах, с тикающими на руках часами, что не боятся морской, речной и водопроводной воды, ударов, сами заводятся и хранят в своем нутре двадцать два камня, пойти на второй, третий, четвертый этаж. Больше этажей в диспансере нет. Это я уже знал.

Она кидала мне белье:

— Кальсоны!

Поймал.

— Рубаха!

Поймал и рубаху.

— Брюки!

Кальсоны жали в поясе. Резинка была скупно рассчитана на худого, влюбленного подростка.

— Не прохлаждайся,—попросила женщина.

Все, чем жил я вчера и даже сегодня утром, осталось за дверью приемного покоя, лежало на складе одежды. Я не мог вернуть и секунды вчерашнего дня.

Я еле поспевал за санитаркой.

Вверх и вниз по широкой лестнице двигались женщины в цветных халатах,—худые, очень полные, изящные, с кокетливыми глазами, бледные и смуглые, как цыганки, мужчины в разноцветных пижамах. Нередко встречались старики и старухи.

Строго и прямо спускался посредине лестницы длинный старик с книгой под мышкой и слуховым аппаратом в правом ухе. Он имел вид жителя другой планеты. Земные звуки не беспокоили и не успокаивали его. Поворот рычажка или нажатие кнопки убирали скрип, смех, гром, храп, музыку. Люди молча открывали и закрывали рты. Двери бесшумно распахивались. Птицы беззвучно махали крыльями. Вода, только сверкая, бежала из крана.

В узкой, вытянутой вверх и в длину комнате — четыре койки.

— Вот твоя,—показала женщина и скрылась за дверью.

— Здравствуйте,—пожелал мне человек с койки у зарешеченного окна. И хотя я не вижу его, ощущаю сочувственное любопытство все время, пока выкладываю содержимое портфеля в голубоватую тумбочку.

Опустошенный портфель положил на нестгораемый шкаф, что, словно старый бурый медведь на коротких лапах, грузно стоит у стены.

И снова голос человека с койки у окна:

— Меня звать Степан Александрович. Лежу здесь с апреля. И до этого по разным больницам путешествовал. Правда, без толку: не знали, что со мной делать. То кровь не на уровне, то белок лишний, то лейкоцитов нехватка.— Убавил голос: — Предполагали — рак. Мне, само собой, не говорили... Не положено... Да и сердце у меня пошаливает. Сердце — орган, необходимый и для жизнесуществования, и на предмет операций. Вот так... А здесь сам профессор Минц занялся... Прооперировали. Оказались доброкачественные полипы. Экспресс-лаборатория показала.

Он посмеялся:

— У нас на «Серпе» в мартеновском тоже имеется экспресс-лаборатория... Оказались полипы доброго качества... люкс-полипы в прямой кишке.

Закашлялся, засипел, как закипающий на газу чайник, приблизил к раскрытому рту прибор в виде пульверизатора.

Помолчал. Перелег повыше.

— Астма еще,— объяснил он.— Ничто не проходит бесследно. Война... Нет, вы не подумайте, что я валялся в окопах, в снегу или что-либо в этом роде, героическое... Всю войну на «Серпе» воевал в две, а случалось, и в три смены. Прокатчик... потом мастер... А так я еще не старый — шестьдесят пять. Два всего года на пенсии.

Он наблюдал меня темными глазами из-под сероватых бровей и, хотя уже назвал себя, повторил:

— Я — Степан Александрович.

Вероятно, считал неудобным спрашивать мое имя, потому еще раз и назвал себя.

— Алексей Владимирович,— сказал я.

— Выпишут меня, Алексей Владимирович, поеду на дачу. Надышусь кислородом.— Он поставил на тумбочку прибор, похожий на пульверизатор.— Вы небось удивились решеткам на окне и, наверняка, нестгораемому шкафу?

— Да,— признался я.

— В этом здании была поликлиника диспансера, а в нашей комнате — кабинет заместителя главного врача. Недавно они перебрались в новый корпус. Видели?

Я кивнул.

Степан Александрович ждал, что я еще что-нибудь скажу, спрошу. Он готов был разговаривать, отвечать, спрашивать.

Я молчал.

Он перелег еще выше, почти сел, сказал:

— Позвонить желаете, на лестничной площадке — автомат. Если, конечно, не звонят женщины. Иная заговорится, обо всем на свете забывает... Я уж и ругался с ними. Да разве женщину убедишь.

Он пошарил под своей подушкой, извлек радионаушник, прижал его к уху, поморщился и принялся чинить.

В это время я увидел спящего на соседней койке человека. В противоположность Степану Александровичу, спящий был худ, мал, почти не выделялся под одеялом.

Он проснулся, выдвинул голову на край подушки. На его бледном рыжеватом лице лиловеют глаза в красных веках. Слабо окрашенные губы тонко сжаты.

— Это Гарбузов Андрей Васильевич.

— Здравствуйте, — сказал я.

— Здравствуйте, коли не шутите, — отозвался Гарбузов, продолжая лежать на боку с ладонью под щекой. — С чем прибыли?

— Да так, — ответил я неопределенно, — врачи разберутся.

Вопрос Гарбузова не удивил меня. По госпитальному опыту я знал: больные, особенно тяжелые, охотно и подробно рассказывают о своих болезнях и весьма любопытны до чужих хворей. Сам я не люблю расспрашивать, предпочитаю слушать, в крайнем случае — отвечать на вопросы.

— На этой койке — художник, — указал Степан Александрович радионаушником на четвертую, аккуратно заправленную постель. Рядом с ней на тумбочке в банке из-под виноградного сока стоял букетик ландышей.

— Художника никогда на месте нет,— сказал Андрей Васильевич Гарбузов.— Его и докторша сегодня два раза спрашивала, сама приходила.

— А чего? — сказал Степан Александрович, ковыряя отверткой радионаушник.— Чего ему в палате делать? На воздухе легче. Еще понюхает больницу, когда его вскроют и заштопают.

— Сама Ариадна Марковна два раза заходила, интересовалась Обызовым, мало ли...

Их спор о художнике: быть или не быть ему в палате — продолжался, видимо, не первый день. Я не мог в нем участвовать и почувствовал себя неловко, как третий лишний.

— Пойду позвоню,— сказал я, дождавшись паузы.

— Ну, ну... Вы с женщинами церемоний не разводите,— учил меня Степан Александрович.— Они интеллигентного человека за версту видят и норовят ему на голову сесть.

Дойдя до двери, услышал голос Гарбузова:

— Двушки-то есть? А то у меня возьмите.

В стеклянной стене автоматной будки увидел свое лицо. Лицо как лицо, ничего особенного. Несколько морщин на лбу, под глазами землистый оттенок кожи, черные, странно черные брови... А волосы? Да... волосы путано лохматились, вызывали сравнение с прошлогодним сеном, растрепанным ветром.

Привычно полез за расческой. В кармане пижамы ее не оказалось, зато обнаружил там двухкопеечную монету, несколько ломаных спичек, трамвайный билет.

Попытался причесать волосы пятерней.

Вернулся в палату и еще с порога смущенно сказал:

— Вот беда, расческу потерял.

— Да-а-а,— протянул Степан Александрович,— плохо... Может, найдется... Своей расчески не дам. Расческу и электробритву не одалживаю.

— Понимаю,— сказал я, натягивая берет.

Неслышно вошла женщина в белом халате, поздоровалась со всеми, приблизилась ко мне:

— Вы только прибыли? Веденеев Алексей Владимирович? Я — палатный врач Ариадна Марковна. Как школьник, застигнутый врасплох, сорвал берет.

— Здравствуйте, Ариадна Марковна... Простите, я потерял расческу.

Ариадна Марковна с подчеркнутой серьезностью покачала головой, сразу же стерла улыбкой серьезность и, как бы включаясь в игру, сказала:

— Не огорчайтесь, со всяким может случиться... Хорошая расческа?

Я кивнул.

Она попросила раздеться до пояса, лечь. Ощупывала тонкими ласковыми пальцами мое тело. Ее глаз я не видел. Ариадна Марковна наклонилась ко мне, словно не только пальцами — и на слух старалась понять, в чем дело.

— Давно это у вас?

Я сказал.

— Диагноз консультанта?

Пожал плечами.

— Одевайтесь... Завтра поговорим подробнее.

— Анамнез и прочее?

— Да, — с той же подчеркнутой серьезностью в голосе и улыбкой в глазах согласилась Ариадна Марковна. — Анамнез и прочее... — И пошла из палаты стремительно, легко, как бы взлетая.

Несколько лет назад и даже за неделю до этой минуты, проходя мимо вывески «Городской онкологический диспансер» на консультацию к Старик-ку, я вскользь и со стороны думал о людях в халатах и пижамах, гуляющих в сквере. Рядом с официальной вывеской диспансера, вызывавшей обязательское представление о раке как приговоре, не подлежащем обжалованию, люди, гуляющие в сквере, уже казались мне представителями иного мира.

И хотя, как известно, есть немало случаев излечения и излеченные живут не меньше и не хуже, чем те, кто никогда не сталкивался с онкологией, врачи до сих пор наверняка не могут сказать: способны ли

мы вылечить человека от рака, как лечим от туберкулеза, тифа, холеры...

Впрочем, несколько десятков лет назад и туберкулез, и холера, и сыпняк казались неизлечимыми.

Человек создал робота, расщепил атом, в состоянии уничтожить мгновенно сотни тысяч себе подобных, построил космические корабли, слетал на Луну, а свои болезни еще не научился лечить.

Не коснись рак меня непосредственно, я и сейчас относился бы ко всем этим высоким проблемам, как отношусь, например, к проказе, черной оспе, чуме... Страшно, а непосредственно меня не касается.

Теперь же, в диспансере, среди людей, которые не со стороны, не вообще рассуждают о раке, как о проблеме, а таскают его в себе, я недоумевал, почему мир, то есть человечество, не принимает мер, не кричит «SOS»! Не ищет днем и ночью, как спасти меня от смертельной болезни.

Правда, рядом со старым зданием диспансера выросло новое, четырехэтажное, правда, в субботу 12 апреля 1969 года миллионы советских граждан участвовали в субботнике, чтобы на заработанные безвозмездным трудом средства построить в Москве онкологический центр...

Все — так. Все это превосходно для здоровых людей. Мне этого мало.

Я — человек из онкологического диспансера — требую, чтобы все государства, вся Организация Объединенных Наций немедленно решили: победить рак, самого страшного, самого невидимого, самого непонятного врага людей. Моего врага. Врага твоей матери. Твоего отца. Твоих детей. Твоей любимой.

Миллиарды долларов, фунтов, марок, франков, лир, иен, расходуемых в разных странах земли на войны и подготовку войн, направить, не откладывая, на битву с болезнью, называемой рак.

Вот что меня занимает с некоторого времени.

Сквер отделен от улицы сквозной металлической оградой. Ограда прерывается у вновь построенного здания, соединенного со старым на уровне второго этажа кирпичной галереей.

Улица свободно вливается в сквер. Каждый прохожий вошел бы в тень тополей, лип, яблонь, вишен, если бы не вывеска и странные люди в цветных халатах и пижамах. Сочувствие, сожаление, страх нетрудно заметить у прохожих. Я и сам так смотрел с улицы на жителей диспансера, хотя для меня и тогда, особенно после встречи со Стариком, появилась возможность попасть за эту металлическую решетку.

Уж не знаю, достаточен ли пятилетний срок, но, спустя пять лет после первого неясного предчувствия, я хожу в больничной пижаме по зеленому скверу онкологического диспансера.

Ничего страшного: доброкачественная опухоль. Тогда зачем я здесь? Профилактика? Старик сказал: все зависит от вас самих: пожелаете — вас поместят в диспансер, нет — можете и дальше жить, как жили... Если бы не прошло пять лет с той первой встречи, он бы и слова не сказал... Но пять лет... И та же картина... Он лишь советует. Ничего больше. Ординарный врачебный совет.

Глаза Старика при этом говорили более твердо и определенно. Глаза настаивали. Глаза диктовали.

Вместе с тем слова и улыбка снисходительно оставляли право выбора.

«Многие ждут стационарного лечения. И долго ждут. К сожалению... Да. В данном случае я приплюсовываю пять лет».

Крашенные волосы вздрогнули на макушке Старика и могли бы скатиться на затылок, но, по всей вероятности, были приклеены и, сильно вздрогнув, остались на лбу. И тем не менее Старик был обаятелен. Доброта сквозила в каждом его взгляде, улыбке, в звучании каждого слова. Что-то в нем есть от дедушки, который все испытал и все знает. И крашенные волосы к нему идут, и лысина свидетельствует о мудрости и трудолюбии.

Еще до того, как я сказал «да», Старик уже знал, что я отвечу. Он умеет понимать людей с полувзгляда. Повидал за свои семьдесят с лишним лет немало таких храбрецов. Наверно, и ошибался не раз. А кто действует безошибочно?

В таком деле, где почти всегда три неизвестных,

а нередко и все четыре, ошибиться легко. Всё — поиск. Всё — загадка.

И только наверняка известно желание — жить.

Видеть землю, небо, людей, собак, воду. Ощущать голыми ногами сухой песок побережья, звонкую, пропитанную солнцем, щекочущую воду моря, лесную траву. Окунать лицо в сирень, в ромашки, в росу... Или, да, конечно и это, сидеть в глубоком кресле у открытого окна и виновато, извиняясь за все, заглядывать в глаза взрослым детям, когда они ставят перед тобой тарелку вегетарианского супа, стакан компота из ревеня.

Зато они рядом, милые дети, ты видишь их — свою молодую кровь, свою жизнь.

Весна, смеясь и играючи, вышвырнет за зеленый порог зиму, неохотно уступит землю лету... За летом придет осень, и никуда не денешься от зимы в белом халате.

Жизнь... Все — жизнь... Еще пятнадцать, десять, шесть лет назад ты захохотал бы, услышав о такой жизни, плюнул бы, возмущенный самой возможностью подобного существования. А сегодня ничего, существуешь. И у тебя имеются свои радости, улыбки, хохоток.

Да...

Старик и в эту минуту принимает больных. Постукивает пальцем по настольному стеклу. Смотрит в окно. Посылает сестру Ларису в лабораторию. Старательно моет руки. Или с трудом встает на свои семидесятилетние ноги и, прежде чем шагнуть, долго дожидается, пока в икрах уляжется дрожь.

У него-то уж наверняка имеются воспоминания.

Хорошо, что ты уехала и не пришлось прощаться, видеть на твоём лице горе, слезы или — что там еще? — скрытую печаль. Хотя думаю, ты не показала бы, что смертельно боишься. Только спросила б: «Ты ничего не забыл? Одеколон? Бритву? Иголку с ниткой? Деньги?»

Ты не удивилась бы и тому, что ничего не знала, что я ничего тебе не рассказывал, что все случилось так неожиданно, как снег на голову.

Нет, ты и виду бы не подала... Не знаю, что творилось бы в твоём сердце, а лицо, милое твоё лицо, твои глаза выражали бы спокойствие. И все же я доволен: в командировке ты ничего не узнаешь, прежде чем все кончится. Звонить не станешь. Тем более что тебе известно: я в отъезде.

Потом, при случае, между прочим, скажу тебе: «Понимаешь... все собирался сказать... написать... позвонить... И не получилось».

Толстяк Самсонов поедет в Архангельск. Он любит дальние длительные поездки. Нахватает заданий на радио, в газетах, вооружится редакционным «Киевом».

И я взял бы «Киев».

К чему теперь об этом думать? Пусть Самсонов едет в Париж, в Токио, в Лондон... А рад небось толстяк, что поживет месяц в Архангельске.

Интересно: чем Белое море отличается от Черного?

ВТОРАЯ ГЛАВА

Столовая нашего отделения — в холле, за сестринскими постами. В холл ведут двери из перевязочной, послеоперационных и женских палат. В прошлом эти палаты были школьными классами.

Оконные стекла прозрачно отделяют столовую от сада. За тремя передними столиками — мужчины, дальше — разноцветно, говорливо шумят и погромычивают ложечками, вилками женщины.

Сосед слева, в коричнево-желтой пижаме, с круглой ненатуральной лысинкой за ухом, медленно и бережно доедает манную кашу, с интересом прислушивается, наблюдает меня небольшими монгольского разреза глазами.

Жду.

— Здесь не всегда подают, — говорит мне сосед справа, старик с карими усталыми глазами, и показывает, куда идти: мимо женских столиков, на кухню, вернее в раздаточную, где и находится сестра-хозяйка.

Я вежливо поздоровался с женщиной в белом халате: она показалась мне главной в помещении, где на столе толпились стопки тарелок, возвышались бачки с едой.

— Опять опоздал! — возмутилась женщина в белом. — Чтоб это было в последний раз.

— Считайте, что я опоздал два раза.

— То есть как?

— Первый и последний.

Ее лицо не выразило и намек на улыбку.

— Держи. — Она щедро наполнила тарелку вишнегретом.

— Спасибо... Мне бы еще и стакан для чая.

— На тумбочке.

Я не имел ни малейшей охоты снова встретиться с женщиной из раздаточной, которую Степан Александрович после моего описания назвал Зинаидой — сестрой-хозяйкой. При этом он многозначительно помолчал и, уж не знаю почему, ничего больше о Зинаиде сообщать не стал.

Вместо стакана взял баночку из-под виноградного сока. Вечером я привык пить чай и не собирался отказываться от своих привычек.

Почти все столики были свободны.

Пожилая женщина убирала. Ее движения, с первого взгляда медлительные, лениво-усталые, уже в следующее мгновение виделись отработанно-точными, лишенными суетливости, поверхностно принимаемой за энергичную быстроту.

Молодая блондинка в ярко-голубом, затканном цветами халате ела клубнику. Аромат ягод достигал меня. Стоило блондинке взять с тарелки длинными пальцами клубничину, губы ее уже тянулись к ягоде и глаза сильнее взблескивали.

Врасплох застигнутая моим взглядом, молодая женщина косо улыбнулась и уже равнодушно продолжала есть клубнику.

Тут я увидел мужчину с короткими, в меру прощитыми сединой черными усами. Голова его была вовсе седой, не серебристо-седой, а алюминиево-тусклой.

Привычка подыскивать сравнения осталась у меня с детства, когда я старательно сочинял стихи. В нашей шестой группе (так в те годы именовались классы) семилетней фабрично-заводской школы все писали стихи под Есенина, под Маяковского, под Уткина, а случалось, и под Жарова.

И теперь, когда работе корреспондента-организатора и по совместительству фотографа сельского строительного журнала поэтические вольности всячески противопоказаны, я бываю не в силах удержаться от сравнений и в сугубо специальных статьях, о силосных ямах, например, или об удобрениях. Мои сравнения и метафоры вызывают служебное негодование Феликса Архиповича, и он возвращает мне израненную красным карандашом статью для капитального ремонта или хуже: оставляет статью у себя.

Ничего не поделаешь: детские привычки часто остаются на всю жизнь.

Седой человек с черными усами, не скрывая удовольствия, ужинал. Из глубокой тарелки аппетитно выглядывали кружки свежего огурца, помидора, темно зеленели перья лука, а радуга больничного винегрета как бы узаконивала эту гастрономическую живописность.

Человек ел не торопясь. Иногда взглядывал в окно, иногда и быстро — в сторону блондинки с клубникой.

Я выпил чай, собрался уходить. Седоголовый остановил меня:

— Вы забыли стакан... В этом доме стакан необходим, как солдату ложка. Кстати, почему у вас банка из-под виноградного сока вместо нормального стакана? Вы новичок?

— Да,— серьезно ответил я.— А чем хуже стакана эта банка?

— Ничем... К тому же младенец на этикетке хочет во все горло, утверждая бессмертия. В такой банке хорошо держать цветы.

Я вспомнил ландыши на тумбочке художника из нашей палаты.

— Впрочем, погодите,— сказал седоголовый.

Он встал из-за стола и, прихрамывая, немного

смешной в своей короткой и тесной пижаме, довольно быстро пошел в раздаточную.

Вскоре вернулся с граненым стаканом больничного образца и алюминиевой почти новой ложечкой, протянул их мне:

— Стакан, несмотря ни на что, удобней.

Я поблагодарил.

Андрей Васильевич Гарбузов и Степан Александрович сидели на койках. В палате был зеленоватый свет раннего вечера.

Степан Александрович слушал «Последние известия». Случалось, не отрывая от щеки радионаушник, произносил:

— Завтра ожидается 18—21 градус тепла... возможны осадки...

Гарбузов подождал, не скажет ли еще чего-нибудь Степан Александрович.

«Известия» кончились.

Андрей Васильевич взял из пачки «Беломора» папиросу и тяжело направился к двери. Его правая нога почти волочилась. Взял в углу костыли, сунул их под мышки и с папиросой во рту вышел.

Появился человек с черными усами. Он кивнул мне, поставил на тумбочку стакан, сказал:

— Оказывается, вас поместили в нашу палату... Роман Петрович Обызов.

Я назвал себя, пожал протянутую руку, сказал:

— Не спрашиваю, чем вы больны. Захотите, расскажете сами. В больнице любят говорить о своих болезнях.

— Я не люблю,— заметил Роман Петрович.

Он отошел к своей тумбочке, понюхал ландыши, сунул в карман книжку, два или три карандаша. Карман весьма оттопырился, грозил лопнуть, и второй пижамный карман был округло набит.

Больше карманов в пижаме не было.

Вечерний сквер представлял собой странное сочетание разнообразной зелени в еще теплом солнце, движущихся синих, оранжевых, палевых мужских

пижам, нарядных разноцветно-клетчатых женских халатов, рыжевато-песка, осколков стекла, разнокалиберных труб, досок, чугунных скамей с деревянными выгнутыми спинками и сиденьями кое-где в свежеструганных пятнах.

И если ко всему этому добавить акварельной синевы неба да бирюзового блеска окон нижнего этажа, прихваченных овально изогнутыми, в виде нотного ключа серебристой окраски решетками, то образ вечернего сквера будет, пожалуй, почти полным.

Почти, потому что кроме людей по желтой, в колючих искрах, замусоренной земле, перевитой корнями тополей и лип, в корежинах и колдобинах — следах старой и недавней стройки — бродили голуби попеременно с торопливыми, ловкими и жадными воробьями.

Был замечен хромоу голубь. Его левая лапа не то перебита, не то отморожена. Больная лапа, видать, причиняла сизарю достаточно страданий. Он подтягивал ее к животу и, чтобы не упасть, опирался на растопыренное пыльное крыло, судорожно закрывал белым веком глаз и в таком неловком состоянии стремился к хлебу.

Сразу скажу: голуби никакой жалости, сочувствия, элементарной вежливости пострадавшему не выражали, они толкали калек, вырывая из-под самого клюва хлеб. И хотя жалостливые женщины швыряли искалеченному голубю особо, персональные крохи редко достигали цели: раскусив нехитрые маневры женщин, птицы держались поближе к калек.

Здесь же бесшумной тенью как бы струился, выслеживая добычу, дымчатого цвета кот.

Жизнь в сквере протекала со своими тихими и шумными радостями и печалью, потерями и открытиями.

Я знал, что никто ко мне не придет, а сердце все же щемило при виде нарядных женщин, детей, навестивших отцов, матерей, близких знакомых. Я искал Романа Петровича. Эгоистично хотелось, чтобы и он был один.

Прошел высокий прямой старик со слуховым аппаратом в ухе, с книгой под мышкой, похожий на Дон-Кихота. Он делал широкие шаги, глядел куда-то поверх людских голов, деревьев, зданий.

За сквозной оградой часовня или церквушка. Арочные ворота проросли поверху травой. С побурелой кирпичной стены застенчиво помахивает круглой и мелкой листвой березка.

Пробегали с громом и звоном желтые и красные трамваи. В их открытых окнах лица — молодые и старые, усталые и оживленные, рассеянные и сосредоточенные. Трамвайные пассажиры, возможно, радовались скорым встречам, думали об ужине, о детях, сдающих в эти летние дни экзамены... Иные мечтали, прибыв домой, с ходу переодеться, поспешить в театр, в кино, на свидание, в парк, на родной двор, к милому избитому доминошному столу.

И в каждом доме вокруг диспансера, в каждом взрослом человеке, идущем мимо, в каждом мальчишке, гоняющем футбольный мяч на дворе соседнего двенадцатиэтажного дома, в каждой голубе и воробье, так же, впрочем, как и в любом растении нашего сквера и всей земли, была своя жизнь.

Роман Петрович, сидя на скамье, читал.

Первое мое движение было к нему. Но, заметив, что Роман Петрович изредка, как бы случайно поглядывает в сторону улицы, подумал: он ждет кого-то и ему важно и необходимо сейчас оставаться одному.

Пришел к большому столу, где играли в «петуха», азартно вскрикивали и записывали цифры на разграфленном листе бумаги. Устав от бессмысленных на незаинтересованный слух карточных терминов, я сел на скамью перед открытой площадкой, куда женщины кидали хлеб голубям.

Близость птиц всегда успокаивает.

Помнишь чаек Рижского взморья?

Они спешили к нам со стороны моря и от высоченных сосен дюнного берега. Чайки несли на разверну-

тых крыльях свет сосен и неба. Сдерживая резкие, тревожные голоса, птицы опускались на песчаную равнину пляжа и, подскакивая на пружинящих лапках, спешили к нам.

Чайки уже знали цвета твоей одежды и, возможно, моей тоже. Они могли, конечно, знать запах хлеба, и им все равно, кто бросает еду: красивая женщина в платье, похожем на залив в час заката, девушка в купальнике цвета морской волны, седая старуха с жилистыми руками, вся в морщинах, напоминающих морскую рябь, бородатый, словно в черных водорослях, парень.

И столько изящества, чистоты, независимости, уверенности было в чайках, что мы с тобой забывали о мелких своих неурядицах, о неразрешимых, казалось бы, спорах, улыбались друг другу, радуясь ловкости, с какой птицы хватали на лету хлеб, планируя опускались на волнистую воду залива, смотрели круглыми глазами на нас и вокруг.

Вместе с чайками часто прилетали голуби.

Электрические часы на стене нашей палаты показывали без четверти десять, когда я улегся в надежде уснуть.

Сквозь решетчатое окно видны: огуречного цвета небо, кирпичная стена близкого завода.

Вернулся из курилки Андрей Васильевич Гарбузов, оставил в углу у двери костыли, проковылял к своей койке, снял пижаму и бесшумно исчез под одеялом.

Степан Александрович спустился с кровати, открыл узкую форточку, не вверху окна, как это принято, а внизу, у самого подоконника, пристроил палочку, чтобы форточка не захлопнулась.

Дохнуло свежестью.

Сам же Степан Александрович повязал белым полотенцем голову, опустил ее на высокую подушку и тяжело, с шипением задышал, кашляя порой. Что-то пил из средних размеров бутылки, деликатно шумел ингалятором.

И не было в его движениях ничего раздражающего, тревожащего, суетливого, и под их негромкий

шорох, думалось, я мог бы легко заснуть или просто так отдыхать, ожидая сна.

Улучив мгновение тишины, произнес:

— Спокойной ночи.

Вместо ожидаемого «спасибо» услышал:

— Рановато... Еще баба Лиза убирать придет, и Роман Петрович не вернулся.

— Роман Петрович — тихий, его не услышишь, — сказал Степан Александрович.

— Я не о тишине, о человеке. Любитель он воздуха... Будь моя нога, как у людей, и я воздух любил бы... Да и ты не валялся б круглосуточно со своими склянками да шумилками.

— Справедливо, — согласился Степан Александрович, — жил бы я сейчас на даче, среди растений и кислорода... Слушал птиц.

— Соловья?

— И соловья... У меня дача неплохая, от «Серпа»... И по соседству все наши. Михей Елизарович — сталь варил, а по годам на пенсию вышел... Мастер Вячеслав Анисимович... Теперь клубнику, смородину варят... Давние мы знакомцы, приятели, можно сказать, с молодости. В комсомол вместе вступали... Шустрые были ребята... И на пенсию в один год. Не отстаем.

Степан Александрович попробовал засмеяться и закашлялся.

Вспыхнул свет.

Вошла женщина с ведром и щеткой, обмотанной тряпкой из мешковины. Ее большая голова склонилась, словно под собственной тяжестью. Ноги с привычной легкостью как бы скользили по линолеуму.

Я узнал в ней женщину, убиравшую в столовой.

— Спите, дорогуши... Спите, спите... Баба Лиза не помешает... Раз-два — и чисто.

Говоря так, она мягко и широко водила тряпкой под койками, обмахивала наши тапочки, передвигала тумбочки. И все делала быстро, легко, без видимого напряжения.

Сказала мне:

— Привыкай, милый, ко всему привыкай. — Подняла с пола на стул посудину для анализа. — В туа-

лете и оставишь, на подоконнике. Баба Лиза утром и переправит в лабораторию.

— Спасибо.

Она продолжала оглаживать тряпкой синеватый линолеум, и пол с каждым ее размашистым движением блестел шире и охотней.

— Спи, милый, спи.

— Как там Свиридов? — спросил Степан Александрович.

— Плохой... Вряд ли до утра дотянет на кислороде. Свиридовская старуха вторые сутки сторожит, от кровати не отходит.

Баба Лиза мазнула еще раз тряпкой по влажному линолеуму, будто положила заключительный и самый важный мазок, после чего с ведром и щеткой направилась к двери.

Прежде чем выйти, погасила свет.

После уборки стало влажно и приятно свежо. Отдаленно возникло воспоминание: накануне воскресений и особенно праздников мать тщательно скребла и мыла полы, и их чистый запах был так же свеж и приятен.

Потускнело небо, сохраняя таинственную зеленоватость телевизионного экрана. Свет неба рассеянно распространялся в палате, вызывая неровный бегущий блеск невысохшего пола.

В ночной тишине, отделившей меня от новых впечатлений, сознание захватила главная и постоянно существующая подспудно мысль: о болезни. Весь день, — и бродя по скверу, и в столовой, и беседуя со Степаном Александровичем, и отыскивая Романа Петровича, и вспоминая тебя, — старался о болезни не думать.

Но и сегодня и раньше, а сегодня в особенности, несмотря на мои старания, мысль о болезни разрушительно набирала силу и теперь захватила мой мозг целиком. Малейшее прикосновение случайной боли к животу, груди, голове, печени ощущалось мною как начало конца.

Вместе с тем я знал: вначале рак вовсе не ощущим.

Попробовал представить Свиридова, который, по

словам бабы Лизы, совсем плохой, так что и до утра вряд ли дотянет.

Свиридова представить не мог.

Вполне явственно увидел Ариадну Марковну, ее веселые глаза, руки, летящую походку, волосы, собранные тугим узлом на затылке, курчавый завиток на шее. Ариадна Марковна на своем хирургическом веку повидала немало раков в самых различных местах человеческого тела. Меньше, конечно, чем Старик, но все же...

Об Ариадне Марковне хотелось думать. Легкость, обаятельная женственность, жизненная сила, исходившие от нее, мало того что успокаивали — вселяли надежду. Я верил Ариадне Марковне. И Старика верил. Мне хотелось, чтобы и Старик и Ариадна Марковна вместе оперировали меня.

Гарбузов зашевелился на койке.

Закашлялся Степан Александрович.

Я потянулся за снотворным и в это время увидел, как в поле раскрываются цветы. Они потягивались на стеблях и помахивали лепестками.

Светло, хотя самого солнца и неба нет. Луг с травами и цветами, пчелы, большие муравьи и река посреди луга. Пчелы и муравьи собирают в реке воду и летят к цветам. Муравьи летят так же, как пчелы, и хоботки у них есть, а все же они — муравьи, черные, темно-коричневые, лакированные, усатые.

Стою у реки. Рядом мой отец. Он старше меня, хотя я седой, а у отца ни одного седого волоса.

Отец в шинели и на костылях.

И вдруг — шипение, свист, грохот, будто тяжелый снаряд летел и на лету взрывался...

Со свистом кашлял Степан Александрович. Он сидел на кровати, упираясь спиной в подушку. Роман Петрович ползал по полу на коленях, шарил рукой по скрипящему линолеуму.

Я подумал: все еще сплю, но услышал:

— Под койку, что ли, закатился, небось и расколотся... Вот беда.

Свистящий хрип и кашель разрывали грудь, глушили голос Степана Александровича.

Гарбузов спал или лежал тихо — не иначе привык к такому шуму, смирился с ним.

— Цел,— сказал Роман Петрович, поднимаясь с колен.

Степан Александрович схватил ингалятор:

— Спасибо.

Я натянул пижамные штаны и вышел в коридор.

В курилке сидел в кресле на колесах человек и дымил.

Горели настольные лампы на сестринских постах.

Из распахнутой двери послеоперационной палаты слышалось:

— Петенька, ты у меня, миленький, совсем разбумберился. Спи уж, милый, спи.

Когда я возвращался в палату, человек в кресле на колесах остановил меня:

— Закури.

— Не занимаюсь.

— Ты с чем лежишь?

Я пожал плечами.

Но ему и не важно было знать, что со мной, он желал рассказать, что с ним, поделиться, посоветоваться, услышать голос сочувствия.

— Желудок у меня. Полипы.— Человек усмехнулся:— Здесь у всех полипы... А кто их видел, полипы эти? Врачи разве скажут? Все совсекретно, как в почтовом ящике. Твоя хвороба, а тебе — ни гу-гу правды... И не узнаешь, от каких вирусов дашь дуба.

— Не так, брат, все просто... Врачи не обязаны все, как есть, говорить. Не имеют права все говорить.

— А зачем играть в прятки? От меня мое прячут. Смешно. И у тебя полипы?

— Еще неизвестно,— сказал я.

— Операция мне назначена. А зачем? Пока ем, пью... курю вот.

Заметив, что я потянулся к двери, несильно ухватил мою руку.

— И наука не дремлет, продвигается... Лет пять моя болезнь потерпит? Как? А там, глядишь, лекарство откроют... Есть такое лекарство: трава, корень, водоросль... В природе все существует — и яд и противояд. На всякий микроб враждебная бацилла или вирус имеются. Найти надо, нацелить... Я науке

верю... Не дамся я ножу... Ты по-человечески рассуди: нож — последнее дело... Не бойся, скажи. Ночь сейчас. Одни мы. — Он жадно затянулся, продолжал выжидаяще смотреть на меня сквозь сигареточный дым. Потом швырнул окурочек в урну, плюнул вслед, сказал: — Ладно, иди, не мучайся чужим горем, своего достанется. — Улыбнулся с беспомощной ласковостью ребенка.

При свете настольных ламп и вспыхнувшей напоследок сигареты я увидел костлявое, темное, с колючим, беспокойным взглядом лицо, обросшее мелкой белесой щетиной.

— Иди, друг, а я подумаю. Еще подумаю. Есть о чем подумать... А хирургия тоже наука, — не то спросил, не то подтвердил он себе самому.

— Наука, — на всякий случай сказал я.

Форточка и половина окна, та, что ближе к койке Степана Александровича, широко открыты. Он спал носом вверх, посапывая во сне. Роман Петрович лежал на правом боку. В прибывающем свете зари чернел ус. Одну ногу Роман Петрович согнул в колене, точно намеревался бежать.

Андрей Васильевич Гарбузов сидел на койке, поглаживал правую ногу. Он уставился на меня немигающими глазами. Глаза как бы окаменели. Было больно видеть их напряженную неподвижность.

Гарбузов поглаживал опухшую ногу и качал головой, будто молился. Потом поднялся с кровати и в голубовато-сером белье, без костылей заковылял к двери. Вернулся, ткнул в рот папиросу.

Садовый воздух из форточки и отворенной половины окна помог мне уснуть и без особых сновидений спать до семи часов утра.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

Вода в лужах пузырилась, посвистывала. Очищенный от пыли воздух вливался в легкие, пробуждая желание петь.

Я вовсе забыл, где нахожусь.

Мог бы час, два, весь день смотреть на водяные пузыри, на освеженную зелень, на двор со штабелями досок, мотками проволоки, битым и целым кирпичом, металлическими лесами.

По двору бежала кошка, брезгливо отдергивала от воды лапы, высматривала укрытие. И хотя кошку, как все вокруг, старательно и охотно поливал дождь, она выглядела сухой.

Дворник в черном плаще и кирзовых сапогах, в широких синеватых штанах с цыганским напуском, в сбитой на затылок кепке быстро и толково двигался с метлой.

Закончив подметать, дворник вытряхивает мусор из дворовых урн в ушастый железный ящик, походя подбирает с земли обломки дерева, обрывки бумаги, тряпицы, осколки стекла.

Всем лицом, открытым, как солнце в безоблачный день, дворник улыбается дождю.

И мне захотелось так же независимо и легко ходить с метлой по хлюпающим пузырям.

Двор становился чище и глаже.

Кошка умывалась с лапы дождевой водой, с надеждой поглядывала на клочки синего неба в луже. У самой стены диспансера, где сухо и даже пыльно, женщина в больничном халате машет руками во все стороны. Перехватив мой взгляд, говорит:

— Чтоб кости не застыли.

Движения ее не очень отчетливы. Возможно, женщине неловко, что я наблюдаю.

— Воздух-то какой умытый... А в палате задохнешься: фрамуги нету, форточка всегда закрыта. Сквозняка страшатся. А где он, сквозняк?

Лицо у нее сморщенное, бледноватое, с редкими розовыми крапинами.

— Два месяца я здесь... Устала... Надоело... И когда-то еще — конец.

Дворник взял на плечо метлу и, размахивая совком, зашагал в сквер. Я направился вслед.

Деревья глубоко и чисто дышали.

Постелив на стол газеты, больные играли в карты.

За сквозной оградой грохотали трамваи, торопились по своим разнообразным делам люди, обыкновенно жил великий город, а этот кусок земли с двумя

зданиями — старым и новым, со сквером, столом, скамьями, этот малый кусок земли был островом, решительно и всесторонне отгороженным от мира, отгороженным и отторженным болезнью. Собранные сюда болезнью женщины и мужчины лишились возможности работать, жить под одной крышей с родными и близкими, любить, наслаждаться, огорчаться и не думать о смерти.

Большинство больных ни внешне, ни своими потребностями и чувствами неотличимы от остальных людей, и удивительно поэтому видеть в утренний час, как взрослые мужчины за большим столом мечут на подмоченные газеты захватанные карты, азартно выкрикивают странные слова, хотя все они — рабочие, учителя, инженеры, артисты, ученые, художники, журналисты — привыкли с утра делать совсем другое — важное, очень нужное для всех и особенно для себя дело.

А как вернуть больным настоящую жизнь, вырвать их из этого неестественного, смешного, несуразного существования?

— Серединкин, ты похож на Чемберлена, вообще на поджигателя войны.

Серединкин, в очках с одним правым стеклом и с круглой аккуратной фанеркой вместо левого, сдавал карты. Он стар, худ до костлявости, мал ростом. Зрячий его глаз блестит из-за стекла, став от одиночества лукавым и хитрым.

— Глупо, — сказал Серединкин, продолжая сдавать карты, — глупо и не смешно.

— Тебе не смешно, а мне смешно, — говорил ночной человек, решивший дожидаться лекарства и ни в коем случае не ложиться на операционный стол. Имя человека — Николай.

Зашумели крыльями голуби, воробьи.

Из кустов, как из-за кулис, выгнув спину, неслышно появилась кошка. Готовясь к прыжку, она припала на передние лапы, ее правая лопатка осела, точно сжатая пружина... Миг, и зверь древним движением львов и тигров взлетит за добычей. Дымчатый

кот, появившийся невесть откуда, презрительно фыркнул, чем и обратил хищницу в бегство.

— Кот-альтруист.

Слова эти произнесла девушка. Туго поднятый воротник халата закрывал ее шею, что делало девушку похожей на испанок Гойи. И глаза у нее черные, умные, горячие, в припухших веках. Ее стройная молодость поразила меня.

— Мне знакома эта одичавшая кошка и три ее подруги. Они живут в кустах жимолости. Там у них нора или дом. Я сама видела: кошка, уходя последней, запирает нору, а ключ прячет в условленное место.

Девушка не улыбнулась, сказала:

— Странно, почему кот спасает голубей?

— Возможно, он бережет их для себя?

— А ведь верно! — обрадовалась девушка. — Теперь мне ясны корни его доброты. Он всегда сыт. Даже вареной любительской колбасы не ест. Иногда я встречаю в траве птичьи скелеты... Впрочем, все целесообразно в природе.

— Кроме болезней.

Я сказал так и в упор разглядываю девушку, стараюсь понять, чем она больна. Но она, пожалуй, не замечала моего любопытства, смотрела на голубей и притаптывала ногой влажную землю.

— Голубь-самец красив, ярк, имеет броское украшение на шее, на голове, на хвосте. Вы думали или знаете, почему так?

— Нет, — сказал я.

— Видимо, чтобы привлечь внимание голубки. Она же свою привлекательность несет в себе.

— А может быть, броская яркость самца отвлекает врагов от самки, сидящей на яйцах. Вы видели ослепительный хвост павлина? Павлин заслоняет им свою подругу и павлинят. Глазастым пылающим хвостом отпугивает врага.

— У людей все по-другому, — сказала девушка. — С малых лет женщины украшают себя металлом, стеклом, камешками, красками, цветной одеждой.

— Все началось с татуировки. А татуировка была привилегией воинов, их знак отличия, так же как кольцо в носу или в ушах. Женщины значительно

позже и с другой целью стали красить лицо и тело, носить кольца, браслеты. Вы не согласны?

— Почему же? — сказала девушка.

Я ждал: она заговорит о своей болезни.

Она сказала:

— В такое утро, как сегодня, особенно сильно ощущаешь связь человека с природой. И не только люди рады этому утру. Смотрите, как веселы голуби, воробьи, кошки... И вовсе забываешь о болезни...

Несмотря ни на что, девушка помнила о своей болезни. И в такое утро не могла забыть. В такое утро особенно помнила. Так невозможно иной раз вырвать из памяти приставший мотив или куплет романса, строку стихотворения.

Девушка подняла воротник халата, придерживая его пальцами у подбородка, будто ей зябко. И тут я заметил под ее левым ухом опухоль. Девушка проследила мой взгляд, покраснела.

— Мне уже пора, — сказала девушка. — Предстоит процедура. Извините, пожалуйста.

Я кивнул.

Она легко, гибко удалялась. В ее походке было что-то кошачье. Молодое тело не сознавало грозившей ему беды, было счастливо и сильно.

Всякий раз, заходя в аптеку на московской улице имени Двадцать пятого Октября и удивляясь обилию лекарств на полках, в ящиках и пакетах с латинскими названиями, я думал: есть, наверняка есть среди сотен тысяч пузырьков, таблеток, трав, настоев, корней, мазей лекарство и от моей болезни, от любой... Или сочетание лекарств... До еды. После еды. Перед сном... Найти это счастливое сочетание... Из миллионов выбрать единственное: как Пушкин находил единственно точное слово, Чайковский — ноту, Репин — краску.

Впрочем, стихотворение, симфония, картина могут и не быть созданы, никто этого не заметит. Не прописано, не изготовлено, не принято вовремя лекарство — человек умрет, для него погибнут все уже созданные поэмы, симфонии, полотна.

Милая девушка, похожая на испанку.

И снова подумал: убив войны, их причины и следствия, человечество избавит себя от многих болезней. Возможно, это и есть самое необходимое профилактическое лекарство для людей.

Не случайно в эти дни, когда в нашем онкологическом диспансере, в других подобных учреждениях планеты люди мучительно переживают свою обреченность, когда здоровые люди в Азии и Африке умирают от бомб и напалма, а в испуганной крови живых возникают злокачественные клетки, — не случайно в эти дни в Московском Кремле собрались коммунисты всех континентов в поисках средства против бомб, газов, горя, нищеты, унижений, дискриминации, страха, всех причин, порождающих войны.

Роман Петрович, прихрамывая, спешил ко мне. Его синий, с оторванным, болтающимся карманом халат, заколотый на шее английской булавкой, развевался, как средневековый плащ.

— Вас ищет сестра... Вы забыли сдать кровь на анализ. Сестра просила вас срочно, до завтрака прийти в лабораторию.

— Вот ведь какое дело, погода подвела, — смутился я. — Простите за беспокойство, пожалуйста.

Мы со Степаном Александровичем вдвоем в палате. Андрей Васильевич Гарбузов поехал на облучение, а Роман Петрович — в сквере.

— Я на пенсии, — сказал Степан Александрович, — а с заводом не порываю. Завод — моя молодость, вся жизнь, если хотите. На заводе я начал вальцовщиком. Прокатка дело нелегкое, а привыкнешь — станет близким. Легкое дело любить долго нельзя. Всю войну из цеха почти не выходил. Тогда никакой нормы не было. Две смены отдежуришь, пожуюшь чего-нито, поспишь случаем в цехе где придется — и снова на пост. Глаза только уставали на раскаленный металл глядеть.

На фронте тяжело было, однако и нам доставалось...

Сейчас участвую в общественной жизни по линии

народного контроля. Должен заметить, что торговая сеть резко улучшилась, чем, к примеру, была лет десять назад. Ситцев, шерстей, трикотажей, шелков, разных чулок и прочего в этом роде — бери не хочу. А продтовары? Хлеба, сахара, масла, сыров, кефиров разных и самого молока — по требованию. Мясо есть, и колбасы имеются, но не в уровень с растущим спросом... Бывают и злоупотребления. Отдельные работники прилавка норовят и обвесить и обсчитать трудящихся, пользуются тем, что человек занят, спешит то на работу, то с работы и не всегда в силе-возможности до причины докопаться, а есть и такие, что не желают портить нервы из-за граммов... Проходят мимо.

Великое дело народный контроль! Однако обязан заметить: иной раз сами трудящиеся контролю недостаточно способствуют, даже мешают.

Я, к примеру, прикреплен к одному магазину по местожительству. В магазине меня все от уборщицы тети Капы до директора Алевтины Потаповны знают и не очень жалуют, прямо скажу: не очень. А почему? Ни на какие поблажки в форме безочередной колбасы, воблы, красной икры или мяса с черного хода я не падок. Мне моя совесть дороже.

Хотя и я любитель воблы и семья у меня есть, включая внуков. Один раз клюнешь на такую приманку — пиши пропало, с такого крючка своими силами не сорвешься.

Подышав в свой ингалятор, Степан Александрович продолжал:

— И на заводе без контроля дня не проживешь. Конечно, на заводе все по-другому. Стальной слиток или станок из цеха не вынесешь. Да и редко какой человек сук рубит, на котором сидит. Разве по преступной глупости и пустоте характера... Был у нас в ОТК Цмель...

Я хорошо понимал Степана Александровича. В силу своей справедливости и общественного назначения он не мог безучастно проходить мимо непорядков и нарушений, не решался он судить и людей с их разными лицами и характерами. Пожалуй, су-

дить он их и судил, но не беспощадно строго, вполне по себе понимая их жизнь.

Остановила мое внимание фамилия работника отдела технического контроля, названная Степаном Александровичем.

В молодости я работал в редакции газеты города Златоуста и часто встречал человека с такой фамилией. Златоустовский Цмель был начальником доменного цеха. Огнеглазый, с черными густыми бровями, громкоголосый и быстрый, он приезжал на завод в пролетке, запряженной караковой кобылой. И кобыла была ловкой, стремительной, чем-то похожей на Цмеля.

Случалось, Цмель и меня приглашал в пролетку.

По дороге на завод или с завода, где я бывал ежедневно, он рассказывал о домнах, о мастерах, горновых, говорил только о работе, полагая и пролетку — легкое рессорное сооружение на дутых шинах — и персональную кобылу, числящихся за доменным цехом, рабочим местом, где посторонние разговоры никак не допустимы. И анекдоты — Цмель любил их рассказывать — относились к разным случаям и обстоятельствам жизни цеха.

Впрочем, слово «цех» к домнам мало подходило, имело, пожалуй, формальный характер, никак не выражая сущности и величия доменного хозяйства. Домны скорее представляли собой сложного устройства город, и его жители с помощью огня и газа превращали шихту в кипящий чугун.

За кипящим чугуном приходилось зорко и хитро следить. Прежде чем стать слитками, обрести привычную форму и свойства, чугун в жидком виде по своему неразумению хотя и временной, но стихии мог натворить немало бед. И люди постоянно держали кипящий чугун под контролем. Несмотря на всю технику, толковые приборы, у доменщиков была очень трудная физическая работа. Лишь на сторонний взгляд заезжего журналиста она выглядела сказочно красивой, вызывала множество разнообразных ассоциаций, сравнений, метафор. Однако работа эта была и прекрасной, конечно, не искрами металлического пламени: каждая искра могла ослепить, болезненно обжечь тело, не будь оно защищено очками,

специальной одеждой и ловкостью, тренированной годами,—прекрасна конечной целью, сознанием ее необходимости, жизненной важности.

Цмеля можно было найти в доменном цехе в любом месте, только не в кабинете, если конторку, почти всю занятую письменным столом, позволительно назвать кабинетом.

Черная кожаная куртка Цмеля появлялась то на розливе, мгновеньем раньше, чем из летки выползал в канаву жидкий чугун, то на шихтовом дворе в часы загрузки печи, то в столовой доменщиков, то... Нет, не уважал Цмель кабинет и сидел в нем лишь по крайней необходимости.

Цмель мне хорошо помнится, с чуть вздернутой в белозубой улыбке верхней губой, с отчетливым хрустом кожаной куртки, с ременными вожжами в руке восседающий на пролетке и в пешем движении по доменной земле; и сами домны помнились; и весь город Златоуст.

В том году все доменные и мартеновские цехи страны состязались за право называться первыми, за красное знамя «Правды». И листок, который наша выездная редакция ежедневно выпускала, так и назывался: «За знамя «Правды».

Кроме Цмеля сквозь годы видится наборщик, он же верстальщик и печатник выездной типографии. Он умело выщелкивал на верстатке слова из литер. Не глядя, иной раз смеясь моему анекдоту или сам рассказывая веселую историю, продолжал извлекать цепкими пальцами свинцовые буквы из ячеек наборной кассы.

Гладкое, всегда чисто выбритое его лицо, розовая лысина, обрамленная, как подковой, курчавыми рыжеватыми волосами, возможно, еще и потому так запечатлелись, что я не раз диктовал наборщику срочные заметки.

То была удивительная пора свершений, взлетов, падений и новых взлетов, недоедания, громких газетных шапок, митингов, готовности умереть за революцию, коллективизации, кулацких вылазок... Шла первая пятилетка. Она была не только планом, выраженным столбцами цифр и лаконичных фраз, но и святой надеждой нашего поколения.

Степан Александрович продолжал говорить о Цмеле — работнике отдела технического контроля, о его справедливой строгости. Слова касались моего слуха, смыкаясь с вызванными ими образами, как искусный аккомпанемент сливается с голосом певца.

Вполне допускаю, что и Степану Александровичу важно было не столько мое внимание, сколько возможность самому поделиться воспоминаниями и мыслями, беспокоившими его.

Я навел порядок в тумбочке и намеревался пойти в сквер, как пришла Ариадна Марковна. Слово «пришла» не совсем точно передает движение докторши. Я ни разу не видел, чтобы она шла, шагала, нет, она парила над землей, почти летела, окрыленная жизнью, как бы готовая поделиться переполнявшим ее здоровьем с каждым из нас, как донор делится своей кровью.

Она влетела в палату, размахивая глянцевой папкой, совсем как школьница размахивает портфелем в апрельский день, когда весь класс вдруг отпустили домой на два часа раньше срока. Она всячески старалась выглядеть безмятежной. Но синеватые тени под глазами, издали казавшиеся карандашной подкраской, вблизи оказывались следами усталости, а возможно, бессонной ночи: Ариадна Марковна была давеча дежурной по диспансеру.

Я невольно поднялся с корточек, оторвался от тумбочки и стоял — руки по швам — словно перед командиром.

Она улыбнулась, сказала:

— После обеда, Алексей Владимирович, я обязательно вас разыщу, и мы снова займемся... А с вами, дорогой Степан Александрович, сегодня расстанемся. Уверена: все будет отлично, и тем не менее прошу, месяца через два-три покажитесь. Это очень важно, и не столько для вас, сколько для меня.

Она поглаживала папку, и на глянце картона рука Ариадны Марковны виднелась голубоватой, очень женской. Глядя на тонкие пальцы, розовые ногти, думал: будет ли и меня резать эта милая, изящная рука?

Степана Александровича эта рука оперировала, теперь он здоров, благодарно улыбается, счастливо кивает головой, подтверждая готовность прибыть в любой день и час на осмотр.

— Документы, Степан Александрович, получите у старшей сестры.

Ариадна Марковна кивнула попутно и мне и удалилась, оставив в палате летучий запах не то духов, не то лекарств, а скорее, того и другого.

— Халат я передаю вам.

— Зачем?

Степан Александрович засмеялся:

— Не беспокойтесь... Я его почти не носил. До операции лежал и после операции... лежал. Астма. Сердце... Сегодня вот ухажу... Не надеялся... Хотел поблагодарить, а не смог, разволновался... А халат возьмите... Вечера бывают прохладные.

Я примерил халат. Он был мне как раз, добротный больничный халат из фланели цвета морской волны.

Полная, нестарая на вид, серьезная женщина вошла неожиданно и неслышно. Осторожно обняла Степана Александровича, поцеловала.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

Смотрю сквозь густую листву на встревоженный мир. С нарастающим звоном катится трамвай. Быстрые тени листьев мелькают на его ускользящих алых боках, на желтой округлой крыше, на радужном блеске стекла.

Оранжевая «Волга» въехала в тень, темно позеленела.

На бурой стене четырехэтажного дома вывеска со стрелой-указателем: «Бани».

Цветы жимолости, тополя, желтые акации горьковато пахнут.

Из густоты кустов сверкают глаза. Они живут как бы сами по себе, только глаза, неподвижно пригвожденные зрачками к глубокой тьме. Проявляются контуры сибирского кота с длинными, словно подвигнутыми волосами на груди. Серая седина его шеи напоминает воротник или ошейник из брюссельских

кружев. Глаза то широко раскрываются, то сжимаются, будто на пружинках.

Землю, засоренную обломками стекла, кирпича, обрывками проволоки, конфетными бумажками, окурками сигарет, украшают желтые и белые одуванчики.

Синеватые лопухи растут по соседству с глянцевыми, точно резиновыми листьями подорожника.

Думаю о многоцветной красоте земли, о жене Степана Александровича, полной, строгой женщине, о том, как она бережно, с ласковой опаской обняла, поцеловала Степана Александровича, а потом повела к выходу, ступая чуть впереди, словно прокладывая дорогу, и что-то шептала ему на ухо.

Мысли перемежаются, задевая и подтягивая одна другую, и каждая мысль оставляет след, как пролетающий в небе реактивный самолет.

И о чем бы ни думал, мысль о тебе постоянна, как желание жить.

Ты сейчас в далеком городе, среди новых, на сваях, домов, опоясанных упругим металлом, среди прохладных, затененных арыков. И поблизости от тебя живут люди, похожие на Романа Петровича, в расшитых тюбетейках, в широкополых кремово-белых войлочных шляпах.

К ограде подошел человек, сказал:

— Ровесник, слышите, ровесник! Хорошо здесь кормят? Хочу ложиться и — не знаю.

Я положил на скамью книгу стихов Аполлинера, раскрытую на 42-й странице, ответил:

— Четыре раза в день... Обед из трех блюд... Бифштексов, шашлыков, правда, не дают. Цыпят табака тоже. Курица бывает.

Подошедший был худ, заострен, его голубые глаза беспокойны.

— Погожу, пожалуй, до осени, до холодов. Сейчас в больницах скучно. Всюду солнце, трава, овощи, ягоды... А в больницах что? Анализы, уколы, процедуры... У меня в легких затемнение... Нет, не туберкулез, он-ко-ло-ги-чес-кое... — произнес он по складам и с любопытством глянул на меня, словно прове-

рая впечатление от своих слов.— Мой это диспансер и в профиль и анфас... А я погожу до осени. Ничего, предполагаю, не случится.

Он провел рукой по груди. Из расстегнутой за галстуком сорочки иголисто торчали серые волосы. Оглянулся:

— А так здесь неплохо: садик... птицы... кошки... В любой момент жена навестит.

Заоградный человек повернулся, и, как в сказке, появилась лиловая в черных горошинах женщина с хозяйственной сумкой в руке.

— Ты звал меня, Федюня?

— В мыслях,— сказал человек.— Подумал о тебе.

— Кормят здесь неплохо, не сомневайтесь,— сказал я.

Когда человек с ласковым, детским именем Федюня поднялся со скамьи, его жена уже приготовилась сделать первый шаг в любом направлении.

— Осенью приду наверняка... Возможно, и вас застану... А вы с чем лежите?

И, не дожидаясь ответа, Федюня пошел впереди жены.

Припекало.

Я перебрался на другую скамью. Яблоневые ветки козырьком нависли над моей головой.

Неподалеку, на соседней скамье, отделенный от меня кустами и деревом, сидел Роман Петрович.

Он поглядывал на дорожку в движущихся желтых бликах и, словно стараясь избавить себя от неуверенного ожидания, то отворачивался к открытому альбому, долго смотрел в него, листал, то, запрокинув голову, обращал взгляд сквозь просветы между листьями яблони в небо.

Я взял со скамьи «Стихи» Аполлинера, все еще раскрытые на 42-й странице.

О июнь! Раскаленная лира
Пальцы жжет мне лучистой струной,
Бред певучий расправил ветрила,
Мой прекрасный Париж предо мной...

Словно поверх книжной стены виделся Роман Петрович. Он улыбнулся, привстал и как бы силой

вернул себя на скамью: сквозь тени и свет, по желтым круглым бликам дорожки к нему приближалась женщина.

Роман Петрович вскочил, потянулся к идущей.

Люди рядом со мной не обращали внимания на Романа Петровича. И не имело значения: уйду я или останусь. Мне же уходить не хотелось: и место удобное, тенистое, безветренное, да и любопытство мешало.

Роман Петрович, не глядя, опустил альбом на скамью, обнял плечи женщины, поцеловал в щеку, в губы, усадил, а ее сумочку положил на альбом. И смотрел на женщину. Только смотрел.

Она была не молода и не модно одета. Однако костюм синева-серого, под цвет ее глаз, оттенка был уместен на ней.

Теперь с их скамьи доносились слова:

— Ты не прав... Ты один... один... во всем... Клянусь... не прав...

В ее голосе назойливо повторялась раздраженная нотка. В паузы проталкивались слова Романа Петровича:

— Зачем ты об этом... сын... деньги... стоило приезжать?

И снова женский голос заслонял слова Романа Петровича.

На их лицах уже не было улыбок.

Женщина прижималась к спинке скамьи, смотрела неподвижными глазами перед собой. Случалось: поправляла волосы, на шаривала на скамье сумку, искала в ней что-то, пудрилась наспех, как перед отходом поезда, подкрашивала губы.

Видно было: Роман Петрович тянул руку по спинке скамьи, будто хотел обнять или погладить плечо женщины, вернуть ей улыбку. Женщина отодвигалась.

— Ты не понимал... не желал понимать... Жалею... буду всегда жалеть... Зло и необратимо...

Было что-то театральное, искусственное в ее словах.

Ветер потряхнул деревья, и они зашумели. Роман Петрович покраснел, затем побледнел. Его пальцы ворочались на синих коленях, словно хватали воздух.

Теперь женщина стояла и слепо втыкала черные шпильки в прическу, вытаскивала и снова вонзала их в волосы.

Я никак не мог понять: красива она или безобразна. Лицо ее краснело пятнами, глаза узились и болезненно блестели. Было что-то отталкивающее в ее позе, в ее неловких, как бы произвольных движениях.

Мгновениями же она казалась прекрасной.

Роман Петрович говорил. Она пыталась оборвать его слова. Он продолжал говорить.

Еще резче чернели на побледневшем лице усы, запали глаза. Напряженные пальцы лежали на спинке скамьи, точно цеплялись за нее, чтобы не дать женщине вскочить, ударить, упасть. И вдруг в шум ветвей, в лязг и звон неожиданного трамвая ворвалось высокое, женское:

— Сволочь!

Роман Петрович вскочил, расщепил на ворота халата булавку, так же нервно защелкнул ее, снова сел, застучал мелко пальцами по спинке скамьи.

Женщина уходила. Иногда опускала голову, иногда из-за плеча, по-птичьи подсматривала за Романом Петровичем. И лицо и глаза ее обмякли, постарели, ждали.

Роман Петрович все стучал пальцами по зеленой спинке скамьи.

Женщина ушла.

Он поднялся, пересел на мою скамью. И хотя сразу меня увидел, ничего не сказал. Взял Аполлинера, полистал.

— Наблюдали?

— Да,— сказал я.

— И слышали?

— Мало.

— Это моя жена,— сказал он.— Я люблю ее.— И почти сразу же: — Пойду. Меня ждет Ариадна Марковна... Никогда не назначайте в один день свидание двум женщинам.— Попробовал улыбнуться.— Сегодня мне несколько нездоровится. А я уж думал, начал думать: все будет хорошо, ошиблись врачи... К сожалению, врачи редко ошибаются.

Взгляд его наткнулся на раскрытую страницу:

Нет, я не тот, совсем не тот,
Что прежде.
Теперь я арестант, и вот
Конец надежде.

Он усмехнулся, захлопнул книгу, вернул ее на скамью. Двинулся против ветра, кланяясь ветвям яблонь, раздвигая покорные вишни с запоздалыми цветами.

Я вспомнил: сегодня операционный день и вряд ли Ариадна Марковна успела освободиться. Могло конечно, быть и другое: Роману Петровичу хотелось догнать женщину, свою жену, которую он любит, увидеть ее еще раз, пусть издали.

Теперь я арестант, и вот
Конец надежде.

Блеклый, полинялый халат Романа Петровича в перемежающихся полосах света и теней напоминал арестантский с известной картины Ван-Гога.

На мою скамью села старушка. По ее желтой хозяйственной сумке пружинисто катились блики солнца. По сосредоточенным морщинам, по бледным губам старушки скользила улыбка. Губы шептали. Шепот был неразборчив, на отдельные слова и звуки не разделялся, напоминал слитный шум невидимой реки, дальнего леса. Глаза из-под приспущенных век старательно смотрели в сумку, откуда ее худые, не по росту большие руки ловко и аккуратно брали свертки, банки, баночки.

Пришел старичок в зимней поистертой шапке, в черной пижаме с желтыми воротником и манжетами. Был старичок сух не деловитой сухостью старушки, а болезненной, изможденной, о такой еще говорят: кожа да кости.

Приблизясь к старушке, он засиял весь, и даже иссера-желтая, давно не бритая худоба его лица стала менее заметна. Старичок позвал:

— Тасинька.

Как-то уж очень легко она поднялась, вроде бы подпрыгнула, обняла старичка, поцеловала в губы, в щеки, и он поцеловал ее. Стараясь улыбнуться, она

вытерла глаза, сразу же села, и старичок поместился рядом.

Касаясь тонкими пальцами банки, свертка, а то и бережно приподымая их, она говорила:

— Здесь мясо жареное... Яичек пять штук... Апельсины. Мелкие, а полные, такие и искала... По одному целиком съедать будешь... Свежая рыбка... вку-у-усная, еще теплая. Только сварила... Ты потрогай, потрогай.— И она взяла легкую руку старичка, приложила к банке, будто он был слепой.— Клубника с сахаром... Лимонов вот нету, всю Москву изъездила... Еще поищу. Найду.

— Ты бы мне клюквы с сахарком, морсу кисленького.

— Принесу, Вася, и клюквы и морсу, еще сегодня принесу, вечером... Ты потерпи, Вася.

Он ничего не сказал.

— А здесь сметана... огурчики в пупырышечках... Запах-то какой!

Меня они и не замечали вовсе. И раньше не заметили, и сейчас, когда я поднимался со скамьи.

У них была своя жизнь.

Я поглаживал левые ребра, пытался успокоить боль. Не удавалось. Ворочался с боку на бок, неясно довольный, что могу выбирать любое положение, никого не беспокоя, не тревожа.

Забылся...

Дверь впустила Андрея Васильевича. Он толкнул костыли в угол, вскользь глянул на меня.

— Не спите? Замотался я вконец. Восемнадцать раз облучали, толку ни на гвоздь. Болит... Не боитесь? Гляньте.— Он поднял пижамную штанину...— И ноет, и тянет, и растет. Сюда пришел — орешком торчала. Эвон как вымахала!

Заковылял к своей койке. И сразу утих. Удивительная у Андрея Васильевича способность: затихать, исчезать в тишину, не мешать другим.

Несведущий может подумать: Андрею Васильевичу хорошо, спокойно. А ему тяжело и больно вот уже несколько месяцев, и боль растет, и привыкнуть

к ней невозможно и невероятно, как нельзя привыкнуть смотреть в незащищенный свет электрического фонаря.

И только по его посеревшему, цвета золы, лицу, по глазам в напряженной паутине розовых прожилок, густо подведенных морщинистой синевою, по дрожащим, бледным, словно вылинявшим рукам можно догадаться, что испытывает Андрей Васильевич днем, лежа в постели, и по дороге на облучение, и ночью, среди тишины, что лишь на первый слух — тишина, а вскоре оборачивается покашливанием, стонами, храпом, трамвайным звоном, шарканьем шин, случайными вскриками, хлопаньем дверей.

Изредка глубокой ночью Андрей Васильевич уходит курить.

Слышу его вежливые шаги, шорох которых замирает при малейшем стороннем шуме.

Часа два-три он спит с помощью снотворного. Снотворное вкалывает Андрею Васильевичу сестра Люба, полная блондинка с широко раскрытыми удивленными глазами.

Иногда уколы делает Гриша, студент, подрабатывающий в должности медицинской сестры. И хотя Гриша с виду неуклюж, не улыбочив, он легок на руку: колет почти безболезненно.

Случается, и я встаю спозаранку и вижу голубоватое, точно фарфоровое в июньском рассвете лицо Андрея Васильевича. «А вдруг он умер... Невслышно перешел из одной тишины в другую», — думаю я.

Чем занимается Андрей Васильевич? Вернее — занимался до болезни?

Его жену я видел: лет пятидесяти пяти, грустная, усталая, с мягкими, плавными движениями.

Они подолгу шептались в палате или уходили в сквер, сидели там на скамье среди людских голосов, голубинового гульканья, шороха листвы.

Бывает, что вместе с женой к Андрею Васильевичу приходит девушка или женщина лет восемнадцати, не более, с лицом библейской красоты, не строгой, а мягкой, радостной, озаряющей. И тишина расходилась от них по скверу, захватывая, подобно кругам на воде, все больше пространства.

Андрей Васильевич выщелкнул из пачки папиросу, опустил на спичечный коробок. Папироса покачалась на коробковой этикетке — ярко-желтом подсолнухе с черной, похожей на пчелиные соты, семечковой сердцевинкой — и замерла.

Вместо резкой боли под левые ребра вернулась тупая, давящая тяжесть. И эта привычная боль не мешала, а была, пожалуй, приятна, как избавление от недавних, разрывающих нутро ощущений.

— В своей жизни я был и парикмахером, — сказал Андрей Васильевич. — Специальность вежливовопросительная: «Вас побрить? Постричь? Массаж? Одеколон?» С первых дней войны обслуживал командира стрелковой роты капитана Алимова. Брил его в любых условиях фронтовой жизни вот этой бритвой.

Андрей Васильевич покопался в тумбочке, достал кожаный футляр, открыл. На потертом, когда-то алом бархате тускло поблескивал благородным стальным жалом бритвенный обглодыш «золингена». Андрей Васильевич погладил пальцем полированную временем каштановую ручку.

— У капитана Алимова росла жесткая, густая, лессинья-черная борода. Утром ликвидируешь ее под корень, к вечеру она тут как тут. Таких бород во всем мире осталось не более десятка.

Другая бритва сломалась бы, затупилась об алимовскую бороду, а эта, — он еще раз тронул пальцем юркую кожу футляра, — эта выручала. И заметьте: брил я почти холодной водой. Мыло на ветру загустевало... Что-то в этой бритве такое... Ей-богу. Три минуты — и вместо черной стерни гладкая блестящая кожа.

Желаете, побрею?

Меня ранило в правое бедро... В госпитале я все думал об Алимове: кто его бреет? Об его бороду безостановки рвались с треском, как коленкор.

— Вас ранило в правое бедро? И опухоль на правой ноге. Не потому ли?

— Все возможно. Только мне не легче.

Андрей Васильевич помял пальцами папиросу. Ухо высеялись на футляр бритвы мелкие табачинки...

ПЯТАЯ ГЛАВА

Студент Гриша, исполняющий обязанности медицинской сестры, позвал меня в перевязочную. Он шагал рядом, его похожая на пилотку белая шапочка кокетливо сдвинулась на правую бровь.

В перевязочной густо пахло лекарствами, особенно йодом, эфиром. Гриша предложил мне лечь на кушетку и туго перевязал круглой резинкой мою правую руку выше локтя.

Когда лиловая вена достаточно вздулась, Гриша ловко вонзил в нее полую иглу, подставил пробирку и посоветовал отвернуть голову к стене.

— Зачем? — спросил я.

— Некоторые боятся крови, не выносят ее запаха.

— Я не боюсь.

— Порядок, — сказал Гриша и избавил вену от иглы. Все же, как Гриша ни старался, кровь попала на мою рубаху.

— Сожмите руку в локте и держите так пять — десять минут... Белье смените.

Поблагодарил Гришу и пошел в палату. Чуть кружилась голова. Я забыл спросить, где можно сменить белье.

Если ты одна в гостиничном номере и твое окно с четвертого или хотя бы с третьего этажа открыто в зеленый город, а возможно, и на реку, я счастлив. Утренний сон крепок при распахнутом окне, при первом солнце, под птичьи песни. Ты проснулась, лежишь, ловишь взглядом солнечного зайца, выскокившего из шкафного зеркала. Или стоишь у окна, и перед тобой потягиваются растущие дома, лениво плывет река, сбрасывая на плаву клочки похожего на хлопок тумана.

Все это, конечно, в том случае, если ты в отдельном номере на четвертом или на третьем этаже с видом на реку и на восток.

А вдруг окно на втором или даже на первом этаже и выходит на рынок. Орут петушинные, овечьи, автомобильные голоса. Пахнет дегтем, керосином, ягодами, укропом, солеными огурцами.

Мне эти голоса и запахи по душе. Тебе они могут и не показаться. Во всяком случае, окно не распахнешь и не увидишь под этот гомон розовых и тем более золотых снов.

Ты не любишь писать из командировок, предпочитаешь звонить. Твой звонок споткнулся о длинные гудки: сво-о-о-бодно... И никто не поднимет трубку. «И он еще в отъезде», — подумаешь ты.

В столовой мое место свободно. Справа от меня — одессит Кагарницкий, слева — дядя Азат, татарин из Сергача. Роман Петрович пока не пришел.

Кагарницкий слабо улыбается. На его лице улыбка выглядит беззащитной. Он принес желтую прозрачную пластмассовую коробку с копченой колбасой, кусочком курицы, ломтиком сыра. Нюхает, морщась, то, другое, третье, пробует, запивает чаем. И говорит тихим голосом об Одессе: какой это необыкновенный город! Одно Черное море чего стоит! А белые акации! А бульвары! А рынок!

Кагарницкий в детстве учился латыни. Он помнит наизусть стихи Горация. Кроме того, Кагарницкий закончил консерваторию по классу гобоя.

— Моя единственная дочь вышла за москвича. Ничего не поделаешь, пришлось покинуть Одессу и поселиться в Москве... Тем более внук... Мальчик отменных способностей, хотя и лодырь. — Кагарницкий пожевал губами.

Желтый сыр слезился в его пальцах.

В августовский день предвоенного года я гулял по дремотно-солнечным бульварам Одессы. Сквозь листву акаций, платанов пробивался синий свет Черного моря. Хотелось бежать к нему, обнять, хлопнуть по волнистой иссиня-черной спине, по животу, уж не помню, как оно там лежало в своем бассейне. И еще хотелось прыгать и петь.

Мне было немногим больше двадцати лет. Я и не предполагал в тот день, что в Москве есть или будет онкологический диспансер, и что такое онкология, не знал.

Черное море было прекрасным, и лестница к морю напоминала гомеровскую Грецию, храм Перикла, семь чудес света.

Кагарницкий сжевал слезу швейцарского сыра, сказал:

— Я пришел сюда Первого мая: в праздники легче устроиться. Первого мая мало желающих ложиться и в самую шикарную больницу. А я лег. В тот же вечер меня навестила вся семья во главе с внуком... Способный мальчик... Если бы он не был лодырем... Они развлекали меня как могли. Да и не так уж плохо было в нашем сквере. Все зеленело, и, если меня не обманывал слух, в кустах пел соловей.

Три дня привыкал я к режиму. Это оказалось нетрудно. Ходячий больной в любую минуту может выйти в сквер, на улицу, встретиться со всем городом, если весь город того пожелает. Седьмого мая, в День радио и телевидения, меня оперировали под местным наркозом. Теперь я получаю ежедневно дефицитные таблетки, мою кровь анализируют через каждые три дня, а в дополнение ко всему вкалывают не то В-1, не то В-15.

Короче: моя жизнь не мед и даже не постный сахар... И не назначают срока... Все зависит от крови. «При хорошем анализе,— говорят,— мы вас и часа лишнего не задержим... На вашу койку уже имеются кандидаты».

Кагарницкий встал. Пластмассовая коробка с остатками швейцарского сыра, плачущего золотыми слезами, половинкой червонного помидора и двумя-тремя колесиками темно-коричневой копченой колбасы вздрагивала на свету.

Седая стриженная голова Кагарницкого покачивалась, из ушей торчали серые волосы. Однако глаза старались улыбаться. Им это не всегда удавалось.

Подошел Роман Петрович. За два дня он осунулся, высох, зачерствел, будто вчерашний белый батон. Сегодня Обызову без труда можно дать лет пятьдесят шесть.

— Послезавтра,— сказал он,— Ариадна Марковна вмешается в мои внутренние дела.

— Вы скажете об этом жене?

— Не знаю... Какая важность, если я умру... Смертью не удивишь... Хуже: мне есть не хочется.

Он ковырял алюминиевой вилкой картофельное пюре, отколупывал пальцами мякоть черного хлеба и катал по клеенке шарики.

Решительно, по-солдатски размахивая руками, по холлу шагала Зинаида — сестра-хозяйка. Из-под ее короткого, очень белого халата виднелось платье цвета сосновой коры. Зинаида смотрела прямо вперед.

Было неловко ее беспокоить, останавливать, отрывать. Я пошел вслед за ней, и бордовое, словно йодное, пятно на рубахе придавало мне уверенности.

Зинаида отомкнула кладовую. Включила свет. Стала в дверях, почти задевая локтями косяки. Закрыла меня:

— Чего тебе, милый?

И хотя ростом она сантиметра на четыре пониже меня, вопрос ее прозвучал откуда-то свысока.

— Простите, я не знаю вашего отчества, неловко звать вас Зинаидой...

— Дорогуша, да зови как хочешь, меня не убедит... Не рассусоливай.

— Рубаху сменить.

Не поворачивая ног и туловища, Зинаида рванула что-то с полки, кинула мне:

— Грязную сунешь в ящик в туалете.

Я поблагодарил.

Роман Петрович сидел под яблоней. Рядом с ним на скамье лежал раскрытый альбом. На альбомном листе нарисована яблоневая ветка с цветком. К цветку летела пчела. Ее крылья бросили на лепесток прозрачную тень. Наполовину затененный лепесток трепетал. Пчела целилась хоботом в сердцевину цветка. Цветок жадно ждал.

В реальном мире существовали разнообразные ветки — с цветами и без цветов, с начальной завязью плодов, похожей на дремлющих мух; летали жужжа пчелы; подлинные тени, желтовато-оранжевые, подвижные, изменчивые, перемещались с яблонь на

вишни... Зеленое, золотое, пыльное и мокрое, розовое и агатовое двигалось вокруг.

На это обычное живое не так хотелось смотреть, как на рисунок, выхвативший из окружающей суеты одно движение.

— У вас много картин? — спросил я.

— Я писал каждый день, в любую погоду, в любом настроении, — сказал Роман Петрович. — Настроение приходило во время работы. Замыслы меня потрясали. Увы, на полотно все ложилось не так. Я приступал к новому полотну с надеждой осуществить наконец задуманное... И так постоянно.

Он усмехнулся:

— Послезавтра я могу исчезнуть со всеми великими замыслами... — Помолчал. Потом сказал: — Говорят, одна из причин рака — курение. Я много курил. Всего полгода, как бросил. А есть люди, знаю таких, курят по сорок, по пятьдесят лет. Дымят, как пароходные трубы. И ничего. И пьют. И жирно едят. Вас это удивляет? Меня — нет... Люди разные не только внешне. Есть организмы из суперматериалов, в них микробы и вирусы гибнут, как мухи на морозе.

Я несогласно улыбнулся: конечно, материал человека значит много. Гены и прочее... Однако организм можно закалить. И хрупкое стекло закаляют. Убежден: занимайся я с детства спортом, не кури с двенадцати лет, не увлекайся, чего греха таить, спиртным, не торчал бы я сейчас в этом сквере. Только войны было не избежать. И, несмотря на войну, все могло быть по-другому, бегай я, купайся, броди по лесам, хотя бы в выходные дни... Или, черт возьми, эта зарядка: «Вдохните... шагом марш... поставьте ноги на ширину плеч... раз... два... приступите к водным процедурам...» Я насмешливо выключал радиоприемник.

Майора Кускова отлично помню. В сорок первом ему было пятьдесят два. В любой мороз он обтирался снегом до пояса. Кусков выглядел тридцатилетним... Самый лучший люкс-материал придет в негодность от неряшливого обращения. И — средний, массового производства, заблестит, засверкает при хорошем уходе, тренировке, закалке. Жаль, я подумал об этом с опозданием в сорок лет.

Роман Петрович ударил носком черной туфли камешек. Камешек полетел в траву.

Роман Петрович ждет операции, и я жду операции, и Андрей Васильевич, и та женщина, которая боялась сообщить дочери... А в эту минуту в операционной Ариадна Марковна взяла стерильными пальцами скальпель...

Деревья далекого города кладут тебе под ноги свои тени. Мужчины встречают и провожают тебя равнодушными взглядами. Что ни говори, а приятно, когда на тебя так смотрят.

Я люблю тебя и верю тебе. Верю, потому что люблю.

Ты ничего не знаешь об Ариадне Марковне, о Старике, о Зинаиде — сестре-хозяйке, о Грише в белой пилотке набекрень, о Романе Петровиче. И хорошо, что не знаешь.

Когда все кончится, я тебе о них расскажу...

Ветер подбежал к нашей скамье, ткнул в альбом, принялся листать рисунки: дикая кошка прыгает на воробья... Глаза Ариадны Марковны... Спящий Андрей Васильевич... Степан Александрович слушает радио... Припавший на крыло голубь... Баба Лиза...

Отблески жизни, будто окна бегущего поезда... Вот и жена Романа Петровича: смеется, гневается, улыбается, грустит, смотрит вдаль. Во весь рост. В профиль. Анфас. И кленовое платье на ней.

Ветер с треском, с хлопаньем перелистывает альбом.

С последнего рисунка жена Романа Петровича сошла на аллею и медленно, полушагами приближается, готовая рассеяться, исчезнуть, вернуться в альбом. Роман Петрович покраснел, поднялся ей навстречу.

Я ушел.

Ариадна Марковна сравнивала анализы, кардиограммы, в который раз спрашивала о моих болезнях с детских лет, о недугах моих родственников со стороны отца и со стороны матери, а если помню, то и недомогания дедушек и бабушек с обеих сторон.

Я ничего не скрывал: в прошлом у меня было немало заболеваний, в том числе: малярия, ангины, корь, гепатохолестит. Были и ранения и операции... Во всяком случае, я представлял интерес для думающего врача.

Осмотр, тщательный, придирчивый, с пристрастием, подверг проверке все: от зева до прямой кишки и предстательной железы. И если к этому добавить рентгеноскопию грудной клетки и желудка, многочисленные анализы, то можно смело сказать: во мне и на мне не осталось белых пятен.

— Мы намеревались прооперировать вас на этой неделе. К сожалению, заведующий отделением доктор Гладилин на конференции... Могли бы и сами все сделать. Случай простой...— Она застенчиво улыбнулась.— И анализы неплохие. Но так уж у нас принято... К тому же мне хочется повторить анализ крови из вены.

— У меня брали кровь из вены.

— Не жалеете крови, Веденеев, она для вас же.

Вдруг Ариадна Марковна спросила:

— Вы видели «Братьев Карамазовых»?

— Две серии,— сказал я.

— Меня взволновал фильм... Книгу я хорошо помню, иногда возвращаюсь к ней... Фильм беспокоит по-другому, неистовей он, что ли?

Я так и не успел прочитать «Бесов», и «Дневники» не прочитал. А собирался, давно собирался. А сколько других непрочитанных книг осталось там, в жизни, на библиотечных полках да и в нашем шкафу. Я не только не прочитаю их, возможно, и не увижу. И новый детский сад возле нашего дома, и Большой театр с колесницей на фронтоне, и кукольный Образцова, и сосну в бурой и желтой шелухе.

В день моего отъезда в Курск мы вместе обедали. Ты наспех выпила компот из сухофруктов или клюк-

венный кисель. Нет, компот. Хорошо помню: ты выпила компот. Чепуха какая-то... Ты спешила на неотложное совещание. Ушла, махнув мне рукой. А вечером я уехал, на три дня всего. Не дождавшись моего возвращения, улетела в командировку и ты.

— Хорошо бы увидеть третью серию,— сказал я.

Ариадна Марковна писала историю моей болезни.

Она ободряюще улыбнулась моему желанию, кивнула, не отрывая шариковой ручки от бумаги. Я был благодарен ей за доброту, за отсутствие жалости, за интонацию, которая никак не подчеркивала разницу между нами. И то, что она, улыбаясь, писала историю моей болезни, радовало меня: все будет хорошо. Я с нежностью смотрел на Ариадну Марковну. Я верил ей.

Солнце светило сквозь зелень сада. В открытое окно вторгались запахи цветов, нагретых листьев — запахи лета. Все жило. И я жил. На какое-то мгновение я забыл о болезни, о том, что я в синей, линялой пижаме: какое это имело значение! Рядом, по другую сторону стола, сидела молодая красивая женщина в белом. В саду пели птицы. Я совсем не стар. Все еще впереди.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

Серединкин в очках с фанерным кружочком вместо левого стекла сообщил:

— На койку Степана Александровича поступит иностранец.

Серединкин все знает: и что сегодня на обед, и что завтра на ужин, и какая погода через неделю, и кому предстоит операция. Предсказания Серединкина обычно сбываются, и у нас нет оснований ему не верить. Да и специальность у него основательная: мастер металлического завода. Кроме того, Серединкин глубоко уважает хирургию. Он говорит:

— Я ножу верю... Враг в тебе завелся, тут его в самый раз ножом уничтожить. Под корень и бесследно. Нож — верное дело. Иностранца небось к нам кладут.

Слова Серединкина возмущают Николая:

— Нож — последнее дело. Я науке верю. Она свое скажет. Резать живот всегда успею.

— Смотри, Коля, не припозднись.

Отмахнувшись, как от мухи, от слов Серединкина, Николай глубже втягивает сигареточный дым и развивает мысль, которая его постоянно беспокоит:

— На Луну летают, на Венеру, на Марс в скором времени полетят. Сердце пересаживают. И к раку подберут ключи. Не могут не подобрать. Затем и диспансер создан. И онкологический центр построят в Москве. Слыхали?

— И читали даже, — отозвался Серединкин.

Мы беседуем на разные темы в курилке, и Николай, по обыкновению, восседает в кресле на колесах, предназначенном для тех, кому непосильно ходить.

Беседуем на разные темы и ждем иностранца.

Иностранцы в диспансере уже есть: негр, египтянин, индеец, кажется, или афганец. Они — в других отделениях, на других этажах. А мы ждем собственного иностранца на койку Степана Александровича.

Долгоносый, с выпуклыми глазами, с выдающимся животом, он открыл дверь в палату и, будто жил здесь десять лет, прошел к свободной койке. Она блистала белизной наволочек и пододеяльника. Сама Зинаида — сестра-хозяйка застлала вчера кровать. А Зинаида не станет сама застилать кровать без особого повода.

Иностранца в вошедшем узнать было нетрудно. Он походил на испанца, на португальца или бразильца.

Смотрели на него во все глаза: Андрей Васильевич со своей койки, Роман Петрович с голубого металлического стула и — я.

Мы старались показать, что рады его приходу, желаем ему быстрейшего выздоровления и всяческих благ. И молчали. Не представляли, на каком из полутора тысяч языков земли с ним объясняться, и вместе с тем не знали другого языка, кроме русского. Впрочем, это я не знал другого языка. Роман Петрович и Андрей Васильевич могли знать.

При крайней необходимости и я мог выговорить несколько немецких и французских слов.

Иностранец тяжело уселся. Застигнутая врасплох кровать скрипнула. Он озирался выпуклыми глазами и посапывал. На нем была такая же пижама, как и на мне, только цвета беж, причем его руки, волосатые, смуглые и, видать по всему, сильные, вылезли из рукавов почти до локтей. Зрачки Иностранца маслянисто чернели из синеватых белков.

За окном шумел ветер.

Деревья беспокойно хлопали ветвями по красной крыше. Было послеобеденное время.

— М-да,— промычал Иностранец.

«М-да» не имеет национальности, и мы не знали, как реагировать, чтобы не попасть впросак. Андрей Васильевич на всякий случай вежливо кивнул. Я сделал попытку выразить на лице крайнюю приветливость.

— Что, у всех рак? — спросил Иностранец.

Мы расхохотались.

— Что здесь смешного?

— Мы думали, вы иностранец,— сказал Роман Петрович.

Бывший иностранец засмеялся:

— Вы почти угадали: я живу в Останкине, на четырнадцатом этаже. Отдельная квартира из двух изолированных комнат, кухня десять метров, раздельный санузел, два встроенных шкафа, телефон... До «Седьмого неба» рукой подать.

Он поерзал на кровати.

— М-да... Если вы так хорошо отгадываете, угадайте, кем я работаю?

— Мясником,— сказал Роман Петрович.

— Смотри ты, в самую точку.

— Вы похожи и на академика, и на грузчика, и на мясника.

— Если вас интересует, меня зовут Яков Гаврилович Кафтанов,— с детской доверчивостью признался Иностранец.

Мы назвали себя.

— Вы как сюда попали? — спросил Кафтанов.

— Через поликлинику диспансера,— сказал я.— Почти пять лет состоял на учете.

— Меня срочно направили. Я не хотел, боялся,— сказал Андрей Васильевич.

Иностранец ждал, что скажет Роман Петрович. Роман Петрович молчал.

Я понимаю его. Не все ли равно, кто и как сюда попал, ежели завтра или послезавтра ему, Роману Петровичу Обызову, сделают операцию...

Поэтому Роман Петрович молчал. Возможно, он вспоминал женщину в светлом платье, свою жену, все хорошее, что между ними было. Есть время, когда в голову лезет только хорошее. И ничего другого. И плохое тогда оборачивается хорошим.

— А я попал сюда по знакомству,— спокойно и даже весело сказал Иностранец.

Я уже знал, что он — Яков Гаврилович Кафтанов, а мысленно продолжаю звать его «Иностранец». Не так-то легко избавить человека от прозвища.

— Ей-богу, по знакомству,— повторил он.

Это было достаточно смешно. Наш диспансер, с его не вызывающим положительных эмоций профилем, никак не вязался со словами «по знакомству».

Кафтанов не стал ничего объяснять, а мы не расспрашивали. Как-то не хотелось расспрашивать.

Кафтанов вдруг ойкнул, схватился за живот, рывком поднял рубаху, оголил живот в красных пятнах, словно обожженный.

— Так схватило... Ой! Спасибо грелке и горчичникам! Ой!

Пришла баба Лиза с ведром и половой щеткой, оперлась обеими руками на палку, сонно глянула на Кафтанова:

— Прибыл, значит, милый... Вот хорошо, и славненько, лечись на доброе здоровьице. А я мигом...— Присела на голубой стул у кровати, вздохнула: — Поцапалась я давеча с Зинаидой.— Она повертела головой, сонные ее глаза будто искали Зинаиду и под кроватями, и за несгораемым шкафом, и в углах. Баба Лиза и обычно говорила тихо, а тут еще убавила голос: — Из-за тебя, милый, поцапалась,— кивнула мне.— Видала я, как Зинаида швырнула тебе худую рубаху... Никакого глаза над ней. А нужен, ох как нужен.— Баба Лиза снова оглянулась.—

Получили новые пижамы. Две-три роздали... Остальные где?

— Больному что... Он рад лечению, а на одежду, обувь ему наплевать. Вылечили б,— сказал Андрей Васильевич.

— Правильно,— засмеялся Кафтанов.— А что делать? Жить надо же.

И непонятно было, относятся слова Кафтанова к Зинаиде или к больному человеку, готовому на любые лишения, чтобы выздороветь.

Баба Лиза тяжело посмотрела на Иностранца, поднялась со стула и молча зашарила тряпкой по линолеуму. Андрей Васильевич и Кафтанов пошли курить. Роман Петрович сказал:

— Не огорчайтесь, баба Лиза, справедливость восторжествует. Надо всегда к ней стремиться.

Баба Лиза вытирала пол. Мокрая тряпка широко, с присвистом двигалась по линолеуму, и пол блестел. И хотя баба Лиза ежедневно и не один раз в день протирает полы, она делает свою работу охотно и откровенно радуется чистоте и сиянию умытого пола.

Позвал Романа Петровича в сквер. Он ответил:

— Я тут немного наведу порядок в тумбочке.

А может быть, он остался поговорить еще с бабой Лизой о справедливости, написать письмо старому другу, нарисовать Иностранца. Какое мне, собственно, дело. Остался и остался.

Сегодня приемный день, и в палаты поднимаются мужчины, женщины, дети к родным и близким. В наш диспансер пускают посетителей без халатов. Это лишает диспансер официальности медицинского стационара, вносит в нашу стерильную жизнь разнообразие универсального гастрономического магазина. Лестничные площадки, палаты полны шума голосов, запахами огурцов, свежих и малосольных, помидоров, укропа, лимонов, жареных семечек, лука, апельсинов, колбасы.

В сквере настоящее праздничное гулянье. Отблески солнца в окнах, в осколках стекла, на шеях голубей, на тугой, словно полированной зелени; побед-

ные марши и танцевальные мелодии из транзисторов сливаются со звоном трамваев; многоцветна яркость одежды посетителей, больничных женских халатов и отдельных мужских пижам.

И звуки, и блеск, и краски движутся по кочковатым, переплетенным корнями деревьев аллеям, мимо скамей с благообразными и тихими больными и здоровыми людьми, мимо интимных молодоженов, разлученных болезнью, мимо долгого стола с прямыми углами, где в тени тополей любители карт, и в их числе Серединкин в очках с круглой фанеркой вместо левого стекла, азартно, с немалой силой хлопают картами по столу, стараются не уступить доминошникам, сражающимся на другом конце стола.

Я сидел на скамье и наблюдал: завязь плодов на яблоне, муху на вишневом листке, муравья на своем колене. Я видел трамвай за оградой. Хорошо прокаленный солнцем, трамвай излучал тепло. На соседнем дворе шатен в ярко-красной кофте, заправленной в брюки цвета морского ила, выколачивает желтым соломенным веником пыль из ослепительного фиолетового одеяла, повисшего на нейлоновой веревке.

Рядом с шатеном мальчик, тоже шатен, играет в золотой куче песка. Большой шатен поднял маленького и бросил в небо. Оба сели в песок и продолжают хохотать.

Позднее я увидел рядом с собой на скамье светловолосого человека в черной пижаме. Мне нравится его лицо, круглое, спокойное, бледное, и особенно глаза, добродушно-серые, в очках.

Не раз встречал этого человека в сквере.

Хочется заговорить с ним и как-то неловко.

Женщина швырнула голубям пригоршню хлебных крошек.

Птицы шарахнулись, чуть взлетели, и хромой голубь оттолкнулся крылом. Хотя голуби привыкли к людям, инстинкт, который сильнее привычки, заставлял их быть осторожными, недоверчивыми, осмотрительными.

Налетели воробьи, рассыпались среди голубей,

цапали большие куски, улетали, вновь возвращались или прилетали уже другие: поди разберись в птичьем базаре.

Я услышал:

— Голубь известен как птица любви и мира, а, по существу, голуби трусливы, драчливы и злы.— Говорил светловолосый сосед в черной пижаме.— Иное дело — воробей: шустр, ловок, самоотвержен. Я перечитываю сейчас «Стихотворения в прозе» Тургенева... Помните...— Он вынул из пижамного кармана небольшую, изящную книжку, полистал: — Ежели охота, послушайте.

Я согласно кивнул.

Почти не глядя в книжку, певучим, негромким голосом светловолосый читал:

— «Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки.

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой — и, весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти...

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке...

Мой Трезор остановился, попятился...»

Сосед закрыл книжку, сунул в карман, положил руку в черном с рыжим обшлагом рукаве на спинку скамьи, откинул голову, близоруко щурясь. При этом еще более проявилась восковая бледность его лица.

Женщина кидала и кидала хлеб. Она потчевала прежде всего голубей, о воробьях не думала, шикала на них, а воробьи, нимало не обращая внимания на шиканье, первыми хватали крошки, а один, самый храбрый или самый голодный, подскочил к скамье, вытянул серую пружинистую шейку, разинул клюв и почти требовательно уставился нахальными круглыми глазами в золотых ободках на женщину. И отчетливо виделось каждое его взъерошенное не то от напряжения, не то от страха перышко, и заметно

было, как вибрировали его тонкие узловатые лапки.

— Ах ты, болезный мой,— спохватилась женщина, увидев воробья, и накрошила ему ласково и осторожно хлеба.

К нашей скамье подошел паренек в белой нейлоновой с распахнутым воротом рубашке, плотно заправленной в брюки с раструбами, мотающимися над лодыжками. Почти девичью прическу белокурых волос дополняли бакенбарды. Но бакенбарды не делали лицо паренька мужественней.

Мой сосед улыбнулся:

— Здравствуй, здравствуй, Тимоша... В гости?

Белокурый пыхнул сигареточным дымом, сказал:

— К сожалению, не в гости, Михаил Сергеевич...

К сожалению... Доктор велел явиться завтра к часу. По всему видать, придется к вам.

— Места вроде имеются, сегодня двое выписались.

— Федор Павлантьевич лежит?

— Лежит.

— А Константин Иванович, дядя Костя?

— Умер Константин Иванович... На прошлой неделе умер.

Тимоша поджег зажигалкой погасшую сигарету.

— Вот так, Михаил Сергеевич... До встречи.

Затянутый в модную одежду, белокурый, в ореоле сизого дыма, просвеченного солнцем, Тимоша уходил по аллее.

Михаил Сергеевич сказал:

— Три месяца Тимоша лечился здесь. От болезни и тени не осталось. Представляете его радость... А врачи?... И особенно мы, больные. Тимошу все знали. Но не тут-то было: болезнь спряталась, улизнула по лимфатическим каналам, выждала и объявилась. Заметьте, на том же самом месте... Пять, десять лет, и финита ля комедия. И пока ничего не поделаешь. Завтра или послезавтра могут открыть лекарство. И² откроют. Я верю. Для этого и онкологический центр строят в Москве... Я верю,— повторил Михаил Сергеевич. Он посмотрел на меня улыбочными серыми глазами, негромко, как бы стесняясь, сказал: — Я болен тем же, чем и Тимоша.

Тимоша курил рядом с женщиной в красном пла-

тье. Тополя роняли пух. Табачный дым касался де-
вичьей Тимошиной прически, бакенбард, прозрачных
и легких, как тополиный пух.

Появился Феликс Архипович, мой редактор
Я двинулся ему навстречу.

Увидев меня, Феликс Архипович вздрогнул, при-
остановился, будто в танце, и снова потянулся ко
мне.

Михаил Сергеевич по-прежнему сидел, вытянув
руки на зеленой спинке скамьи.

Мы с Феликсом Архиповичем медленно сближа-
лись. Улыбка протянулась между нами и выражала
сочувствие, некоторую вину, надежду, понимание
ситуации.

— Здравствуйте, вы совсем неплохо выглядите,—
неуверенно сказал редактор.— Все шлют вам при-
веты.

— Здравствуйте,— ответил я.— Спасибо.— И как
мог сильно пожал руку Феликсу Архиповичу.

— Может быть, вам что-либо нужно, Веденеев?
Деньги? Газеты? Книги?

— Благодарю,— сказал я.— Мне нужны свежие
фрукты, ягоды... Хорошо бы лимон. Два лимона.

Редактор покраснел:

— Я с работы, понимаете... Завтра скажу Лидии
Алексеевне... Она все принесет... Хотите детектив?

Феликс Архипович любит и собирает детективы,
но никому не дает их даже на вечер. Книжка торчит
в правом кармане его шоколадного пиджака. Он по-
ложил на детектив ладонь, слегка сжал его пальцами
и ждет, что я скажу: «Спасибо, мне сейчас не до чте-
ния», или: «У меня есть что читать».

— С удовольствием почитаю, времени здесь до-
статочно,— сказал я, оглядываясь: на скамьях си-
дели больные и читали. Ближе других сидел и читал
Тургенева Михаил Сергеевич.

Феликс Архипович понимающе кивнул, со скри-
пом вытянул книжку в целлофановой обертке. Из
целлофана блеснули сиреневые испуганные глаза,
пистолет, наручники, две бомбы.

Редактор серьезно, с некоторой завистью следил
взглядом за книжкой. После того как детектив
скрылся в моем кармане, я спросил:

— Где сейчас Самсонов? Как Любовь Филипповна? Корней Савельевич?

— Самсонов? Где же ему быть? В Архангельске. Он будет там еще три недели... У Любви Филипповны захворала дочка, и она никуда не смогла поехать. Ей планировалась отличная командировка: Таллин... Рига... Вильнюс.— Назвав город, редактор коротко смолчал, как бы отмечая цезуру в стихотворной строке. И само сочетание: «Таллин, Рига, Вильнюс» — походило на стихи.

Невольно вспомнилось: морские чайки на заре, сосны и щекочущий дюны ветер, воткнутые в небо шпили башен, надраенная закатом дорожка на заливе, стеклянный ресторан, вдоволь набитый светом, клубы взбитых сливок, легких, как облако.

Я вздохнул.

— Выздоровливайте, Веденеев, и поедете, куда захотите... Возможно, и в Болгарию... Нам прибавили денег на командировки. Главное, выздоравливайте, это все, что от вас требуется на сегодняшний день, Веденеев.— Феликс Архипович потер руки. Таким жестом вылуцивают зерна из колоса. Сейчас он сдует шелуху, проверит зерно на зуб.— Не залеживайтесь, пожалуйста,— попросил редактор.— Много работы.

— Сделаю, что могу,— пообещал я.— После операции все пойдет быстрее.

Сквер притих, поредел. Приближалось время ужина.

Проводил Феликса Архиповича до ограды.

— Звоните,— предложил он, пожал мою руку и пошел с опущенными плечами.

Мне стало его жаль.

— Феликс Архипович! Феликс Архипович!

Редактор вздрогнул, почти бегом вернулся. Я извлек из кармана целлофановый детектив.

— Лучше потом, когда дело пойдет на поправку.

— Может быть, все же... Может быть...

— Нет, нет... Книге и затеряться недолго. После операции меня переведут в другую палату.

— Смотрите.— Книжка скользнула в карман шоколадного пиджака.

Завтрак, обед, ужин — в нашей жизни значительные события. И больной даже с плохим аппетитом ждет с интересом часа еды. За столом встречаются старые знакомые. Сроки знакомства и узнавания в диспансере намного короче, чем в обычной жизни. Общность страданий, бессонница, процедуры, ожидание операции, возможность смерти ускоряют сближение почти так же, как на фронте. Здесь иной раз поведают такое, что в здоровой жизни не расскажешь и близкому другу. И доброта, и скупость, и щедрость, и ум, и эрудиция, и злоба, и храбрость, и все прочие достоинства и недостатки раскрываются в нашем диспансере за малое время.

— Пойдемте ужинать, Яков Гаврилович, — сказал я.

— Ужинать? Можно.

— Не забудьте стакан и сахар.

Яков Гаврилович Кафтанов, по прозвищу Иностранец, остановился в недоумении, и его маслянистые глаза потускнели.

— Где я возьму стакан? Сахар? Да я и есть не хочу... А что на ужин?

Я не могу сразу ответить на все вопросы и выбрал один:

— Сахар я могу вам дать.

Он взял сахар.

И стакан он взял, бывший стакан Степана Александровича.

У холодильников толпились больные. Разноголосого гудела столовая.

Пришел Кагарницкий с оранжевой коробкой. На своем месте возвышался дядя Азат в коричневой пижаме. Азат поворачивал небольшую мелковолосую голову с лысым пятном за ухом, любопытно наблюдал за съедобным на столах.

Если дяде Азату предлагали чего-нибудь попробовать, он вежливо и твердо отказывался. Зато все, что давали в столовой на завтрак, обед, ужин, дядя Азат съедал без остатка, начисто подбирал с тарелки подливу или соус. Что давали, то и подбирал, с несокрушимой верой в целебную силу больничного рациона.

Роман Петрович намешал всякой зелени, обильно

сдобрил сметаной и с трудом ел. Он слабо улыбнулся мне и продолжал вяло и равнодушно подносить ложку ко рту.

Кафтанов в полрта съел больничный винегрет, выпил чай и заметно заволновался: глаза его нетерпеливо бегали по сторонам и готовы были выкатиться из глазниц, густо-черные брови смыкались на переносице, нос становился еще длиннее, вытягивался, расширял ноздри, внюхивал то, что можно было внюхать.

— М-да,— сказал он,— надо звонить.

— Что случилось?

— Скажу жене, чтоб несла передачу. Она знает, что принести. Она все принесет: и мясо, жареное мясо, и молодую картошку, ягоды, масло, колбасу, варенье. Пусть все приносит... И воблу. У меня дома есть вобла.

— Сегодня принесет? — полюбопытствовал я.

— Утром к завтраку... И папиросы принесет. Она у меня хорошая.

Яков Гаврилович Кафтанов грузно встал, чуть не столкнув со стола тарелки, стаканы, хлеб. Он явно чувствовал себя обиженным: у других есть всякая еда, а у него, Кафтанова, нет, и он не может, как другие, взять из холодильника еду, и не только, как другие, а больше, чем все, ассортиментней, чтобы на него, Кафтанова, смотрели и завидовали: «Вот у кого еда так еда: и вобла, и свежие огурчики, и малосольные, и помидоры, и черная икра, и... достают же люди».

А если не скажут, то подумают.

Умер человек, похожий на Дон-Кихота.

Он гулял в сквере с книгой под мышкой. Имя книге: «Путешествие на «Ослепительном».

Пятнистый свет играл на лице Дон-Кихота, проскакивал редкие волосы, всячески украшал черную пижаму с коричневыми обшлагами и воротником. Случалось, человек касался веток, останавливался, смотрел, как ветки качаются, возможно, извинялся перед ветками или думал о них и продолжал путь, уступая дорогу встречным и спешащим.

Я не видел, чтобы человек, похожий на Дон-Кихота, оживленно и заинтересованно беседовал с кем-либо.

Сломался его слуховой аппарат. А вдруг человеку нужны звуки, как кислород. А он лишь видит, как шевелятся губы, спешат трамваи, качаются ветки, падает дождь.

Его навещала женщина. Седые волосы виднелись из-под ее соломенной шляпки.

Они гуляли по скверу, сидели рядом.

Молчали.

Человек, похожий на Дон-Кихота, вернулся после прогулки, присел на свою кровать у окна и умер.

Так рассказал Михаил Сергеевич.

И несмотря на то что человек умер в больнице, и не в обычной, а в онкологическом диспансере, где смерть естественна, как, впрочем, она естественна и вне любых больниц, тяжело было знать, что я не увижу больше прямого, худого человека, уступающего всем дорогу в неровно освещенном сквере.

Закат обагрил верхушки тополей. Крыши виделись бордовыми. В верхних углах окон торчали отблески, еще более углубляя черноту остального стекла.

Перед сном я прослеживаю прожитый день, ворошу в памяти самое хорошее, что было со мной и сегодня, и в предыдущие дни, во все предыдущие дни. Являются не только события, встречи, прочитанное, но и запахи, вкус еды, мелькнувший пейзаж, улыбка, сон...

Моя мать. Не определенных лет и облика, а вообще моя мама: она и молодая, певучая, и одновременно — старая, с сединой и морщинами. И старая — она молодая, и совсем юная — она по-матерински мудра, с внимательным, заинтересованным, чутким, охраняющим взглядом.

И в последние свои годы, тяжело, после дистрофии, больная, в постоянных страданиях, мать заботливо беспокоилась: не худо ли мне, не больно ли, готовая взять на себя и мою боль.

Самое светлое воспоминание, радость и мука моя...

Лишь вместе с жизнью уйдет из моей памяти, из моей любви моя мама. В эти дни предоперационных уколов, анализов, электрокардиограмм, рентгено снимков, готовясь к операции, я особенно часто вспоминаю ее...

Как бы связывая границы сна и реальности, мама приходит ко мне, ласкает ладонью мои волосы, мое лицо, поправляет одеяло и ведет меня на улицу детства, на веранду нашего давнего дома, прогнившую и готовую обвалиться от старости, и вместе с тем прекрасную благодаря виду, который с нее открывался: и в дни цветения сирени и яблонь; и когда в садах с каждым часом тяжелели плоды, а от дыхания цветочных клумб, от запахов зреющей кукурузы, подсолнухов, укропа, картофеля, огурцов кружилась голова; и в дни, когда желтые шары, разведчики осени, совали свои круглые головы на веранду и она издали напоминала выставку медных самоваров. Была такая выставка в нашем городе.

Поющему голосу мамы усердно аккомпанировали швейная машина, стук ухвата, треск и свист пламени в русской печи.

Слышное присутствие мамы в доме, на огороде, в дровяном сарае — я всегда чувствовал ее близость — помогало спокойно уснуть, и еще лучше засыпалось, если мама сидела у моей кровати, вязала чулок и напевала.

Вспоминается и Старик, диспансерный консультант... Первая наша встреча, вторая и особенно последняя. Старик старался меня рассмешить. Ему это не очень удавалось. В конце концов он отвел глаза, сказал:

— Все вместе отнимет у вас месяц, ну два, три — от силы. Я не усматриваю другого выхода... Другого выхода нет.

К этому времени я успел узнать Старика. Я верил ему. Ошибаться он, конечно, мог. Не в этом дело. Он хотел еще раз все проверить в стационаре. Лучше сто раз проверить, чем обмануть или обмануться. Старик любит не меня, Алексея Веденева. Мое имя ему говорит не больше, чем другие. Он любит человека любого имени, всех людей, проходящих к нему. Стоит открыться двери в его кабинет, Старик на-

чинает по-отечески улыбаться. Не только потому, что он старше. Нет, он с первого взгляда чувствует ответственность за вошедшего. Он уже сознает свою обязанность вылечить, избавить от страданий, от мнительности, отыскать правильный, единственный путь к спасению вошедшего к нему человека.

Старик, как мальчишка, доволен, когда может сказать человеку: «Вы ошиблись. Я рад вашей ошибке. Прощайте. Ошибки, к счастью, не так уж редки. Мы не в обиде на вас. Побольше таких ошибок».

Я сам слышал, как он так говорил. Пациент бледнел, краснел, извинялся, благодарил, рвался как можно скорее уйти, позвонить матери, жене, детям, друзьям... И в то же время не решался, чтобы, как ему казалось, не обидеть торопливым уходом дорогого доктора, крашеного Старика, который в это мгновение в глазах больного был прекрасен.

Когда радуешь другого, радуешься прежде всего сам.

Я завидовал Старiku. Однако сильнее завидовал бывшему больному. Надеялся: и мне Старик скажет такие же слова. Все проверит и так и этак, исследует, что надо, посоветуется с коллегами и: «Вы ошиблись, Веденеев. Поздравляю. Прощайте».

Около пятидесяти лет он ищет пути спасения от рака. За это время были две мировые войны. Странное сочетание: «мировые войны»... Миллионы людей погибли от пуль, бомб, виселиц, газовых камер, атомных взрывов, напалма... А мой Старик продолжал искать пути спасения человека. И в годы войны искал.

Что он, не нашел бы себе другого занятия? Ума у Старика хватило бы, да и силы в руках. Он и сейчас еще хоть куда. Не тот, правда, что пятьдесят лет назад, и все же... Он мог бы не копать в этих загадочных клетках, срезах, анализах... Значит, ему это необходимо. Он не способен без этого жить. Это его призвание, его — талант, его — судьба.

Старик о своих чувствах никому и слова не сказал и не скажет, но он любит людей глубоко, застенчиво, грубовато. И желает жизни каждому, здоровой и долгой жизни, и все для этого делает ежедневно,

ежечасно в течение пятидесяти лет, чуть более пятидесяти лет.

Я верю Старику. Я благодарен ему. Иногда мне кажется, что я люблю его, как сын. Во всяком случае, снимаю перед ним мысленно шапку, берет, любой головной убор, кланяюсь его долготерпению, мужеству, его постоянной ласковой, обнадеживающей улыбке... Кстати, как его имя, отчество... Забыл, черт возьми! В ту минуту у меня все выскочило из головы. И какая важность в имени. Я-то знаю, о ком идет речь, и кланяюсь Вам, старый крашеный прекрасный доктор...

...Грохот водопада, рев урагана, свист бури, гром грозы... Ни одно сравнение не способно представить так называемый богатырский храп. Возникнув раз в тишине ночной палаты, он знаменует собой конец покою, сну и на все будущие ночи.

Храпел Иностранец.

Рухнули и рассыпались воспоминания. Андрей Васильевич зашарил рукой по тумбочке. Не раз замечал я: неожиданный, пусть слабый звук способен разбудить быстрее громкого, уже привычного. Новый звук врезается в шум, как в тишину. От скриплого шарканья рукой по клеенке на тумбочке, от шороха передвигаемой коробки «Беломора» Яков Гаврилович Кафтанов проснулся. Храп исчез.

Застигнутый врасплох тишиной, я лежал, забыв открыть глаза, уже надеясь, что храп случаен, больше не повторится, что вернется прерванный сон.

Застонала кровать, сопротивляясь немалой тяжести Кафтanova. Он заойкал. Возможно, потому заойкал, что уже знал: Андрей Васильевич не спит, а мы с Романом Петровичем ежели не проснулись от храпа, то от ойканья никак не проснемся.

Андрей Васильевич сел на кровать. Его движения отчетливо виделись в серовато-голубом свете окна.

Хрипловато прозвучало:

— Ты кури здесь...

Я не выдержал:

— Да вы что? Разве в больничной палате курят? Роман Петрович засмеялся. И он не спал.

Смущенно закричал Андрей Васильевич, чувствуя неволью и себя виноватым за то, что происходило сейчас, и даже за недавний храп Якова Гавриловича, прозванного Иностранцем.

Яков Гаврилович сказал:

— А почему не покурить здесь? Форточка открыта. И никто не узнает.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

В утреннем сквере просторно, пусто, чисто, словно в учреждении перед началом работы.

Фасад нового здания освобождают от лесов. Скрепер сгрызает отточенными до блеска зубами неровности земли. Машиной управляет немолодая женщина в косынке, завязанной широким узлом на затылке, как это делали работницы двадцатых годов. Только косынка не красная, а синяя в горошину. Сквозь тополиную, густо усеянную кистями пуха листву солнце подкрашивает лицо скреперщицы, ее руки, косынку, вносит в жизнь женщины утреннюю праздничность.

Между двух фарфоровых черепков, рядом с обломком кирпича я различил белую выпуклость, похожую цветом и упругостью на крутой яичный белок. Выпуклость выпирала из земли, поднимала земные крошки и росла, колеблясь в лучах.

Шампиньон!

Да, это — шампиньон. Он рос всю ночь, жадно глотал дождевую воду и под утро замаскировался черепками, пятнами света, но я взял его у земли, радуясь шампиньоновой свежести и аромату, родственному сыроватому запаху боровика, подберезовика, рыжих лисичек, лесной тишины.

— Шампиньон! — услышал я рядом.

Женщина в клетчатом халате, сверкая металлическими зубами, улыбалась. Волосы ее светились молодо и рыжевато, не вызывая до огненности рыжеватого, а мягко и ласково, и шея женщины была молодой, и молодыми были руки с розовыми ногтями.

— Как и большинство грибов, шампиньоны чаще растут семьями, — сказала она, наклонилась, взяла

из земли гриб, меньше найденного мной, но такой же гладкий, душистый.

Теперь и я и она смотрели только вниз. Грибы прятались на дорожках, у скамей, у карточного и доминошного стола, возле курилки, в тени яблонь, под кустами — любимом месте серого кота с изумрудными вороватыми глазами.

Женщина чаще моего находила грибы, протягивала мне, говорила чуть в нос, шепелявя:

— Шампиньон... — И слово звучало и как шампиньон и как чемпион. Грибная свежесть смешивалась с теплым утренним запахом женщины в клетчатом халате.

Она живет на третьем этаже. В такое утро не улежишь в палате, тем более что соседка храпит.

Она очень любит искать грибы. Рядом с ее родным городком Сосновкой — дремучий бор... Нет, она не живет теперь в Сосновке, там прошли ее детские годы. И юность, самая ранняя юность.

Сосновку я знаю. Двадцать четыре дня прожил в тамошнем доме отдыха. Давний, давний август... Бор сухой, звонкий; белый с желтизной песчаный берег реки. Заросли лесной малины. Просвистанные насквозь комарами розовые вечера.

Женщина благодарно улыбнулась моим воспоминаниям. Что-то напомнило в ней тебя...

Сквер открывал свои тайные уголки.

Азартный грибной интерес сближал нас. Мы забыли о болезнях. Мы были совсем здоровы. Мы ни о чем, кроме шампиньонов, не думали.

Тяжесть свернутого мной из газеты кулька росла и была приятной. Когда кулек наполнился доверху, женщина сказала:

— И что вы будете с ними делать?

Я не знал. Она засмеялась:

— Шампиньоны хорошо жарить в сметане. Они вкуснее белых. И супу шампиньоны дают аппетитный аромат.

Ей нравилось само слово «шампиньон». Его звучание.

— Да, — сказал я, вспомнив, что ты любишь грибы, тушеные с картошкой.

— Возьмите их себе, — предложил я.

Она покраснела.

— Куда я их дену?.. Если бы это было не здесь, — и она показала глазами на серо-коричневое здание диспансера.

Газетный кулек с грибами бессмысленно оттягивал мою руку. Тополя с белыми косичками насмешливо смотрели вниз.

Скрепер продолжал свое дело. Солнце заставило сверкать полированные и крашеные части машины.

Лицо скреперщицы порозовело от сосредоточенного напряжения. Я протянул ей кулек. Она сердито удивилась.

— Грибы, — объяснил я.

— Шампиньоны, — вкусно сказала женщина, немного похожая на тебя.

Скреперщица, как бы извиняясь за свою недавнюю сердитость, улыбнулась, приняла грибы, сказала:

— Спасибо.

Библиотека диспансера в подвале, рядом с душем.

На стене висит плакат: «Мир. Труд. Май». Яблоневые или вишневые цветы на зеленом. Молодой красивый мужчина с мальчиком на плече рядом с красивой женой.

Если плакат довисит до будущего Первого мая, он снова обретет значительность и уместность.

Я жду библиотекаршу Пелагею Аникеевну. В конце коридора появился Роман Петрович с газетным свертком под мышкой. Его догнала Зинаида — сестра-хозяйка, спросила:

— Никак, дорогуша, мыться вздумал? Белье есть?

— Имеется, — сказал Роман Петрович.

— Запасливый.

На двери ласково чернеет табличка: «Душ... Часы работы». Часов работы не указано. Под табличкой висит большой замок. Зинаида — сестра-хозяйка подергала его.

— Хошь сам сходи за ключом, он на моей двери висит, либо дождись: я белье в стирку посчитаю, сама сбегаю... Операция завтра?

— Говорят.

— И спину потру.

— Не надо.

— А то потру.

Зинаида отправилась сдавать белье в стирку. Роман Петрович оставил газетный сверток на стуле, пошел за ключом.

Пришла Пелагея Аникеевна. Она только что обедала или закусывала и все еще дожевывала.

— Задержала немного, извините.

— Не так важно, — сказал я. — Мне времени не занимать.

— Все равно. — Пелагея Аникеевна проглотила остаток еды. — Порядок есть порядок.

Когда я вышел из библиотеки, в коридоре сидели Роман Петрович и его жена в светлом платье, затканном кленовыми листьями.

Меня опередила Зинаида — сестра-хозяйка. Она почти бежала. Перед Романом Петровичем остановилась.

— Вот почему не желаешь, чтобы я спину потеряла, барышню ждал.

Роман Петрович не ответил. И жена его, наверное, не заметила Зинаиду — сестру-хозяйку.

Спросил женщину с третьего этажа:

— Как вас звать?

— Серафима Павловна.

Ветер толкает тени туда и сюда. Тени шныряют по земле, по траве, по лицу Серафимы Павловны.

Тополиный пух густо сбился у бровок аллеи. Больные поджигают спичками пух, он фейерверкно вспыхивает, и синеватый снизу огонь бежит прыжками. На земле остаются поджаренные тополиные семечки. Их жадно склевывают голуби и воробьи.

Мимо нас по аллее шествуют знакомые: очень полная женщина в красном халате, у нее миндалевидные глаза, серьги с подвесками, кольца на толстых пальцах. Под руку с ней, вприпрыжку, лысый муж влачит, словно веник, цветы.

Идет Николай с женой.

— Завтра и выпишусь... Приходи часам к одиннадцати. Костюм не забудь. Галстук.

— Как бы хуже не было... Смотри, Коля.

— Хуже не будет... На Луну летают... Скоро на Марс полетят.

— Обидятся доктора, не примут ежели что...

— Примут.

Очень полная женщина с серьгами:

— Цветов больше не носи... Куда их девать?

— Как скажешь, милая, как скажешь...

Разговор наш подолгу ни на чем не останавливается, мы вообще не придерживаемся определенной темы, направления, говорим обо всем, что приходит в голову, отталкиваемся от случайной мысли, слова, как бывает на лугу, в лесу: шагаешь от встречного цветка к цветку, от гриба к грибу, от ягоды к ягоде.

Мне хорошо рядом с женщиной, похожей на тебя.

Теперь мы беседуем о романе как жанре, форме литературного сочинения. Что такое роман? Чем он отличается от повести? От рассказа? От поэмы?

В наших мозгах живут школьные определения. Каменные школьные знания поддерживают наш интеллект, как сваи или фундамент — здание. И никогда не бахвалятся, что несут на себе растущую изо дня в день тяжесть нашего образования.

Чем отличается роман от других жанров?

Размерами?

Своеобразием формы?

Серафима Павловна непререкаемым голосом говорит:

— Размерами,— и называет «Войну и мир», «Братьев Карамазовых», «Сагу о Форсайтах».

А я, убежденный в своей правоте, называю: «Разгром», «Отец Горио», «Страдания молодого Вертера», «Золотые плоды».

Вспоминаем Михаила Шолохова, Леонида Леонова, Мариэтту Шагинян, Пушкина, Герцена, Ромена Роллана, Золя...

Выкладываем все свои знания.

Можем ошибиться, допустить неточность, соврать, перепутать дату.

Какое это имеет сейчас значение?

Беседуем о городах, где мы бывали.

Серафиме Павловне запомнился уральский городок Сысерть с высокими до крыш заборами, крытыми дворами.

— Хороши волжские города и днем и ночью. Посмотришь с палубы парохода — города, как живые существа, смеются, плачут, гnevаются, красятся, нервничают, сохраняют спокойствие, сгорают от нетерпения. Они приветливы и угрюмы, гостеприимны и замкнуты.

С удивлением слушаю Серафиму Павловну.

— В ясный день с палубы люди на берегу видятся нарядными, праздничными, счастливыми. А в дождь, под зонтами, в лоснящихся от воды плащах, люди будто тают в дымке. Жизнь, внешность, душа волжских городов связаны с рекой, с ее движением, светом, с ее туманами, с крутизной или отлогостью берегов.

Да, это так...

Я подходил ночью к Волгограду на дизель-электроходе «Ленин». Город поднимался из алых всполохов торжественный, величавый, словно окаменевший реквием. И мелодия, плывущая навстречу, как бы созданная гранитной набережной, подсвеченными купами деревьев, памятниками и дворцами, подтверждала сравнение: окаменевший реквием.

Долго ходил по Волгограду, поднимался на Мамаев курган, но первое впечатление — с палубы дизель-электрохода «Ленин» — живет в памяти до сих пор, как открытие.

Серафима Павловна говорит:

— Великое дело — командировка.

И я говорю примерно то же.

Нам хорошо, что мы кое-что повидали, понимаем друг друга, соглашаемся, спорим. И спор нас радует, мы спорим от доброго сердца.

Будто нет поблизости окон диспансера, побурелых стен, вентилятора, что с однообразным гудом выбрасывает с кухни запахи щей, каши, компота, тепло; нет халатов, снующих мимо; нет глаз, днем и ночью и в самый смех помнящих о болезни, — нет всего этого, и мы беззаботно сидим в сквере и обо всем разговариваем с шутками, с улыбками, со случайным

касанием рук, колен, смущением невольных взглядов.

И, процеживаясь сквозь сиюминутные ощущения, возникает, как неожиданный самородок в решетке старателя, кусок детства с пыльным солнцем, рябой от ветра рекой, карасями в склизкой красноватой чешуе, яблочным пирогом, тряпичным футбольным мячом, деревянными коньками с железной проволокой для скольжения, задачами Шапошникова и Вальцева, законом Архимеда, усатым учителем естествознания в френче кирпичного цвета с золотыми круглыми на цепи часами, тикавшими на весь класс...

Ощущения прошлого пронизывают сегодняшний день. И какая разница между тем, что было тридцать и сорок лет назад, и тем, что случилось вчера, сегодня утром? И то и это — прошлое.

Ничто не повторяется: история Вселенной, история Человечества, история Одной жизни, история только что свершившегося Мгновения.

И если на то пошло, мы готовы целоваться в тени яблони, когда поблизости никого нет. И нас продолжает волновать большая жизнь по ту сторону ограды. У нас все впереди.

Серафима Павловна — инженер-экономист... В то мгновение, когда запоздалый солнечный луч пронзил крыло пчелы и вибрирующая тень крыла сказочно мелькнула на лице Серафимы Павловны, она заговорила о системе утверждения новых образцов и снятии с производства устарелых.

— Случается, утвержденный образец устаревает вскоре после утверждения... Техника развивается стремительно...

Мое внимание остановило слово «устаревает». Оно послышалось странным, вызвало беспокойство, желание возражать. Поворочав его и так и этак, я понял: слово «устаревает» обыкновенное, хорошо обкатано долгим употреблением, но подзабыто, как скрип тележного колеса или извозчикий окрик: «Но!»

Лицо Серафимы Павловны покраснелось, глаза горели. Она подчеркивала жестами важность мыслей, отдельные слова.

Волновалась.

Разговор иссякает... Последние слова падают после длительных пауз, словно капли вчерашнего дождя, застрявшие по непонятным причинам в старой водосточной трубе.

Мы обдумываем сказанное и услышанное.

Ковыряю носком рыжей босоножки песок, траву, запутавшиеся в траве солнечные лучи. Серафима Павловна поглубже запахивает полы клетчатого халата, и я случайно вижу ее розовые молодые ноги выше колен. Из кармана халата Серафима Павловна берет спичечный коробок. На его этикетке призыв: «Не разрешайте детям играть с огнем». Пламя нахальным красным языком облизывает предупреждающую надпись.

Серафима Павловна вычиркивает спичкой огонек и, прикрыв ладонью, несет к земле. Огонек впивается в тополиный пух, и у наших ног извивается, потрескивает пресмыкающийся фейерверк.

— Серединкин, желудочный сок будем брать? — голос сестры Любы.

— Уже брали.

— Мало.

— Бери не бери — один черт.

— Серединкин, вы знаете, что надо делать?

— Что я, доктор?

— Поесть надо, Серединкин. Вы знаете, чего поесть, Серединкин?... Три куска черствого белого хлеба без корочек и запить стаканом кипяченой воды. Вы меня поняли, Серединкин?

— Чего понимать? Я наизусть знаю.

— И через десять минут подойдете ко мне.

Вернулся с конференции и приступил к исполнению своих обязанностей заведующий нашим отделением доктор Гладилин.

Сегодня — обход.

Зинаида — сестра-хозяйка проверяет тумбочки. Баба Лиза шарит мокрой тряпкой в углах и под койками. Одинокий старик, который азартно играет в

карты, съедает за обедом по два вторых, рано утром гуляет в сквере, улегся с грустными глазами под одеяло. Андрей Васильевич еще острее похудел и почти незаметен на сероватой подушке. Поминутно ерзает на кровати, выпукло озирается Яков Гаврилович.

Роман Петрович, взбешенный вынужденной бессонницей, свистел, как милиционер, но свист на Иностранца уже не действовал.

— Я сообщу о вашем храпе заведующему отделением, — сказал Роман Петрович.

— Разве я храплю? — искренне удивился Яков Гаврилович. — Почему я ничего не слышу?

Мы с Романом Петровичем нервно захохотали. И Андрей Васильевич деликатно хихикнул.

— А что я могу сделать?

— Не храпеть, — посоветовал я.

— Вас необходимо перевести в отдельную палату, — сказал Роман Петрович. — Об этом я и попрошу доктора Гладилина.

— Буду очень рад, — признался Яков Гаврилович.

В ожидании обхода он ерзает, вздрагивает, услышав шаги в соседней палате, с присвистом сопит, поглядывает на Романа Петровича, на меня: скажем мы о его храпе или промолчим?

На Андрея Васильевича Иностранец не смотрит, Андрей Васильевич никому всерьез плохого о нем, Кафтанове, не скажет, не пожалуется: такой уж человек Андрей Васильевич.

Из соседней палаты слышно:

— Пятого мая после флюорографии вызвали в губдиспансер. Там обследовали — и сюда...

— Воспалением легких болели?

— Нет.

— Дизентерией?

— Не довелось.

Спрашивает Ариадна Марковна, отвечает тягучий, словно в меду, голос.

— Курильщик небось заядлый?

— Это есть... сорок три года дымлю... с десяти.

— В семье болел кто?

— Никак нет... Отцу девяносто без года, о болезнях не слыхивал.

И голос одинокого старика, который при возможности съедает за обедом по два вторых, азартно играет в «петуха», а в ожидании обхода лежит со скорбными глазами:

— Он и сам в футбол гоняет.

И прежний тягучий, с хрипотцой:

— Водитель я. На «Волге». Начальника вожу... Привык он ко мне, а я с пятого на больничном... Отпустили б?

— Два здоровяка у нас, и оба с затемнением в легких,— сказал незнакомый мужской голос.

Наша дверь впускает заведующего отделением доктора Гладилина. Халат едва достает ему до колен: доктор выше всех узаконенных пошивочных норм и размеров. Его голова где-то под потолком, по соседству с электрической лампочкой.

Ариадна Марковна словно порхает рядом с Гладилиным, уважительно и радостно смотрит на него и вокруг. Кажется, что особенного случилось? Обход? Обыкновенное дело. А вот и нет. Обход возглавляет заведующий отделением доктор медицинских наук Геннадий Валентинович Гладилин.

И тот же халат на Ариадне Марковне выглядит, как новый. То ли пояс потуже и как-то по-особому затянут, то ли крахмал сегодня придает халату изысканную белизну и шелковистость.

Умеют, однако, женщины самую привычную вещь носить по-разному, в зависимости от настроения, что ли: празднично, кокетливо и, чего там, частенько спустя рукава.

О сегодняшнем настроении Ариадны Марковны говорит и блеск глаз, и улыбка, и летящая походка.

Я рад настроению Ариадны Марковны.

Она принимает из рук сестры Любы историю болезни Романа Петровича, перелистывает. Здесь же старшая сестра Руфина Наркисовна и еще врач, хирург, вовсе невысокого роста, в белой шапчонке, сбитой на затылок, что неуместно заставляет вспомнить кока из оперетты «Белая акация».

— Роман Петрович Обызов... Вы его уже смотрели, Геннадий Валентинович. Назначен на операцию. Операция...— Ариадна Марковна переходит, по-преж-

нему улыбаясь, на спецжаргон намеков, полунамеков, латыни, неясностей, условных медицинских терминов, что, естественно, вызывает наше тревожное любопытство.

— Помню,— говорит Гладилин и возносит к глазам историю болезни.

Вскоре Геннадий Валентинович возвращает историю болезни Ариадне Марковне, а та передает сестре Любе.

Все переходят к Андрею Васильевичу. Его койку плотно окружают врачи, сестры и Гриша (назвать сестрой, пусть медицинской, густоволосого, синешекого от частого бритья Гришу я не решаюсь), так что, кроме белых прямых и сутулых спин, ног, брюк и летней раскраски подола Ариадны Марковны, выступающего из-под белейшего халата, ничего не видеть.

Вдруг голова Геннадия Валентиновича Гладилина снижается, доктор садится на кровать Андрея Васильевича.

Молчание. Не герметическое молчание камеры, откуда выкачали воздух, а настороженная тишина больничной палаты: в ней и внимательное сопение Якова Гавриловича, нацелившего выпуклые глаза в сторону Гладилина, и сдержанное, хрипловатое дыхание Романа Петровича, и шорохи, шелест врачебных и сестринских халатов, страниц истории болезни.

Пока Геннадий Валентинович смотрит и пальпирует Гарбузова, сестры шепотом обмениваются новостями, не терпящими отлагательства.

Слова Геннадия Валентиновича Гладилина, обращенные к Ариадне Марковне, к врачу-хирургу в сбитой на затылок шапчонке, к самому Андрею Васильевичу Гарбузову, гасят шепот сестер, стирают его, как новая резинка стирает слабый карандашный рисунок.

— Дорогой Андрей Васильевич, весьма вероятно возникнет необходимость ампутации... Девяносто девять шансов за это... Не могу, не имею права обманывать вас.

— Лучше утоплюсь... Не жизнь без ноги...

— Подумайте, подумайте, Андрей Васильевич, у

вас еще есть время подумать. С вашей женой и сыном я уже говорил.

— И я говорила... И с дочерью говорила... Со всеми родными Андрея Васильевича говорила,— сказала Ариадна Марковна, будто для Гарбузова и для всех присутствующих сейчас это было самым важным и необходимым...

Гладилин да и Андрей Васильевич, который видел и слышал сейчас только Геннадия Валентиновича, не обратили внимания на слова Ариадны Марковны.

Снова возвысившись над всеми, Гладилин произнес:

— Ведь решать придется без вас. В считанные секунды. Вы будете под наркозом.

Отступая от кровати Гарбузова, Гладилин еще раз попросил:

— Подумайте, пожалуйста, Андрей Васильевич

И мне показалось: «подумайте, пожалуйста» относилось не только к Андрею Васильевичу, но и к Ариадне Марковне, и к хирургу малого роста, и к сестрам, и к Грише, и к нам, так же как Андрей Васильевич, подлежащим операции.

Геннадий Валентинович тронул щеки и подбородок, как бы проверил, хорошо ли побрито. Кисть его руки, запястье, пальцы, особенно пальцы были огромны. Не вообще огромны, а относительно величины средней человеческой руки. Каждый палец имел свое выражение, свой интерес, и вместе с тем они были одно целое, и представить их порознь не только нельзя, но и больно.

Возможно, все это я понял позднее, увидев руку Гладилина в альбоме Романа Петровича.

А в то мгновение я, пожалуй, ни о чем таком прямо не думал, даже наверняка не думал.

Тем более, что врачи и сестры окружили Якова Гавриловича по прозвищу Иностранец, и он прокурренным голосом, с не всегда верными ударениями на словах рассказывал: когда заболел, что чувствует до еды, во время еды и когда пьет воду, и не только воду, и сразу же после еды что чувствует, и спустя час, два, три...

Выпуклые глаза Якова Гавриловича блестели, почти горели черным огнем, и нос его, большой, но

красивый, напоминающий прославленные римские носы, дошедшие до нас в мраморе, постанывал от желания разнюхать не только то, что происходит сейчас в палате, но и в мыслях врачей, особенно Геннадия Валентиновича Гладилина.

— Так схватывало, что места себе не находил. Только грелками и спасался. Горчичниками и грелками... И еще банками. А что делать?

— Покажите, покажите свой живот,— с улыбкой, будто обращаясь к ребенку, сказала Ариадна Марковна.

Яков Гаврилович рывком сдернул с себя рубаху, так что затрещали его густые, щетинистые волосы. Могла бы и рубаха треснуть (моя бы треснула), не выдай Зинаида — сестра-хозяйка Иностранцу совершенно особенное, не подверженное обычным физическим законам исподнее.

На животе Якова Гавриловича Кафтанова багровели следы грелок, горчичников, банок.

— Да-а-а,— протянул Геннадий Валентинович,— серьезная картина... И кто же вас так разукрасил?

— Жена, кто же еще? — изумился Яков Гаврилович, никак не представляя, кто, кроме жены, мог бы ставить ему на живот горчичники, банки, менять кипяток в грелке.

— Мне бы, ой, и печень обследовать, и желудок, и селезенку, и все-все внутренности, если можно... — Оглянувшись на нас, вдруг сказал: — И от храпа чего-нибудь... Храплю я, спать мешаю...

— Посмотрим, посмотрим все, что надо... и решим. Сейчас могу вам посоветовать: поменьше ешьте жареного, колбасы, копченостей, особенно на ночь, и постарайтесь, если не в силах бросить, решительно сократить курение.

— Брошу,— твердо сказал Кафтанов,— жив буду — брошу. Что я, враг себе? После больницы сразу брошу... Спасибо. Ни разу не лежал в больнице. В госпитале лежал, в больнице — нет. А работа у меня такая, что без курева и ста граммов никак невозможно. Мясник я... А что делать?

Последние слова он говорил, натягивая рубаху, и его голос звучал глухо, будто издали.

Врачи и сестры подошли ко мне.

— Ой:

— Что ой?

— Погода первый сорт.

— Почему же ой?

— Привычка... А что делать?

После того как Геннадий Валентинович Гладилин посоветовал Якову Гавриловичу меньше курить, он перешел на сигареты с фильтром. Однако в кармане его пиджама и в тумбочке имеется «Беломор», на всякий случай, особенно на ночь, когда кашель выворачивает нутро или по другой причине не спится.

И вот теперь, проявляя свою медицинскую дисциплинированность и готовность на жертвы, Иностранец курит сигарету с желтым фильтром, деликатно выдыхает пульсирующие струйки дыма. Вместе с тем он любопытно смотрит на меня, желает что-то сказать. Больше того, он набит словами, как долго кипящий чайник паром, и, если не поднять крышку, чайник взорвется или улетит носом вперед.

Мне жаль чайника, и я поднимаю крышку:

— Вы хотели что-то сказать?

— Не столько сказать, сколько спросить... Вот вы не курите и не пьете, наверное, диету соблюдаете, хо-хо, с утра до вечера едите творог, зелень, рано ложитесь спать... Откуда же у вас этот рак, черт бы ему оторвал голову с ногами вместе?

Сизоватый дым сигареты покачивает передо мной тополя, пух, насмешливые глаза Иностранца.

Он ждет.

Не рассказывать же ему о своей жизни... И курить я бросил недавно, по совету Старика... И вином не пренебрегал... И редакционная нервотрепка...

Кому это надо знать? Жизнь есть жизнь.

Не дождавшись моего ответа, Яков Гаврилович говорит:

— Сегодня дочка должна прийти. Перед отъездом. В Крым она едет. Сейчас в Крыму — зять с мальчиками. Внуки. Двойняшки. Все лето они будут в Крыму. Пока с папой, а потом с мамой. Вопрос: почему не с папой и мамой вместе? Работа... А что делать?

Яков Гаврилович говорит «в Крыму» так, будто Крым — город, селение, деревня. А я и не спрашиваю где: в Гурзуфе, Ялте, Мисхоре, Евпатории, Судак, Коктебеле? Даже лучше: «в Крыму». Так и видишь купающийся в море полуостров. По его желто-зеленой спине скачут с горы на гору внуки Якова Гавриловича с папой, а потом с мамой: гуляют по Крыму.

— Зять у меня — рыжий, а дочка — черная. Один мальчик весь в зятя — рыжий, как горящая спичка. И походка, как у зятя, я хотел сказать — у папы, и сидит, как зять, и смотрит. А другой — вылитая дочка. На свою маму похож, я хотел сказать. Слушаются они папу, как солдаты старшину. Это, наверное, единственные мальчики на свете, которые так слушаются своего папу. Крымская хозяйка не хотела пускать на квартиру с детьми. Дети, конечно, шумят, кричат, бегают и, случается, плачут. А кому интересно слушать плач чужих детей? От своих уши еще не отдохнули. Но стоило хозяйке собственными глазами увидеть моих внуков, какие это два мальчика, два послушных мальчика, она сразу же пустила и не так дорого взяла. Дорого, но не так. И что вы думаете: теперь хозяйка сама целыми днями гуляет с моими внуками, все им в Крыму показывает, отвечает на все вопросы мальчиков и получает удовольствие. Завтра дочка поедет на месяц в Крым... Зятю двадцать четвертого на работу. А после дочку сменит бабушка, моя жена.

— Вы любите свою жену, Яков Гаврилович?

— Что за любовь? В семь ухожу — она еще спит, прихожу — она уже спать собирается. Правда, ждет меня, читает. Тыщу книг прочитала. Поем, попою и спать... Любовь... Еще голова до подушки не дотронулась: храплю. Вы же знаете, как это звучит. А что делать? Жена привыкла.

— А любили? — спросил я

— Наверное... Сейчас она придет. К завтраку. Так я вам про внуков начал. Однажды за обедом моя дочка сказала внуку:

«Перестань шуметь. Не балуйся. Сиди, как человек. До чего ты надоел мне».

Внук слушал, слушал и сказал:

«Если я вам так надоел, я уйду».

Чего дети не болтают... Мальчик вытащил палец из носа, пообедал, тихо открыл дверь в прихожую и ушел... Хватились: где внук? Нет внука. Зовем... Куда там! А на улице ветер, дождь, почти снег... Побежал в милицию. А что делать? Дочка плачет. Бабушка плачет, волосы рвет. А второй внук, рыжий, нет, черный — двойняшки они, в окно смотрит, молчит, думает. Палец в нос спрятал и думает. Мы ему и слова не сказали: пусть думает.

Поздно ночью милиционер привел внука.

«Зачем я буду с вами жить, если я вам надоел? — сказал мальчик. — Я и сам проживу...»

Замечательные у меня внуки... Сейчас они в Крыму загорают, купаются.

Дочка моя где вы думаете работает? В аспирантуре по строительству. А муж ее Олег, хоть и моложе моей дочки на год, а если точно — на десять с половиной месяцев, уже кандидат... У меня еще одна дочка, Маргарита, младшая. Старшая говорит: «Папа, мы с Маргаритой решили: дадим тебе по сто рублей: выйдешь из больницы, поезжай отдыхать. Ты же никогда не отдыхал». Ничего не ответил. А что отвечать? У меня и своих денег хватит. Но от таких слов можно и без операции выздороветь...

Яков Гаврилович достал из кармана пачку «Беломора», махнул рукой и сунул в рот сигарету с фильтром. Вдруг он вскочил. К нему спешила жена. Тяжело нагруженная сумка тянула вниз ее правое плечо. Он освободил жену от сумки, оглянулся на меня, поцеловал жену.

Вечер.

Гаснет закат в окнах двенадцатого этажа соседнего дома. Весь день у дома гуляла на длинной веревке белая коза. Сейчас во дворе дети разожгли костер. Вместе со спокойно горящим мусором, старыми ящиками, вышедшим из употребления женским стулом на костре нервно вспыхивает тополиный пух.

Костер напоминает мне пионерский лагерь моего детства. Лагерь этот никак не был похож на современный — с каменными и деревянными дачами или,

на худой конец, с комфортабельными палатками, с металлическими койками, матрацами, пододеяльниками, с размеренным режимом дня, с воспитателями, врачами... Начать с того, что свой лагерь мы строили сами. Вру... не только сами. С нами всегда был комсомолец Володя, лет на пять старше меня. В то лето мне стукнуло одиннадцать. Володя учил нас сооружать шалаши из еловых лап, находить дорогу и по компасу, и по звездам, и по деревьям, и по траве, отличать хорошие грибы от поганых, удить рыбу, собирать ягоды, рано и сразу вскакивать с елового ложа, не бояться холодной воды, бегать, стрелять из лука, метать копье, плавать. Научил нас разжигать одной спичкой костер... По вечерам у костра мы дружно и как могли громко пели и ту самую «Картошку», и «Взвейтесь кострами», и «Мы кузнецы», и «Из-за острова на стрежень» с припевом: «Что ты, что ты, что ты, что ты,— я солдат девятой роты...»

Дым костра, что летит со двора двенадцатизэтажного дома, напоминает мне далекое и, увы, единственное лагерное лето моего пионерского детства.

Воспоминания постоянно живут где-то рядом с днем нынешним, близким вчера и будущим, составляют память, знания, опыт человека. Помню и первую учительницу, Глафиру Михайловну. Она подтрунивала надо мной, когда я не сразу отвечал, сколько будет девятью восемь. Увидев глобус или обыкновенную географическую карту, невольно вспоминаю Софью Авксентьевну... При всей своей кажущейся сонливости она зорко видела из-под приспущенных век и весь класс, и любую точку на географической карте, вплоть до острова Пьяноса в Адриатическом море и атолла Уэйк в Тихом океане...

Память человеческая похожа на Землю в разрезе, где каждый слой — след целой эпохи, а все слои с доисторических мезозойских времен до последней минуты и составляют Землю. Сегодняшняя почва не могла бы существовать без меловых отложений.

На экране телевизора — чехословацкие делегаты международного Совещания коммунистических и рабочих партий беседуют с рабочими завода «Динамо».

Тихо усаживаюсь рядом с Яковом Гавриловичем. Он опустил кулаки на столик, уперся в них подбородком. Круглая плешинка над ухом дяди Азата отражает голубой свет телевизора. Шушукуются женщины. Из послеоперационных палат доносятся приглушенные дверями стоны, разговор.

Египтянин Саид бесшумно стал спиной к окну и, скрестив на груди руки, смотрит своими круглыми, древними глазами.

Зазвучала музыка. На телевизионном экране — лауреаты международного фестиваля танцев.

Перестали шушукаться женщины. Яков Гаврилович оторвал подбородок от своих кулаков. И только дядя Азат молчалив и серьезен.

Сидя в диспансерной столовой у телевизионного экрана, мы приобщались к древнему и вечно живому творчеству танца, забывали о боли, жили большой жизнью здоровых людей.

Кто-то тронул мое плечо.

— Простите, пожалуйста, — сказала Ариадна Марковна, — вы мне нужны.

Ариадна Марковна пошла не в процедурную, где обычно беседовала с больными, а — по коридору, через раздаточную столовой, мимо кладовой Зинаиды — сестры-хозяйки.

«Ординаторская».

Слева от входа у стены — железная койка, такая же, как в палатах. За койкой — однотумбовые письменные столы; у открытого двустворчатого окна — стол побольше.

— Здесь мы обсуждаем вчера и сегодня каждого больного и думаем о его завтрашнем дне... Вот мой стол. А этот побольше — Гладилина. Совсем как в сказке Толстого о Машеньке и медведях.

Она села, опустив руки на столешницу. Освещенные близким настольным светом руки ее виделись бледными, слабыми, их почему-то хотелось погладить.

Комната небольшая, такая же, как у нашей редакции. И столов столько же — четыре. Правда, в редакции не было кровати.

— У больных не всегда верное представление о

врачах: одни считают нас богами всемогущими, другие — шарлатанами.

— Хирургов шарлатанами не считают. Их страшатся, зато им и верят. Не все, конечно,—я вспомнил Николая.— Отрезанная боль реже возвращается... Хирургов называют еще и костоправами.— Я тут же пожалел о сказанном. Не следует и косвенно грубить врачу, который лечит тебя, думает о тебе, волнуется не меньше тебя самого, готовясь к операции... И ты у нее не один... И раньше и теперь особенно я замечал почти родственную близость больного и врача. О ней, правда, не говорят, зачем говорить: молчаливая близость крепче.

К счастью, Ариадна Марковна не обратила внимания на мои слова. Тонкая, легкая, женственная, она была сейчас и сильнее меня, и снисходительнее.

Мне хотелось успеть на второе отделение фестивального концерта.

— Вы журналист,—услышал я.— Бывали на заводах, в колхозах, наверняка спускались в шахты, воочию восторгались гидростанциями...

— Было,—сказал я.

— А в кабинет врача, в операционную, в больницу как журналист, а не больной небось не входили?

— Входил,—сказал я.— И присутствовал при операции... Двадцать лет назад в читинском госпитале.

Она посмотрела на меня чуть дольше обычного. Потом сказала:

— В этой комнате, как я вам уже говорила, мы обдумываем каждого больного... Нелегко мне было сообщить Андрею Васильевичу о возможной ампутации ноги. А жене и дочери? Но молчать не имела права. Не могла... И привычная операция приносит неожиданности. Любую операцию делаешь как впервые... В нашем диспансере особенно. Рентген не способен показать все изменения в организме человека. Решаешь в считанные секунды, советуясь лишь со своим опытом... Иногда интуитивно... Простите, я забыла, что вы больной...

— Я и сам об этом сейчас забыл.

— Садитесь, пожалуйста.

Я сел.

Музыки все еще не было слышно. Теперь руки Ариадны Марковны не выглядели слабыми, прозрачными, нежными. Ее пальцы вращали черную шариковую ручку, будто ввинчивали ручку в настольный свет. Сильные, решительные, тренированные пальцы. От них зависела моя жизнь.

Я ждал, что она начнет меня осматривать.

Она вынула из стола папку с белыми завязками. История моей болезни распухла от анализов, снимков, консультаций, заключений, исследований, назначений, электрокардиограмм. В истории появилась солидность.

— Почему меня до сих пор не оперируют?

Я не хотел упустить возможность все выяснить, все, о чем постоянно думаю, что меня неотступно беспокоит. Ее пальцы случайно закрыли мои инициалы, часть фамилии. Было странно и неудобно видеть: «...енеев».

— Я ждала этого вопроса.— Ариадна Марковна взяла папку за бока, как бы готовясь поднять. Мои инициалы и фамилия открылись: Алексей Владимирович Веденеев.— Пять лет прошло с того дня, как вы обратились к нам. Тогда вы сочли возможным избежать операции... Избежать,— повторила Ариадна Марковна, как бы удивляясь этому слову.— А ведь Старик предлагал вам?

— Предлагал,— сказал я.— Не очень твердо, но предлагал.

И она называет его Стариком.

В ту зиму я не хотел на это пойти. Чувствовал себя здоровым. И командировка в Хабаровский край могла больше не представиться. Так совпало, что и ты со мной поехала.

Об этом я не стал говорить Ариадне Марковне. И Старiku тогда ничего не сказал.

Почти все пять лет, не считая редкие дни, очень редкие и короткие дни, мне было достаточно хорошо. Лишь последние месяцы... А разве совсем здоровый человек всегда чувствует себя одинаково?

— На днях все выяснится, не торопитесь.

Она обошлась без слова «операция». Ее пальцы оторвались от папки, твердо и решительно вращали шариковую ручку.

Мне, пожалуй, следовало уйти. Тем более, что я хотел успеть на второе отделение концерта лауреатов международного фестиваля танцев. Но уйти было нельзя. Она сама должна вежливо выпроводить меня. Она бы и выпроводила, не будь я ей нужен.

— Что вы читаете? Я видела вас с книгой.— И, не дожидаясь ответа: — Где ваши родственники? Никто о вас ни разу не говорил со мной.. Странно.

Ариадна Марковна опустила шариковую ручку. Ручка с шорохом скатилась по картонной папке, тихо стукнулась о столешницу.

— Аполлинера,— сказал я.— Стихи Аполлинера и «Преступление и наказание» Дост...

Заглушив окончание слова, открылась дверь. Наклонив голову, вошел доктор Гладилин.

— Добрый вечер. Что нового?

— Без перемен... Это Веденеев...— Она что-то сказала по-латыни.

Я встал.

Гладилин возвышался надо мной на полторы, на две головы. Я чувствовал себя перед ним мальчиком. И в то же время рядом с Гладилиным мне было спокойней.

— До свидания,— сказал я.— Спасибо.

Ариадна Марковна ободряюще улыбнулась, поднялась со стула. Она обращала взор то наверх, к Гладилину, то ко мне.

Улыбка оставалась на ее лице, правда не ободряющая — застенчивая, смущенная. Возможно, ей приятно неожиданное посещение доктором Гладилиным ординаторской.

— Досматривайте концерт, Веденеев... Я вам завижусь.

Дверь отделила меня от хирургов. Голос Гладилина, теряя слова, пробился ко мне:

— ...в четверг... Обызова... Гарбузова... хорошо... Веденеева...

Уже уйдя по коридору далеко от двери, от глухого, разбавленного расстоянием голоса, от ощущения беседы с Ариадной Марковной, я вдруг понял: названный доктором Гладилиным вслед за Романом Петровичем и Андреем Васильевичем Гарбузовым Веденеев — это я.

— Зачем вас звала Ариадна Марковна? Что-нибудь случилось? — спросил Роман Петрович после концерта.

— Да так.

Роман Петрович подозрительно глянул на меня. За последние дни темные круги у него под глазами заметно углубились. Ходил он и вообще двигался не так легко и быстро, как в первый день нашего знакомства, и его голос осип, будто разгоряченный Роман Петрович выпил ледяного пива или съел мороженого.

Я не стал рассказывать о невольно подслушанном разговоре доктора Гладилина с Ариадной Марковной. Это была не та новость, какую следует сообщать немедленно.

Роман Петрович долго глядел в одну точку, сказал простуженным голосом:

— Есть общее между живописью, вообще рисунком и танцем: пластичность, плавность, непрерывность. Танец слит из множества движений так же, как картина из линий, мазков. А сколько физического, духовного упорства необходимо для каждого жеста, па, чтобы они стали такими, какими мы их видим. Живопись статичней.

— И сжатая пружина с виду статична.

— Как, как вы сказали? — повернулся ко мне Роман Петрович. — Это, пожалуй, удачно замечено... «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Запорожцы» или «Бурлаки» Репина... Их впечатляющая выразительность разворачивается в сознании, в памяти годы, всю жизнь. Именно как пружина... Танец нельзя запечатлеть в непрерывности его движений.

— В кино, — сказал я.

Послышалось кряхтенье, оханье, дверь впустила Якова Гавриловича Кафтанова, Андрея Васильевича Гарбузова.

Запахло табачным дымом, лекарствами.

— Завтра утром жена принесет мне молоденькой картошки со сметаной. И свежей рыбы. Карп. Речной... Зеркальный карп. Сейчас он живет в ванной. Я разговаривал с женой по телефону... Всех угощу, всю нашу палату... Ой!

Выпуклые глаза Якова Гавриловича добродушно лоснились. Из них выпирало желание как можно скорее угостить нас зеркальным карпом.

Андрей Васильевич не оставил костыли в углу, как обычно, а пришел с костылями к кровати. Он поглядывает, как на чужую, на свою правую ногу, на вздувшуюся округло штанину.

Андрей Васильевич прислонил костыли к стене. Они скользнули по масляной гладкости, упали с вибрирующим стуком.

Роман Петрович вздрогнул, шумно захлопнул обеими руками альбом.

Я поднял костыли.

— Положите их на пол, у койки, чтобы я мог их достать. Пора привыкать к костылям,— сказал Гарбузов.

— Завтра мне рентген желудка... Анализ крови на сахар, еще что-то. Тут всё найдут... Работаешь — ничего нет, в больницу ляжешь — всё найдут.

— Зачем же вы легли, Яков Гаврилович?

— А что делать? Полипы.

— И золотого карпа вам утром не придется попробовать, к сожалению,— сказал Роман Петрович.

— В обед попробую или в ужин, на то и холодильник... Ох-хо-хо, грехи наши тяжкие.— Яков Гаврилович сразу же засыпает.

Я знал, что предстоит операция, и ждал ее, и хотел, чтобы она скорее прошла. Но и чувствуя ее приближение, продолжал надеяться: все обойдется. Откроют новое лекарство, как открывают остров, планету, элемент; придет консультант, необыкновенно ученый академик медицинских наук, еще раз посмотрит меня, велит сделать сто исследований, анализов, рентгенограмм и, когда все будет сделано, еще немного подумает и пропишет пилюли, таблетки, вливание — он знает, что прописать, — и мою хворобу как рукой снимет. Это были неясные, постоянно жившие во мне надежды, постоянная вера в науку, во власть и силу докторов, денно и нощно пекущихся о моем здоровье.

Так в человеке, особенно в молодости, живет предчувствие полета. Не случайно дети и подростки часто летают во сне.

Летать во сне приятно. Почти осязаемо ощущаешь чудо полета и вместе с тем гордость и превосходство над неумеющими летать. Проснешься, и все исчезает.

Услышав, как Геннадий Валентинович Гладилин сказал: операция окончательно решена, я словно сорвался с неба.

Но страх постепенно сменился надеждой с помощью операции не только избавиться от боли — это само собой, — но и освободиться навсегда от гнетущего чувства обреченности, ожидания самого худшего. И, думая об этом, я спасительно представлял богатырски сложенного доктора Гладилина, его могучие руки кузнеца, уверенный взгляд и рядом с Гладилиным Ариадну Марковну, в которой постоянно пульсирует жизнь и ничто противоположное жизни никак не совместимо с Ариадной Марковной.

Помнилось: она оперировала Александра Степановича, Кагарницкого, лечила дядю Азата. И теперь Александр Степанович на своей даче глотает во все легкие чистейший кислород, слушает соловьев, варит клубнику, смородину. И дядя Азат в скором времени поедет в Сергач, и Кагарницкий вернется к любимой дочери и способному, хотя и ленивому внуку.

Окна касалась июньская ночь. Обрывки впечатлений, будто смазанные, нефокусные кадры, дымилась в мозгу. Я хотел уснуть, увидеть тебя, солнечный берег реки; я всегда хочу видеть тебя, а еще сильнее хотелось увидеть маму, и желание увидеть маму уже не было желанием, а инстинктом, неподвластным ни моей воле, ни мысли, как само по себе при крайней беде рвется из горла: «Мама!»

Я начал засыпать и мог бы, верю, увидеть и маму, и тебя, и солнечный лес у реки, но Яков Гаврилович застонал, закричал, засопел, его стодвухкилограммовое тело заворочалось на болезненно скрипящей кровати.

— Вам плохо, Яков Гаврилович? Позвать сестру?

— Нет, это так, привычка.— Он перестал кричать, фыркать и захрапел с такой силой, что оконные стекла беспомощно зазвенели.

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

Серафима Павловна поднялась со скамьи, пошла по дорожке.

Я догнал ее. Она улыбнулась приветливо и грустно. Глядя куда-то вверх, вправо, тихо сказала:

— Сегодня операция... Вот и вышла в сад... Когда-то еще придется ходить, дышать свежим воздухом, видеть близко открытую зелень... И говорить, разговаривать вот так, просто, сидя и стоя...— Оглядела сквер, как всегда по утрам свежий, душистый, дома за сквером, высокие и малоэтажные. Прислушалась к привычному, а потому и незаметному гулу Москвы.

И вид и голос Москвы успокаивали и ободряли своей полной жизни бесконечностью. Все было похоже на вчерашнее, и все было новым, необыкновенным, как солнце.

— И вовсе потом ничего не увидишь...

Теперь она в упор смотрела на меня. Должно быть, ждала и хотела, чтобы я возразил ей.

Ничего не сказал: она права. И сам порой чувствую то же.

Сегодня и Роман Петрович ляжет на операционный стол. Возможно, уже лежит... И Гарбузов.

А жизнь шла своим чередом. Галерею, ведущую из старого здания диспансера в новое, освободили от лесов. Где-то, в нескольких километрах отсюда, закладывали фундамент онкологического центра.

Все было, как было: настоящее становилось прошлым, будущее — настоящим.

Серафима Павловна остановилась. И вдруг я увидел, как она стареет. Наверно, она старела все минуты пути от скамьи в сквере до входа в диспансер. Я не замечал этого. А вот сейчас увидел.

Вообще-то я не люблю целовать женщинам руки, считаю смешным, сейчас захотел сделать это. Серафима Павловна отдернула руку, покраснела.

Хлопнула дверь. Посыпался дождь. Холодный ветер задул со всех сторон. Больные побежали в палаты. Крупные капли дождя топтали тополиный пух.

Ко мне приближался дождевик с капюшоном. Иглы воды прыгали по зеленой синтетической поверхности. Дождевик был похож на ежа. Он спешил. Сейчас мы столкнемся.

— Вот вы где! — услышал я голос Феликса Архиповича, редактора.

— Люблю дождь, — сказал я.

Сквозь дождь взгляд Феликса Архиповича выражал сочувствие.

— Говорил по телефону с вашим лечащим врачом... Я все знаю... Я пришел не поэтому... не только поэтому... Звонила Антонина Филипповна...

Феликс Архипович, по обыкновению, разделял речь долгими паузами. Дождь его не касался. Плащ с капюшоном почти достигал щиколоток. Пожалуй, редактору нравилось стоять под дождем в промытом воздухе сквера. Мой линялый халат, сцепленный булавкой на шее, почернел и отяжелел, ноги в босоножках промокли.

— Антонина Филипповна беспокоилась... Она полагала, что вы в командировке. У нее было предчувствие, сон... И она позвонила в редакцию. Антонина Филипповна ничего не знала?

— Нет.

— Я сказал ей.

Порыв случайного ветра дернул верхушку тополя, и вместе с ошметками мокрого пуха на редактора свалился поток воды. Часть воды попала и на меня.

— Я ей сказал, — повторил редактор. — Дело в том, что завтра я улетаю на две недели в Алтайский край.

Сразу я не понял, какая связь между твоим звонком и завтрашним отлетом Феликса Архиповича в Алтайский край, но расспрашивать не стал. Сейчас это утратило смысл.

— Она просила передать: у нее осталось одно срочное дело. Она сказала: очень важное... И сразу

же вылетит... О дне операции я не знал. Полагаю, она позвонит в диспансер.

Какое-то время мы молчали. Потом редактор протянул мне книжку малого формата, обернутую сухой газетой.

— Только дочитал... в трамвае... Советую.

— Спасибо, Феликс Архипович.

Я спрятал детектив под пижамную куртку. Менее мокрого места на мне не осталось.

— Ваша статья пошла целиком, без сокращений.— Он хотел меня обрадовать.— Надеюсь, все будет хорошо.

Феликс Архипович уходил медленно, не поворачивая головы. Да и невозможно это сделать в капюшоне. Он был похож на странствующую ель.

На лестнице пусто.

Маленькая женщина в лиловом халате разевает рот за стеклом автоматной будки, втискивает слова в эбонитовую трубку:

— Да... Нет, не будут... Все обошлось, слава богу... Нет, я говорю: слава богу... Ложные симптомы... Не сложные, а — ложные, ложные, ложные, лож-ны-е... от слова «ложь»... вранье... обман... Дурак ты, вот кто ты... Ладно, потом объясню... Завтра или послезавтра. Радуйся пока один... Привет... И я целую.

Прошел мимо застекленной радости в свой коридор.

От лифта, по столовому холлу санитары везли каталку. Дверь послеоперационной палаты распахнута ждала.

Показалась сестра Люба, Гриша в своей белой, похожей на испанскую пилотку, шапчонке.

— Роман Петрович,— сказал иссера-бледный, испуганный Яков Гаврилович и куда-то исчез.

Уже санитары в марлевых повязках, сдвинутых на подбородки, провезли пустую каталку в сторону лифта; дверь в послеоперационную палату плотно закрыли; Кафтанов побежал и скрылся; а я рядом со всем этим продолжал видеть бледное лицо Романа

Петровича, тонкие, лиловатые, натянутые на глаза веки, черные усы с резкой сединой.

Розу и две гвоздики слепо несла перед собой жена Романа Петровича. Мокрая прядь прилипла к ее щеке. Волосы высыхали, топорщились, становились русыми. К белому платью словно ветром прибило кленовые листья.

Отчетливо виделись и целиком роза и гвоздики, и каждый их лепесток в отдельности. Цветы вздрагивали при каждом шаге женщины, но капли не опадали, продолжали нести на себе отражение окон, мокрой зелени, оплавленных вымоин неба.

Вернулся Яков Гаврилович. Он принес банку клубники. Ягоды были выставочно крупны. Запах клубники рвался во все стороны.

— Очень чистые ягоды, — сказал Кафтанов. — Сам мыл. Отнести ему, как вы думаете? Может быть, еще что-нибудь нужно?

Килограммовая банка в его руках выглядела игрушечной. Выпуклые глаза выражали горе, жалость, испуг.

— Жена утром принесла. Прямо с рынка. Но я помыл. — Рукава его пижамы чернели от воды.

Я тронул рукой плечо Кафтанова. Прикосновение ободрило его. Испуг исчез. Он весь повернулся ко мне, задел животом мой распахнутый мокрый халат.

— Это хорошо, — сказал я. — Роман Петрович обрадуется. А можно ли ему есть клубнику сегодня? Вообще есть?

— Кто знает? — вздохнул Яков Гаврилович.

— Простите, — обратился я к проходившему мимо Грише, — можно Обызову сегодня есть клубнику?

Гриша одним взглядом охватил меня, Кафтанова, ягоды в сахаре за влажным зеленоватым стеклом банки, сказал:

— Нет... И завтра — нет. — Он взялся за ручку двери перевязочной, остановился, вернулся к нам: — Веденеев, снимите с себя все мокрое, ложитесь в постель... И съешьте клубнику. Вам она в самый раз.

Андрея Васильевича Гарбузова повезли на операцию.

Сон: ты стояла на застекленном носу сверхскоростного воздушного корабля. Что-то кричала или шептала. Это было все равно. Я хорошо тебя видел, но не слышал ни слова. Воздушный корабль обгонял не только сторонние звуки, но и свой шум.

Проснулся и увидел Гришу. Он протянул мне термометр, сказал:

— До завтрака возьму у вас кровь из вены. А после пойдете на электрокардиограмму. В новый корпус.

Из-под Гришиной пилотки выбились черные курчавые волосы. За его спиной было солнце, тополя, бурая крыша завода.

Яков Гаврилович сунул под мышку термометр, поскреб пальцами волосатую грудь.

Водитель персональной «Волги» приоткрыл дверь в нашу палату, просунул голову, спросил:

— Можно?

— Пожалуйста.

Водитель как-то боком, в профиль вдвинулся к нам, откашлялся, потер левой рукой губы, и на потертых губах появилась улыбка. Продолжая стоять так, как бы извиняясь, сказал:

— Намереваюсь перебраться на свободную койку. Не возражаете?

— Почему ж, — говорю, — милости просим.

— Добро пожаловать, — приглашает и Яков Гаврилович.

Водитель повернулся к нам. Едко запахло табаком.

— До чего ж ты протабачился, — восхищенно удивился Яков Гаврилович, — даже курить потянуло. — Он сунул в рот папиросу и тут же заменил сигаретой с фильтром.

— Никак вы на сигаретки перешли, Яков Гаврилович? Дозвольте вашу папироску.

— Не боишься?

— Я не брезгаю, — сказал водитель.

— А может, я варазный,— ухмыльнулся Кафтанов.— Может, у меня инфекционное заболевание последней стадии.— Иностранцу нравится произносить слова, которые он недавно узнал.

— Шутники вы, товарищ Кафтанов, одно слово: шутники,— водитель коротко хихикнул...

В окно перевязочной светило солнце.

Стены, шкафчики, простыни и подушка на кушетке, покрытой целлофаном, шапчонка и халат на Грише белы до рези в глазах, словно полуденный февральский снег.

Черные Гришины брюки среди белизны существовали сами по себе.

Я лег на знакомую кушетку.

С иголки шприца остро брызнул свет.

— Хорошо идет,— похвалил Гриша.— После завтрака не забудьте на электрокардиограмму.

Дядя Азат сказал:

— Позавтракаю и поеду... Я из Сергача...

Дядя Азат с аппетитом ел манную кашу с голландским сыром. Глядя на дядю Азата, сам захотел манной каши с сыром. К тому же и вид у него намного лучше, чем в первый день нашего знакомства.

— Вчера рентгеном просвечивали,— говорит дядя Азат.— От язвы рубец остался. Неплохой рубец, докторша сказала... А хотели резать. Резать шибко нехорошо. Теперь дядя Азат здоровый. Только не все есть может. Диета... Как думаешь: докторше яблок pošлю, не обидится? У меня своих восемь корней. Вкусные яблоки... Якши.

— Правильно,— сказал я,— и докторши любят яблоки.

— Я вам завидую, дядя Азат,— сказал Кагарницкий,— скоро вы будете дома.

— И Волгу увижу.

— И я поехал бы к морю, в Одессу... Жить и умирать надо на родине.— Кагарницкий пожал дяде Азату руку и, прихрамывая, ушел в палату.

— Авось и встретимся,— сказал мне Азат.

Постучал в дверь электрокардиографического кабинета.

— Заходите, пожалуйста, ложитесь.

На губах сестры вежливая должностная улыбка. Мне по душе, когда улыбаются, пусть даже так, в служебном порядке. Светлеет вокруг, хотя сегодня и без того солнечно. От улыбки светлеет по-другому.

Сестра передвигает на моей груди, как шахматную фигуру, электрокардиографический присосок. Ближе вижу на ее халате значок «Ударник коммунистического труда». И обручальное кольцо на пальце сестры я тоже вижу.

Возвращаюсь через поликлинику, мимо кабинета Старика. У его двери — очередь. Та же пальма стоит у окна. Люди из очереди провожают меня взглядами, полными любопытства, отчужденности, испуга. И я, дожидаясь в свое время Старика, с таким же отчужденным любопытством провожал больных из стационара. Где-то в донной глубине сознания существовало предчувствие: стационар — мое будущее.

Мне захотелось увидеть Старика. Оказывается, я хочу видеть Старика. Интересно, помнит он меня? Я-то его помню. А он? Пожалуй, и он меня не забыл. Не мог просто и сразу забыть, когда я так его помню. Мне важно его увидеть. Нет, не выпрашивать, не пытаться узнать врачебную тайну. Смешно. И что мне это даст? Чем поможет? Просто охота перекинуться со Стариком словом, шуткой. Как в те дни, когда мы встречались почти на равных: у каждого свое важное дело, каждый при своем галстуке, со своими документами. Было неплохо. Старик умеет шутить, любит шутку.

Да, увидеть его было бы хорошо... Случайная встреча крестного со своим крестником в коридоре, в деловой обстановке. У каждого свои заботы, своя одежда, свое будущее.

В это время он вышел из кабинета. Я остановился. Хотел уйти в сторону. Не мешать. Не торчать, как бельмо на глазу.

Кто я, если говорить всерьез? Больной в потертой на коленках и локтях лиловой пижаме. Он скользнет устало взглядом по мне, занятый своей, возникшей

еще раньше, в кабинете, а то и вчера, мыслью, и уйдет, пританцовывая, по неотложному делу.

Мало ли по какой нужде Старик вышел из кабинета.

Очередь притихла. А те, кто стоял, выпрямились, как солдаты на смотре. Он шел по холлу, весь белый, светлый, с крашеным клоком волос, гордый и спокойный.

Я приник к пальме, к ее сухому шороху и старался независимо смотреть во все стороны.

Поравнявшись со мной, Старик резко остановился.

— Веденеев! — сказал он. — Алексей Владимирович!

Я вздрогнул, восхищенный его памятью.

— У вас неплохой вид. Ариадна Марковна вами довольна. И доктор Гладилин. — Он обнял меня за плечи...

Нет, теперь мы не были равны. Он старше меня, и не только старше... Моя жизнь, мое завтра, моя возможность уйти отсюда в пиджаке, в галстук, с документами были в его руках.

— Я к вам собирался зайти, Веденеев, кое о чем расспросить... Вы немало повидали на своем журналистском пути. Наш путь короче: из кабинета — домой, из дома — в кабинет. Я к вам зайду.

Я не сказал ему об операции. Он и сам все знал. Взглядом проводил его. Старик шагал прямо. Несколькими прямыми, чем следовало бы.

На него смотрели люди, и он не имел права сутулиться. Он и сейчас лечил больных своим бодрым, уверенным видом, улыбкой.

Так Старик ступал по холлу, чем-то похожий на Петра Первого. Он очень твердо и прямо ставил ноги. И вдруг исчез за поворотом. Там помещалась лаборатория. Я точно знал, что за поворотом холла — лаборатория.

Аромат роз, гвоздик смешивается с запахами сгущенного солнечного света, лекарств.

Роман Петрович окружен системой трубочек, резервуаров, приборов. Ему нельзя ни говорить, ни

ворочаться, ни есть, ни пить, ни выражать восторг, ни негодовать... Ему разрешено только жить.

Тем не менее глаза Романа Петровича смотрят на нас. И мы молчим. Неловко говорить с человеком, который не может ответить.

Его ресницы сомкнулись и снова, шире, раздвинулись, как бы помогая глазам вобрать как можно больше.

Глубже заглатываю воздух, говорю:

— На вашу койку перебрался водитель персональной «Волги». А так все по-старому.

— А что делать? — вздыхает Кафтанов.

Мы подходим к Андрею Васильевичу.

— Садитесь, — приглашает он.

Мы не садимся. Что мы, гости? Продолжаем стоять. Мы такие же, как Роман Петрович, как Андрей Васильевич, и недалек день, да чего там день — час, когда мы также будем лежать в ожидании лучшего.

Слышу шепот Гарбузова:

— Правая нога-то зудит, особенно большой палец... Поглядите-ка...

Нет, правая нога у Андрея Васильевича отсутствует. Сказать ему об этом неудобно. Начинаю краснеть.

Заметив мое смущение, Андрей Васильевич говорит:

— Теперь мне хватит левого ботинка... Экономия как-никак.

Яков Гаврилович переминается с ноги на ногу и, как автомат, без выражения произносит:

— А что делать? А что делать? А что делать?

Не отводя глаз от Романа Петровича и Андрея Васильевича, пятимся из палаты. От двери машем рукой: мы к вам придем, завтра или послезавтра наверняка.

Это со стороны кажется: жизнь в больнице однообразна... Жизнь больного полна не только главного волнения и беспокойства о собственном здоровье, она связана множеством различных нитей с трудом врачей, профессоров, лаборантов, с работой медицин-

ских сестер, обязанных помнить о назначенных тебе лекарствах, процедурах, перевязках, обеде, ужине, завтраке, о твоей температуре, давлении и о многом другом.

Твоя жизнь в больнице зависит и от деятельности санитарок, особенно когда ты лежачий и когда дни и ночи с горизонтальных позиций наблюдаешь: кусок окна, подоконник, пятна и линии на потолке и стенах, ищешь в них сходства с людьми и животными, со знакомыми пейзажами. А взгляд то и дело натывается на резервуар, из которого по капельке падает в твою кровь физиологический раствор.

Для лежачего санитарка — главный человек. Не зря ее нежно и ласково зовут: няня, нянечка. А она любезно, жалеючи, милосердно обращается к страдающему человеку: милый, сердешный, дорогуша; и неизменно на «ты», как к ребенку, независимо от общественного положения, образования, должности, возраста и других анкетных данных.

Больные для няни все равны. И этот больничный демократизм, эта человеческая открытая доброжелательность — самые светлые, благородные, традиционные черты больничных отношений.

С виду суровая баба Лиза... Маленькая, полная, быстрая, как челнок, тетя Клаша... Какой жалостливой добротой полны их глаза, их сердца, их руки, когда они поправляют подушку, вытирают марлей тяжкий пот со лба или уносят «утку», подставляют поудобней судно тяжелому или послеоперационному больному.

Будьте благословенны, материнские руки нянь!

В который раз вижу невысокую яблоню; желтоватую дорожку с неровными бровками; гряду кустов боярышника, акации, жимолости; чугунный забор. За ним начинается или закончилась другая жизнь.

Еще две недели назад не мог и представить, что семнадцатого июня буду вот так сидеть в сквере диспансера, ждать операции и что вся моя додиспансерная жизнь будет казаться особенной, освещенной, счастливой, словно юность и детство; любой день додиспансерной жизни, самый трудный день оттуда

вспомнится с радостью: я был здоров, силен, а когда захворал, долго не догадывался о своей болезни. Врачи правы: неведение иной раз действует как лекарство.

Прошел, мягко улыбаясь и щуря глаза за очками, Михаил Сергеевич в черной с желтыми обшлагами пижаме. Он как-то рассказывал мне о самоотверженности воробьев, читал Тургенева. Рядом с Михаилом Сергеевичем белокурый синеглазый Тимоша курит, смеется. Черная пижама ему к лицу.

С медлительностью священника ступает пожилой человек. Свою черную пижаму он носит с торжественным достоинством, как оксфордскую мантию. Седые волосы густыми волнами омывают его желтоватый высокий лоб, словно подчеркнутый смоляными бровями.

Откидываюсь на удобную спинку скамьи. Сквозь яблоневую листву светит небо.

Черт бы побрал Феликса Архиповича: не догадался в телефонном разговоре с тобой придумать для меня срочную командировку, срочную и продолжительную командировку на Чукотку, в Магадан, на Северный полюс, в Батуми... Мало ли что мог сочинить любитель детективов...

...Мы тоже трудились на апрельском субботнике. Правда, не знали, куда пойдут заработанные деньги. Да и кто об этом думал... Онкологический центр наверняка воздвигнут в лесу, поблизости от реки... Не одно, много зданий, достойных нашего времени...

Тысячи ученых... миллионы опытов... усилий... воли, нацеленных в одну точку...

На синеватый линолеум легли краски заката.

В палате никого нет. Я пишу тебе письмо.

— Веденеев! Веденеев! В перевязочную!

Письмо остается на тумбочке. Туго обтянутые коротким, выше колен, халатом бедра сестры Аллы покачиваются впереди меня. Где она научилась так ловко ходить?

— Не отставайте, Веденеев,— просит сестра.

Я с удовольствием разглядываю и Аллин рыжий курчавый затылок, и обнаженные ноги. Другое дело, что я с трудом поспеваю за ней. Тут уж никто не виноват.

В перевязочной Алла велит мне снять рубашу, после чего я скрещиваю руки на груди, не гордо, понаполеоновски, а осторожно, застенчиво.

— Вы себя очень любите, Веденеев? — спрашивает Алла.

— Не знаю.

— Зачем же вы так нежно себя обнимаете? Опустите руки по швам, Веденеев.

Алла берет обыкновенную безопасную бритву. Я вздрагиваю от ласковой теплоты ее пальцев.

— Беспокоит? — парикмахерским голосом спрашивает Алла.

Щекотно. Кожа недовольно морщится.

— Нет... Смешно.

— Тогда смейтесь... Не очень громко... Смеяться можно.

Волосы не спеша падают на пол. Я чувствую себя еще более голым.

— Вы как Далила, Алла.

Она перестает брить, оглядывает меня с ног до головы взыскательным взором удлинённых, в сиреневых ресницах глаз и произносит почему-то без улыбки:

— Потерпите, Веденеев... Еще минуточку... Вот так... Теперь можете идти...

— Спасибо, Алла, — говорю я с грустью. Мне не хочется уходить от ее щекочущей бритвы.

Операция рядом.

Меня побрили, припасли на всякий случай кровь моей группы, назначили для меня койку в послеоперационной палате. Я знаю эту койку: на ней Федор Лоскутков — легочник. Его переведут в нашу палату, а меня из операционной принесут на место Лоскутова.

Лоскутков уже ходячий. Он порозовел. Почти все ест. Только не курит.

— И с одним легким живут,— говорит он.— Горький жил с одним легким...

Письмо я тебе послал.

Желтый, как яичный желток, почтовый ящик с государственным гербом, ничем не отличающийся от тысяч других, висит у входа в диспансер. Ты прилетишь из командировки, и мое письмо встретит тебя.

Город зажигает огни. Неподвижные огни фонарей и зданий. Летящий свет трамваев и автобусов.

Вижу: в трамвайном окне длинноволосый парень сжал обеими руками букет цветов.

Громяхают черными костяшками любители домино. Уютно вспыхивают огоньки папирос и сигарет.

Впервые я увидел Москву зимой. В январские каникулы мы приехали на экскурсию. Я учился в выпускном классе, а ты — в пятом или в шестом, да точно — в шестом.

Мы побывали в Музее В. И. Ленина, в Третьяковке, в театре, кажется в Малом, спускались в метро. Экскурсоводы рассказывали, объясняли. Кое-кто из нас старательно все записывал.

Прошло четыре экскурсионных дня и, когда наступил пятый, предпоследний, я вдруг подумал: Москвы-то, я и не видел. В музеях, в театре, в метро побывал, а живого города толком не разглядел. Ходили мы, правда, и по Красной площади, и по Советской, и мимо памятника Пушкину, однако больше слушали экскурсовода, запоминали даты, старались не отстать от группы.

И тогда я решил: как уснут ребята, пойду в город один.

Часов в одиннадцать вышел в вестибюль школы, где нас поместили, закурил и увидел тебя. Не знаю уж, каким чувством догадался, что ты меня испугалась.

Я подошел к тебе, открыл свои намерения. И почему-то шепотом ты сказала:

— Потопали вместе. Вдвоем веселей. И не заблудимся.

Тогда я и разглядел тебя при свете московских фонарей и стал отличать от остальных девчонок.

Почти до утра ходили мы по улицам, площадям, переулкам, иногда вслух удивлялись, а больше молчали, запоминали.

И ты наверняка не забыла ту московскую ночь.

Хорошо бы пойти сейчас с тобой в город. На улицу Горького. К огням, витринам, цветам. Молодые гуляют обнявшись. Мне это нравится: они влюблены и никого не стыдятся. А что стыдного в том, что его рука лежит на ее плече? Как в танце. Разве стыдятся объятия в танце, в вальсе например? Музыка? А разве любящих не окружает музыка, непрерывающийся «Сентиментальный вальс»? Они ничего не замечают: только он рядом с ней, только она рядом с ним. И — весь мир поблизости.

И я обниму твои плечи. Коснусь щекой твоих чуть-чуть поседевших волос. Я люблю тебя бесконечно давно. Ты нисколько не изменилась. Нет, изменилась: стала дороже. К любви прибавилась привычка, дружба, уважение, верность.

Поднимемся по улице Горького.

Здание Моссовета. Удивительное сочетание красного и белого. Остановимся и долго, молча, в который раз насладимся строгими пропорциями дворца.

В тени сквера, окружающего памятник Пушкину тихо. Невольно вспоминаются знакомые с детства стихи.

А хочешь, поедem в автобусе, в троллейбусе в любой конец Москвы. Час, два, три... В окнах дома, магазины, кинотеатры, станции метро — старые знакомые и новые. И немало новых. Есть чему удивляться. А уж если очень разохотимся, выйдем из автобуса, будем в упор восхищаться новым домом, новой станцией метро, новым кинотеатром и снова сядем в автобус или спустимся в метро и поедem до конца... А там? Те же высоченные дома. Густая молодая зелень, цветы. Лесной воздух. Москва.

Или, по старой памяти, двинемся к электrozаводу, похожему на средневековый замок, или к автозаводу имени Лихачева, который сам по себе город. В парк культуры и отдыха имени Горького. Все тесно связано с нашей жизнью, с комсомольскими годами, с нашей юностью. Весь этот мир постоянных открытий.

Все в нашей власти, в наших возможностях в любой свободный вечер. Жаль, редки свободные вечера.

Если бы ты сейчас была рядом, а я — не в этой пижаме, не в этом халате, зашпиленном булавкой на шее, а в обыкновенном костюме, в сорочке, в зефировой сорочке с галстуком или без галстука... Какое имеет значение галстук, даже самый модный, если ты рядом, и мы здоровы, и нас ждет Москва...

Устроились на ночь Яков Гаврилович, персональный водитель. И кто это? Федор Лоскутков... Он перебрался на свободную койку. И правильно сделал: чего зря торчать в послеоперационной палате.

Разобрал кровать, разделся и вспомнил: надо почистить зубы. Натягиваю рубашу, пижамные штаны, иду через большую палату в умывальник. Люди в палате стараются как ни в чем не бывало разговаривать, раздеваться, слушать радио, молчать, не смотреть на меня.

Улегся. Появилась сестра Алла, протянула мне таблетку:

— Пипольфен... Будете спокойно спать. С утра ничего не ешьте и не пейте. Не уходите далеко от палаты. Вас позовут. Спокойной ночи, Веденеев.

Я спал.

Проснулся с мутной головой и никак не мог разлепить веки. Открывал, а они тяжело склеивались.

Якова Гавриловича и водителя «Волги» в палате не было. Федор Лоскутков с ладонью под щекой добродушно посапывал.

Электрические настенные часы показывали семь. За стеной кто-то пел:

Гори, гори, моя звезда.

Пел старик в бывшей секретарской. Сидел на широком подоконнике, любовался открытым утренним садом и пел.

Воробей устроился на раме распахнутого окна, разинул клюв, смотрел круглыми глазами в рот старику и при каждом звуке радостно топорщил перья.

Утренний свет расположился на морщинистом, словно изрезанном шрамами, лице старика. Это был новый старик. Я встречал его мельком, а сейчас в раннем свете подробно разглядел его профиль. Пролонговатым лицом, орлиным носом, прямыми с проседью волосами старик походил на куперовского индейца. Он был красив и пел:

Гори, гори, моя звезда.

Лишь эти слова. Радостно, грустно, скороговоркой, протяжно. Но лишь эти слова.

На меня старик не обратил внимания. И воробей не замечал меня.

Меня удивило, почему старик поет только: «Гори, гори, моя звезда». Хотелось узнать, что дальше.

На лестнице меня остановила сестра Алла:

— Ой, Веденеев, Веденеев, куда же вы собрались?

Я покраснел.

— Здравствуйте, Алла, вы уже сменились?

— Поэтому и не возвращаюсь с вами в палату. Вы это сделаете без меня. Вы — хороший, я знаю. Всего вам доброго.

Она махнула мне рукой и ускорила шаг. Она спешила. Юбка открывала ее длинные ноги значительно выше, чем мог себе это позволить служебный халат. Освобожденные от сестринской косынки волосы светили, словно рыжий костер. Сестра Алла хорошо накрасила губы и еще немного подвела и удлинила карандашом глаза. Она была похожа на святую. К сожалению, я не сразу догадался на какую. Потом вспомнил: на Марию Магдалину работы Рубенса или, пожалуй, Тициана, нет, скорее всего — неизвестного художника.

Мне стало вдруг неудобно за свою измятую, линялую пижаму. Особенно за брюки с белым резиновым узлом на животе. В больничном сквере до моего узла никому дела нет. У многих такие узлы... Но сейчас, в это ясное утро, когда сестра Алла машет мне рукой... Впрочем, еще сегодня резиновый узел на пижамных брюках станет для меня далекой сказкой.

Дворник, убирая сквер, нашел шампиньоны и поместил грибы в целлофановый мешок. Издали шам-

пиньоны напоминают бело-розовый зефир, пирожные безе.

После уборки сквер сияет. Желтые, выровненные скрепером дорожки, тополя, яблони, зеленая скамья ждут меня.

Начинается утро.

Я медленно вернулся в диспансер. Телефонная будка пуста... Позвонить?.. Рановато. В редакции еще нет никого. Да и стоит ли портить настроение людям?

Женщина с большими серьгами в ушах обогнала меня, бросилась в телефонную будку.

— Веденеев! Вам телеграмма! — Этим сообщением сестра Люба встречает меня на лестничной площадке. — Где вы ходите? Вы знаете, что сегодня...

— Знаю.

— Вас предупреждали, чтобы вы не уходили из отделения?

— Предупреждали.

— Ну?

Я молчу.

— Я вас еще раз предупреждаю.

— Второе серьезное предупреждение.

— Вы шутите? — удивляется Люба.

Телеграмма: «Вылетаю целую Тоня».

Свои вещи я перенес в послеоперационную палату. Мне помогали Яков Гаврилович — Иностранец и персональный водитель «Волги».

Попрощался взглядом с бурым, похожим на медведя нескороаемым шкафом, зарешеченным окном, электрическими часами. Их длинные стрелки конвульсивно дернулись, и стало восемь утра.

Прилег на койку в новой палате и задремал. Действие пипольфена продолжалось.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

Дремал. Пробуждался. Взглядывал на часы.

Хорошо бы самолет прибыл вечером, завтра утром: все будет ясно.

А что, собственно, должно проясниться? Я буду лежать, как Роман Петрович, и молчать в ответ на твои взгляды. Может быть, улыбаться. Изю всех сил улыбаться.

Кто знает, что я смогу завтра...

Такси мчит тебя с аэродрома. Бег машины похож на азбуку Морзе: зеленое тире и красная точка... Зеленый рывок. Красная пауза. Упершись лбом в ветровое стекло, сжав губы, сощутив глаза, ты будто бежишь. Наверно, боишься опоздать.

Дверь открывается без шума:

«Здравствуй, Алеша!»

«Тоня!»

— Да проснитесь же, Веденеев!

Большая секундная стрелка мелко пульсирует, кружит по циферблату на своей драгоценной оси.

Одиннадцать ноль-ноль.

— Оставьте часы, Веденеев.

Сестра Люба бережно берет меня под руку, точно я ослеп, не знаю, куда ступать, в любую минуту могу споткнуться, удариться лбом в стену, упасть.

Яков Гаврилович Кафтанов, водитель персональной «Волги», Федор Лоскутков — легочник, старик с профилем куперовского индейца, баба Лиза со щеткой в руках, Кагарницкий провожают меня добрыми, грустными, испуганными, понимающими, сочувственными взглядами.

Мы поднимаемся по лестнице, мимо телефонной будки, мимо широких площадочных окон, мимо встречающих людей, на третий этаж.

«Операционная».

Я уже проходил здесь. И каждый раз казалось: за этой двустворчатой дверью абсолютно стерильная белизна, прохлада, кристальная прозрачность.

Дверь открылась с медленным скрипом.

Желтоватые стены. Кушетка. У окна за письменным столом женщина в очках что-то пишет.

На круглой столешнице фиолетовое чернильное пятно. Останавливаемся у кушетки. Люба говорит:

— Раздевайтесь.

Люба развернула передо мной, как ширму, простыню, отворотила лицо к женщине за письменным столом и зачем-то прикусила нижнюю губу, оголив белые с влажным блеском зубы.

Отдаю расческу, очки в футляре, створчатом, как раковина, с щелкающей кнопкой.

Люба прячет мои вещи в карман своего халата.

Завернувшись в заляпанную йодными пятнами простыню, иду в операционную.

Здесь по-зимнему светло.

Посреди комнаты узкий, довольно высокий, похожий на каталку стол.

С бесспиной скамьи, приближенной к стене, поднимаются два человека. В темно-зеленых халатах, в белых аккуратных шапочках, с марлевыми масками на лице, они похожи на пасечников.

Я узнал Ариадну Марковну. Но почему она и другой, ниже ростом, человек рядом с ней в темно-зеленых халатах? Или мне снятся халаты цвета кавказских кипарисов, лунные пятна масок?.. Все еще действует пипольфен?

Хирурги должны быть в белом. И тот хирург из читинского госпиталя был в белом.

Неестественно ласковым голосом, каким холостяки и старые девы разговаривают с маленькими детьми, Ариадна Марковна сказала мне:

— Бедные мы, бедные, с утра голодаем, а все хирурги виноваты, все они.

Люба ушла. Меня окружили сестры в привычных халатах, в марлевых масках, в высоких, как папская тиара, косынках. Лиц не видать, лишь нацеленные в меня глаза.

Сестры помогают мне взобраться на узкий стол. Перед моим носом красные, как гвоздики, крестики на белых тиарах. Темно-зеленые халаты, вытянув вперед приподнятые руки, приближаются.

Вспыхивает сферическая лампа.

— Веденеев,— слышу я,— вы успели прочитать телеграмму? — Теперь Ариадна Марковна говорит своим голосом.

— Спасибо. Успел.

— Все хорошо?

— Кажется.

Ариадна Марковна еще что-то сказала... Сферические кольца бестеновой лампы закружились, высветили потолок, сомкнулись с близким блеском глаз хирургической сестры, светом солнца на зелени сада.

Август. Самый конец августа. Синие тени сосен шевелятся на дюнах. Белые чайки то висят над морем на развернутых крыльях, то садятся на воду, покачиваются на мелкой волне.

Море до горизонта звенит, или мне чудится, что море звенит.

Ты идешь рядом со мной у прозрачной воды. Иногда я ловлю твой взгляд: в нем осторожное, заботливое любопытство. Мне смешно: ты еще не веришь, что это я, Алексей, тот самый, который недавно, два с половиной месяца тому назад, лежал неподвижный, бледный и печальный на больничной койке в послеоперационной палате.

Словно заново открываю небо, землю, солнце, открываю жизнь.

Я живу.



СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ...

Маленькая повесть

КРЫЛАТОЕ ЯБЛОКО

Ветер кружит и гоняет листья, а я хватаю их на лету. Не так-то легко ловить летящие листья, они ускользают из-под самого носа, как весной и летом желтые и красные бабочки. Я уже поймал пять или десять листьев, потому что я ловкий парень.

Зачем я остановился? Куда смотрю, задрав голову?

Знаю только я и солнце...

Весь наш дом шумел вчера в саду: срывали яблоки. И я срывал. И ел. Я съел много яблок. Потом яблоки делили на всех. Я тоже делил, и шумел, и кричал, и бегал с Лизкой и Яшкой по саду. А сегодня я один во всем саду.

И солнце... Оно просвечивает яблоко до черных семечек.

А что, если это вовсе не антоновка с черными семечками, а маленькое солнце?

Лезу на дерево по цапучим сучьям. Солнечный малыш скачет от меня все выше. И вдруг пропал. Стало темно и холодно, захотелось домой.

Срываю антоновку вместе с листьями, прячу в карман и слезаю на сухую траву. Голый сад отовсюду глядит на меня.

— Эге-гей! — кричу я, подбрасываю яблоко, и оно летит на своих желтых листовых крыльях выше дерева и снова светит изо всех сил. — Эге-гей!

Прыгаю высоко-высоко и подхватываю двумя руками, как мяч, крылатое яблоко.

Мне завидуют деревья, рыжий жук с острыми ро-

гами. А большое солнце злится и нарочно закрывается облаком.

И как-то сразу я понял: первый раз в жизни попалась мне такая наливная антоновка.

ОРЕХИ

На самом краю сада — орешник. За орешником — глубокий овраг, за оврагом — речка. А что за речкой, я не знаю.

Поперек сада протянулись паутинки, липнут к яблоням, к облезлым кустам смородины, малины, к солнечным лучам. И к моим волосам тоже липнут. Пусть липнут.

А вот и сторожка... Летом здесь жили сторож дядя Мелентий и лохматая собака Шарик.

Теперь я смотрю себе под ноги. Не так-то легко найти сейчас орех. Он забрался под землю, под листья, там прорастет и выскочит на свет зеленой, как лук, стрелкой, и тогда сама хвостатая белка не скажет, что это орех.

Вот он... Хо-хо! От меня не спрячешься, хоть ты и притворился комком земли, камешком-дикарьком, козиным катышком. У меня, если хочешь знать, замечательное зрение. Я все замечаю, даже черную дырку, что прокусил в тебе голодный червяк.

Загоняю пяткой червячный орех обратно в землю и поднимаю новый — тяжелый, с острым крепким носом... Вот это орех!.. Стираю с него мокрые земляные крошки рукой, а потом рукавом и кладу в карман. Лежи там, сохни.

Я уже нашел семь орехов. Нашел-то я больше и повыбрасывал: попадались червивые, мягкие, дырявые, легкие, гнилые.

Я умею находить орехи... Найду сто или тысячу. Я лучше всех нахожу орехи возле старой сторожки. Правда, сейчас мне надоело искать. И семь орехов тоже неплохо. Семь тяжелых, готовых лопнуть, переспелых орехов. Один я съел.

Бегу, прыгаю, пою разные песни, перескакиваю ямки. В ямках еще вчера росла картошка, ее выкопали, но и сегодня можно найти сколько угодно ро-

зовых, желтоватых, фиолетовых картофелин... Только неохота искать.

Лучше бегать и размахивать руками, как гусь крыльями.

Иду на посадку рядом со старым пнем. Здесь спрятана круглая синяя коробка из-под атласных подушечек. В коробке орехи, одна конфета «Золотой ключик» и скользкий подшипник из чистой стали.

Никто не найдет синюю коробку.

Закройте глаза! Раз... и коробка на старом пне. Один орех, два... восемь, девять... Кладу в коробку шесть новых переспелых орехов. Сразу стало легче карману.

Откуда они взялись, эти кирпичные жуки? Кто нарисовал на их спинах уши, рот, глаза? И теперь ушастые, глазастые жуки ползают вокруг синей коробки, стараются в нее заглянуть.

Хватаю сколько могу жуков, достаю другой рукой из кармана спичечный коробок. Поживите пока здесь, а там видно будет.

Я не знал, что Лизка придет в сад, или знал? Прячусь скорее за толстую грушу. Стою за толстой грушей и не дышу. Лизка подбежала к пню и с маху цапнула коробки: синюю и спичечную.

Жуки грохочут изо всех сил: «Откройте!» И Лизка медленно открывает спичечную коробку.

Жуки выпрыгивают кто куда. Жуки смеются большими, до ушей, ртами: «Ловко мы тебя провели, Лизка!»

Выхожу из-за груши и, как будто не я, говорю: — Здравствуй, Лизка... Кто это? — и показываю на пень.

— Жуки, — говорит Лизка.

Последний кирпичный жук уполз за кору... Когда-то еще удастся поймать таких смешных жуков.

— А это? — спрашиваю я про круглую синюю коробку.

— Не знаю, — отвечает Лизка и, сжав губы, откручивает крышку. Из коробки падают орехи; соскаль-

зывает на пенё, а с пня на землю, в траву подшипник из чистой стали.

— Ах! Ах! Ах! — кричит Лизка и бросается вдогонку.

Спустя две минуты спрашиваю:

— Что ты нашла, Лизка?

— Восемь орехов и «Золотой ключик».

И мы снова ищем в траве, в листьях, под корнями старого пня.

Лизка находит ещё один орех, а я: четыре ореха и подшипник из чистой стали.

— Ладно, — говорю я, — наверное, все. Хотя знаю: орехов было пятнадцать.

Пусть вырастут рядом со старым жукастым пнем два ореховых куста, два высоких ореховых куста, и на них будут петь зяблики и другие птицы. Не сейчас, а потом, весной.

— Это я нашла коробку, — сказала Лизка, когда мы всё, кроме подшипника из чистой стали, съели. — Это — моя коробка.

— Это — твоя коробка, — говорю я.

Сидим с Лизкой в саду, среди ореховой скорлупы и белых паутинок, под нами в старом пне громко спорят кирпичные жуки, а рядом в земле уже растут два ореха, чтобы успеть вырасти к весне, когда прилетят из Африки наши птицы.

Синяя, немного проржавленная коробка блестит в Лизкиной руке.

ЛИЗКА — СИРОТА

Лизкин папа — дядя Петя сильно напился и попал под грузовик.

Теперь дядя Петя покойник и лежит с закрытыми глазами в гробу.

В Лизкиной комнате немного пахнет смолой, новыми ботинками и потом. К стене отодвинули, чтобы не мешалась, низкую кожаную табуретку. На ней сидел дядя Петя, когда ещё не был покойником, и чинил обувь. А сегодня в табуретке, как в зеркале, отсвечивает электрическая лампочка. На улице день, а лампочка почему-то горит.

Лизкина мама — тетя Ньюша — с маленьким Леш-

кой на руках плачет, и Лизка плачет. И моя мама, хотя она ругала живого дядю Петю всякими словами и не раз говорила: «И погибели на этого алкоголика нету», плачет, гладит по голове Лизку и принесла ей целых полбатона с маслом и сливовым джемом сверху.

Тетя Варя — у нее глаза всегда намазаны углем, и сейчас намазаны — сказала:

— Дядя Петя был прекрасный мастер своего дела. Он сшил мне модерновые туфли на шпильках... за-качаешься... И сходно взял. Ах, дядя Петя, дядя Петя...

Тетя Варя знает разные необыкновенные слова. Она качается на своих шпильках, тонких, как проволока, и может в любую минуту упасть. Тетя Варя подарила Лизке целую пачку печенья «Мария».

А слесарь дядя Саша, он недавно переехал в наш дом из другого города, сказал:

— Первым делом, Анна Гавриловна (так он зовет тетю Ньюшу), вам на работу надо устраиваться... Приходите к нам на завод. Я поговорю...

Тетя Ньюша заплакала еще громче. Слезы так и текут по ее щекам, текут на Лешку, ему щекотно от тети Ньюшиных слез, Лешка смеется и машет руками.

Все говорят:

— Дядя Петя был превосходный мастер.

— И мужские шил не хуже.

— Чинил все безотказно.

— А что иной раз хватал лишку, так с кем не случается.

— Очень хороший человек был покойник.

Соседи гладят Лизку по волосам, по щекам, приносят из своих квартир кто конфету, кто яблоко. И все называют Лизку сиротой.

Приехала машина с дяди Петиной работы. И я тоже поехал на кладбище, и моя мама. А почему не поехать на машине с красными и черными полосами через весь город?

На кладбище дядю Петю опустили в свежую могилу, а дядя с сапожной работы — он сидел в кабине рядом с шофером, пока мы ехали, — начал говорить. Мы с Яшкой немного послушали и побежали смотреть на разные кресты, красивые камни, немного

лазали через ограды, и я порвал штаны, потому что нам все было интересно на кладбище.

Обратно мы поехали на машине не до дома, а до сапожной мастерской, откуда пошли пешком.

Первой медленно шла Лизка, несла на руках малого Лешку и ела печенье «Мария».

Моя мама и тетя Варя на своих шпильках вели под руки тетю Ньюшу. Тетя Ньюша не плакала, только всхлипывала.

Я смотрел на Лизкину спину и думал: «Лизка — сирота, и ей теперь все можно». А потом вспомнил, что порвал штаны на кладбище и мне здорово попадет от мамы.

ЛИЗКИН ПАПА

Тетя Ньюша работает на заводе вместе со слесарем дядей Сашей. Малого Лешку взяли в ясли, а Лизку скоро возьмут в детский сад.

Все соседки, когда у них есть время, смотрят за Лизкой, чтобы она чего-нибудь, не дай бог, не сделала, никуда не уходила со двора и обедала.

А так мы играем в саду, во дворе, у Лизки в комнате. И Яшка играет. В семью мы не играем, нам не интересно играть в семью.

Смотрим в окно. На улице дождь. Мы с Яшкой смотрим со стульев, а Лизка залезла на кожаную табуретку и смотрит с табуретки. Это ее комната, и Лизка смотрит с табуретки.

На улице все-таки много народу. Люди идут туда и сюда, как будто играют.

Прошел дядя в синем плаще с капюшоном. Под дядиным плащом девочка и мальчик. Они нарочно выскакивают на дождь, смеются, и дядя смеется и заталкивает девочку и мальчика обратно под плащ.

Лизка заплакала. Чего она вдруг заплакала, перестала смотреть в окно и села на кожаную табуретку? Или Яшка ее ни за что сильно ущипнул? Нет, Яшка сам собирается заплакать, уже сморщил нос.

— Мой папа был хороший! — крикнула Лизка и вытерла рукавом глаза и нос. — А раз летом он пришел совсем тверезый, тогда еще Лешки малого у нас не было. Пришел и сказал: «Собирайтесь в кино. Вот

билеты. Как бы не опоздать...» И мама скорее надела новое платье, и, когда надевала, пела, и немного смеялась, как маленькая... И я надела чистый сарафан с цветочками и туфли. Сам папа сшил мне те туфли. И мы пошли.

Лизка слезла с табуретки и показала мне с Яшкой, как они шли в кино:

— Папа шел вот здесь, я — посередине, а здесь — мама. Я держала их за руки, и мы шли. Через двор, а потом по улице... Я еще увидела тетю Варю и крикнула: «Тетя Варя! А мы идем в кино!» Я не вру. Пусть тетя Варя скажет.

А папа рассмеялся и стал рассказывать о птицах. Он знал всех птиц: щеглов, клестов, дроздов, снегирей, скворцов, пеночек... и чижиков. Папа всех птиц называл, а я, дура, забыла. Папа обещал взять меня в лес, посмотреть живых птичек. Мой папа любил птиц.

Так мы шли в кино. Я смотрела туда и сюда, и все видели: это — мой папа, это — я, Лизка, посередине, а это — моя мама. Нам скучно целый вечер сидеть дома, и мы втроем идем в кино.

И все на нас смотрели.

А после кино мой папа купил мороженое, самое вкусное мороженое — эскимо. Мы втроем ели, и папа сказал:

— Смехота прямо.

И мама сказала:

— Очень смешные картины у нас в кино показывают все-таки.

А я лизала эскимо. Потом мы зашли в магазин, купили там всего: и колбасы, и медовых пряников, и бубликов с маком, и еще чего-то, кажется селедку, и все вместе ужинали. Это в тот раз мой папа поднял меня высоко-высоко, поцеловал и сказал: «Хорошо наверху, да? Потому птицы и летают». И папа долго держал меня в небе рядом с ласточками, воробьями и скворцами. А потом он меня еще раз поцеловал. Нет... десять раз... двадцать раз поцеловал... Сто раз!.. Он бы меня обязательно взял в лес послушать и посмотреть птиц. Мой папа никогда не врал.

Яшка молчал.

Я тоже молчал и смотрел в окно.

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ ПАПА

На земле блестят мокрые листья. И вовсе не листья... Кто сказал: мокрые листья? Обыкновенные открытки и письма с разными марками.

— Здравствуйте, Груша! Вам заказное письмо от старой Яблони. Вы рады? Пожалуйста, распишитесь... вот здесь... извините. Спасибо.

— Квартира восемь? Здесь проживает Вишня? Это я, почтальон... Получите целых три открытки.

— Вам, Слива, телеграмма от Березы.

— А мне? — спрашивает Орешник.

— А мне? — спрашивает Клен.

— А мне? — спрашивает Рябина и еще немного краснеет.

— Всем! Всем! Всем!

Письма, открытки, телеграммы кружатся в воздухе и падают куда хотят.

В синем-синем, чистом высоком небе светит солнце. Ух, и весело мне; сам не знаю, почему мне так весело. Прыгаю на одной ноге, прыгаю на двух ногах, собираю цветные открытки и конверты, снова бросаю их, прыгаю и пою:

Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду...

А почему про моего папу не поется в песне? Все правильно: и мама, и небо, и солнце пусть будут всегда... А папа? Мой папа работает в почтовом вагоне, возит письма во все города. И письма, и открытки, и посылки... Всё, что кому надо, мой папа возит в почтовом вагоне. Я люблю папу и хочу, чтобы он скорее приехал. А пока папа в пути, раздаю всем деревьям цветные открытки, письма, телеграммы, пою изо всех сил:

Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда будет папа,
Пусть всегда буду я!

Я сам знаю, что мне петь, и я пою на весь сад, на все небо, на всю землю:

Пусть всегда будет папа!

Лизка и Яшка бегут со двора. Их тени бегут рядом по желто-зеленой траве, боятся отстать.

Останавливаюсь на всем скаку и перестаю петь. Может быть, Лизке не так интересно слушать, как я пою, а Яшка все равно ничего не услышит.

Жду Лизку и Яшку.

— Твой папа приехал... Твой папа! — Лизка запыхалась, тяжело дышит.

Яшка прыгает вокруг меня и машет рукой, будто ему жарко.

— Нас твоя мама послала, — говорит Лизка.

— Ура! Папа приехал! — кричу я и бегу домой. И Яшка бежит рядом.

А Лизка?

Она не очень спешит в своих новых башмаках. Ладно, немного подожду.

И Яшка ждет.

— Чего вы? — спрашивает Лизка и смотрит на свою тень.

— Споткнулся немного, — говорю я.

— Не пойду я к вам, — говорит Лизка. — Не хочу. Тяну ее за рукав:

— Пойдем, Лизка... Я к вам всегда хожу... Пойдем.

— Не пойду, — отвечает Лизка, — не пойду я к вам. — А сама идет, медленно, неохотно идет. Все-таки мы с Яшкой смотрим, чтобы она не убежала. Ее потом ни за что не догонишь.

Дверь в нашу квартиру приоткрыта, и оттуда сильно пахнет яблоками. Яшка разулыбался яблочному запаху. Мы все вместе вбежали, но я увидел папу и обогнал всех, и папа схватил меня на бегу, поднял, поцеловал в нос, в щеки, в шею.

Сверху вижу: Лизка опустила голову — что она там разглядывает на полу?

Рвусь из папиных рук, хотя наверху, около папиных усов, мне хорошо. Папа принес из кухни плетеную корзину с большими яблоками.

— Это кубанские яблоки... Возьми, пожалуйста, Лизка... Яшка.

Папа выбирает самые красные яблоки.

И я беру самое красное яблоко.

Яшка смеется, а Лизка смотрит на свои новые башмаки.

Папа поставил на стол бутылку. Мама качает головой и уходит на кухню за яичницей с колбасой.

Из Лизкиных рук выскочило кубанское яблоко и покатилося по столу.

— Ах! — кричит Лизка, прыгает за яблоком и нарочно задевает локтем бутылку, которую поставил на стол мой папа.

Бутылка покрутилась на одном месте... раз... и трахнулась об пол.

Дзиридзинь!

Во все стороны брызнули стеклянные осколки.

— Я нечаянно, честное слово, нечаянно! — кричит Лизка и, чтобы не заплакать, изо всех сил грызет большое кубанское яблоко. Все-таки Лизка успела его поймать.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Листья побелели, будто их обсыпали сахарным песком. Лизнул, а лист несладкий.

Лужи в саду замерзли. Лишь пузыри подо льдом бегают наперегонки. А может, они живые? Ударил ногой лужу, лед, как стеклянный, треснул, и все пузыри разбежались.

И Лизка, и Яшка, и малый Лешка растрескивают ногами лед, выпускают живых пузырей на волю.

Сегодня воскресенье. Лизка не пошла в детский сад, а Лешка — в ясли. Лешка растет, как гриб после дождя, и почти все время бегают на собственных ногах. Иногда Лешка все-таки просится на руки.

И вдруг я увидел: разбитая лужа морщится, как пенка на молоке, и становится льдом. Я сразу сказал:

— Все равно лужа замерзает... Я разбиваю лед ногами, а лужа замерзает. Можно три часа разбивать, и все зря.

Лешка запрыгал, засмеялся, схватил кусок льда из лужи и сунул в рот.

— Он думает: леденец, — объяснила Лизка, вырвала из Лешкиного рта лед, швырнула обратно в лужу.

— Бяка! — сказала Лизка, когда Лешка хотел заплакать, и крепко вытерла ему мокрый нос своими красными пальцами.

Лешке стало больно, и он не заплакал из-за льда.

— Зимой всегда бывает лед, — вспомнил я и посмотрел в небо. Между мной и небом торчала ветка рябины. Птица клевала ягоды.

Лешка с Лизкиных рук увидел птицу, протянул к ней руки:

— Хочу! — И сморщил нос.

— Баю-баю-баю-бай! — сердито запела Лизка.

Лешка дергал руками и ногами, как настоящий деревянный акробат, рвался с Лизкиных рук, не засыпал, а только орал:

— Хочу! Хочу!

Так орал, что глухонемой Яшка понял. Яшка сразу поплевал в ладоши и полез на рябину. Птица обиделась, зашумела крыльями и с ягодой во рту улетела на соседнюю яблоню. А Яшка рвал кисти и кидал нам.

Мы сразу дали большую кисть Лешке. Рябина вкусная и не горькая. Раньше она была горькой, а сейчас не очень.

А когда мы посмотрели на Лешку, он уже был весь белый и с каждой минутой белел и раздувался.

Лизка испугалась, как бы малого Лешку не засыпало с головой, и начала стряхивать с него обеими руками первый снег. Лешка швырнул рябиновую кисть, засмеялся, схватил с себя снег и сунул в рот. Ну и дурак Лешка, думает, что это настоящее мороженое.

Откуда ни возьмись, прибежала Лизкина мама — тетя Ньюша, поймала на руки белого Лешку, сказала:

— Лизка, Лизка, ты совсем простудишь ребенка, его не возьмут в ясли с температурой, а я сиди дома на бюллетене... Ах, Лизка!

И все равно Лешка не хотел домой. Он так рвался к нам, что тетя Ньюша насилу его унесла. Сверху сыпались и сыпались большие лохматые снежинки. Деревья, лужи, земля стали одинакового цвета. Садовые кусты распушились, точно белые сибирские коты.

— Я наловлю снежинок,— сказала Лизка.— Их много, и все разные. Нарисую каждую снежинку и отнесу в детский сад.

И Яшка подставил ладони снегу.

Да разве снежинки поймашь?! Не успеешь словить самые большие, самые красивые, а они раз — и растаяли.

Мы еще долго бегали по саду, ели снег, хотя, если говорить правду, рябина намного вкусней.

ХОРОШО БЫТЬ СЛЕСАРЕМ

Мама ушла в гости к тете Оле, а я остался сидеть у окна.

На окне всякие деревья из морозного льда. Солнце их немного раскрасило. Тронешь пальцем — деревья скрипят, а палец становится похожим на цветные карандаши «Спартак».

Сквозь оконный лес мчится электричка: так-так-так, так-так-так... Красный вагон. Синий вагон. Зеленый вагон... Белый вагон с желтым почтовым ящиком.

Опускаю цветной палец: семафор закрыт.

Из белого вагона выходит мой папа, смотрит направо, смотрит налево, говорит:

— В чем дело? Что случилось? Полные вагоны писем, а мы стоим?!

Поднимаю цветной палец. Поезд убегает с необыкновенной быстротой.

В оконном лесу выросли громадные деревья с красными и электрическими саблями вместо листьев. Сейчас выберу себе лучшую саблю... Нет, три лучшие сабли.

Лизка придет из детского сада, а я ей:

— Здравствуй, Лизка. Тебе нужна сабля?

— Спрашиваешь!

Конечно, всем нужны сабли.

И Яшка засмеется и примется размахивать своей лучшей саблей. Откуда-то в оконный лес пришла темнота. Забегали белые человечки с фонариками. В каждом фонарике горит электрическая искра.

— Мальчик,— сказал белый человечек,— пойдешь ко мне в гости?

— Пойду,— сказал я.

— Отлично.— И человечек сразу вырос в обыкновенного Деда-Мороза с ватной бородой, в острой шапке и красной шубе с поясом, только не в сапогах, как надо, а в ботинках с тупыми носами.

Я думал, мы пойдем в сабельный лес, а пошли к двери.

— Ключ у тебя есть? — спросил Дед-Мороз.

Я взял со стола ключ.

Лизка сидела на кожаной табуретке и считала конфеты и мандарины из подарка. Лешка бегал по комнате с большим грузовиком на веревке.

— Ах, это ты, дед,— сказала Лизка и скорей спрятала конфеты и мандарины в подарок.— Здравствуй, дед, что ты мне принес?

Мой Дед-Мороз стоял у дверей и стеснялся. Мне стало его жалко. Я сказал:

— Это Лизка. Она хорошая, а притворяется жадной... И Лешка — хороший... И тетя Нюша.

А тетя Нюша засмеялась:

— Вы и Лешку зовете в гости, Дед-Мороз?

— И Лешку, Анна Гавриловна.

Лешка загудел от радости и бросил веревку вместе с грузовиком...

Дед-Мороз спрятал нас под свою шубу. Мы долго шли, а потом шуба раскрылась, и стало так светло, что сразу я ничего не увидел. Из света появился Яшка в синих новогодних штанах. За Яшкой стояла елка.

Дед-Мороз сказал:

— Погрейтесь немного с дороги,— и стал резать на большие куски торт из мороженого.

Лешка схватил самый большой кусок, быстрее всех съел, вежливо вытер руки о штаны, сказал:

— Спасибо-ба... Еще!

— Торт, увы, весь, зато есть вот что,— и Дед-Мороз налил нам по целому стакану шипящего лимонада.

— Шампанское! — крикнула Лизка,

Тут комната исчезла, со всех сторон загудело, в небе засветилась луна, звезды. С елки полетели ракеты, они шипели, как лимонад, и разбрызгивали во все стороны разноцветные искры.

Вдруг елочные игрушки прозвенели три раза, как перед началом кино, лопнули, обратились в конфеты «Мишка на севере», прыгнули с елки на снег, а за ними на парашютах снегурочки и снежные человечки с леденцовыми саблями. Человечки сразу построились и пошли шагать стройными рядами с песней и барабаном. А впереди на синем в яблоках коне ехал наш Дед-Мороз в красной шапке набекрень.

Конь мотал в разные стороны синей гривой, колодил всеми четырьмя копытами по льду, а изо льда выскакивал елочный блеск.

Дед-Мороз вытащил из шубного кармана самый большой африканский апельсин и протянул нам. Мы сразу бросились к апельсину. А синий конь в своих яблоках как заржет, как махнет хвостом, как поскачет с Дедом-Морозом и самым большим африканским апельсином.

Я даже подумал, что сплю, но загорелся свет. Елка стояла как стояла. Вокруг елки на вате лежали конфеты и мандарины. Деда-Мороза не было. За столом сидел наш сосед слесарь дядя Саша и смеялся:

— Ну и шустрые вы, ребята... за одну минуту все конфеты собрали.

— Мы и мандарины все собрали, — сказала Лизка. А Лешка ел конфету и ничего не сказал.

И Яшка молчал.

Я посмотрел на дядю Сашу и подумал: «Все-таки хорошо быть слесарем».

ОДИН РАЗ В ГОДУ

Прошла вся зима, Первое мая, а теперь идет жаркое лето. Ну и быстро оно идет на длинных зеленых ногах.

Мы с Лизкой живем в гостях у слесаря дяди Саши в деревне. Завод послал его в деревню на уборку хлеба. И целую бригаду слесарей вместе с дядей Сашей. Теперь дядя Саша — шеф.

Почти от зари до зари бегаем мы с Лизкой, соби-

раем колоски, цветные букеты, обедаем, пьем парное молоко с черной смородиной.

— В одной кружке парного молока с черной смородиной миллион витаминов,— говорит дядя Саша. И это так.

И деревенские девочки и мальчики с нами бегают, потому что в деревне у нас уже есть знакомые. Жалко, Яшки нет. Яшка уехал в специальный лесной санаторий. Там его научат говорить и слышать слова.

«Ура!» — закричит Яшка, когда мы встретимся во дворе. И мы сразу не поймем, кто это крикнул неизвестным голосом: «Ура!» А Яшка станет перед нами совсем близко, засмеется и еще шире откроет говорящий рот:

«Теперь я все слышу и все слова говорю. Меня научили в лесном санатории. Ур-р-ра!»

Вот почему с нами нет Яшки.

Мы искупались в мелком пруду, лежим на траве, и нам хорошо. И солнце за день наработалось, покраснело от жары и присело на край земли отдохнуть.

Подошел дядя Саша, сказал:

— Хотите, я вам что-то покажу? Один раз в году бывает такое.

— Хотим! — крикнул я и вскочил с травы.

— А ты? — И, чтобы лучше услышать, дядя Саша поднял Лизку на свое плечо.

Теперь Лизка под самым небом.

Дядя Саша и Лизка ушли далеко по стриженному полю...

— А я! — и бегу за ними изо всех сил.

За оранжевым облаком, у самого леса комбайн цапает хрусткую пшеницу, бросает в самосвал чистые зерна.

— Комбайн! — радуюсь я.

— Подумаешь... я видала-перевидала на своем веку комбайны в тысячу раз огромнее. — Лизка начала показывать руками, какие комбайны она видала, и чуть не свалилась.

Из комбайна выскочил парень, я узнал его: слесарь из заводской бригады. Он подбежал к нам и отрапортовал:

— Все, товарищ бригадир!

А дядя Саша сказал:

— Вот, ребята, что хотел я показать вам: весь хлеб убран. Такое бывает один раз в году.

НА БЕРЕГУ РЕЧКИ

Пробежали с Лизкой яблочный сад, перешли по бревну глубокий овраг, вышли на речку. Захотел искупаться, тронул воду — колючая, жжется, не то что деревенский пруд.

Сидим на берегу. Из оврага вперевалку вылезли серые гуси, раскрыли крылья, шумно потрясли ими, взмахнули так, что зашевелилась трава, и с веселым гоготом скатились к речке. Большим гусям тепло в непромокаемых перьях. А в мае гуси были малышами в гороховом пуху.

Словно лебеди в зоопарке, плывут гуси. Ивы с того берега отражаются в воде. И солнце отражается.

Возле настоящего солнца — город. Нет, не наш, наш город — за садом, отсюда его и не видно вовсе, около солнца — Москва.

А я и не знал, что Москву видно с высокого берега речки, которая за яблочным садом, за орешником, за глубоким оврагом, — я никогда раньше сюда не ходил.

В прошлую субботу мы ездили в Москву. Только без Яшки. Он не вернется из лесного санатория, пока не выучится говорить все слова. Кое-какие слова Яшка уже говорит и слышит, а надо, чтоб все. Научится — сразу приедет. А что еще Яшке делать в лесном санатории?

Кто ездил в Москву, кроме нас с Лизкой? Пожалуйста: слесарь дядя Саша ездил, и тетя Ньюша, и моя мама, и Лешка. Поехал бы и мой папа, но он возит в почтовом вагоне по разным городам и селам письма, посылки, цветные открытки.

В первую очередь пошли в зоопарк. Это Лизка захотела. Никто и не спорил. Каждому интересно полюбоваться зверями, змеями, крокодилами, гиппопотамом, лебедями на пруду.

Лешка крепко держал дядю Сашу за руку и звал его: «Папа». Лизка толкала Лешку в бок, в спину,

объясняла Лешке на ухо, а потом и громко: «Дядя Саша — дядя, а не папа, дядя Саша — дядя, а не...»

Лешка смеялся до ушей и громче Лизки кричал: «Папа!» И лез на дядю Сашу, как на дерево, чтобы лучше видеть зверей.

За зиму, за весну, за лето Лешка вырос, растолстел, и Лизке теперь его не поднять. А дяде Саше что? Он одной рукой поднимает Лешку, сажает на свое плечо, и Лешка видит весь зоопарк.

После зоопарка мы долго ходили по всей Москве.

В голубом киоске дядя Саша купил всем эскимо. Лешка ел наверху и не смеялся: когда ешь эскимо — не до смеха.

Мне все было интересно. Я до того смотрел, что забыл про эскимо, и оно растаяло. И Лизкино эскимо растаяло. Моя мама быстро вытерла платком мои штаны и рубашку, а тетя Ньюша вовсе на Лизку не обращала внимания, тетя Ньюша обращала внимание на Лешку, как ему там, на дяди Сашином плече. А Лешка задавал дяде Саше вопросы: «Папа, а скоро ты купишь мороженое?», «А зачем этот дом такой большой?».

С высокого берега речки, что за оврагом, я вижу Москву, а за Москвой солнце. И Лизка видит: Кремль с золотыми крышами, высоченные дома с зажженными окнами, самолеты. И Кремль, и дома, и самолеты летят к солнцу.

— Лизка, ты видела летящий город?

— Спрашиваешь! И летящий город, и летящее море, и летящее солнце... Я все летящее видела.

Смешно... Как будто я сам не знаю, что Лизка все видела.

В эту минуту вспомнил: в саду наливаются до черных семечек забытые антоновские яблоки. Я сорву их сегодня или завтра, поделюсь с Лизкой и Лешкой. Потом пойдет дождь, и начнется осень. Осенью хорошо, а летом все-таки лучше.

— Ты любишь лето? — спрашиваю я Лизку.

— Я люблю лето, — отвечает Лизка и отводит глаза от неба.

А я молчу и считаю в уме, сколько месяцев осталось до нового лета, до новой осени, до первой школы: сентябрь, октябрь, ноябрь...

СОДЕРЖАНИЕ

ОГОНЬ ДЛЯ ВСЕХ	3
СЕГОДНЯ И ПОЗАВЧЕРА	93
Я ЖИВУ	145
СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ...	
Маленькая повесть	261

Маневич Артем Львович

ОГОНЬ ДЛЯ ВСЕХ

Редактор Л. Кузнецова

Художник В. Иванов

Художественный редактор Г. Комзолова

Технический редактор Л. Маракасова

Ордена Трудового Красного Знамени

издательство «Московский рабочий»,

Москва, ул. Куйбышева, 21.

Л52247. Сдано в набор 1/III 1973 г. Подписано к печати 25/VI 1973 г. Формат бумаги 84 × 108¹/₃₂. Усл. печ. л. 14,7. Уч.-изд. л. 13,18. Тираж 75 000. Тем. план 1973 г. № 217 Цена 39 коп. Зак. 2197.

Москва, Краснопролетарская, 16.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».